М. ШЕВЕРДИН
СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

М. ШЕВЕРДИН

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ им. ГАФУРА ГУЛЯМА
Ташкент—1967

Ш37

В новом произведении М. Шевердина читатель встретит знакомого ему героя романа «Тени пустыни» Зуфара. Вихрь событий Отечественной войны забрасывает его в страны зарубежного Востока. Зуфар попадает в сложное переплетение фашистской, британской и американской разведок. Волей обстоятельств он вынужден столкнуться с авантюристами из самого отребья антисоветской туркестанской эмиграции.

Роман «Семь смертных грехов» раскрывает экспансионистские планы германского империализма в Азии. События романа связываются со Сталинградской битвой, исход которой определял дальнейший ход Второй мировой войны.

И хотя линии фронтов не проходили через страны Среднего Востока, здесь шла ожесточенная, порой кровавая борьба. Теоретик американской разведки Дж. Берихэм писал: «Империализм должен по всему фронту наступать с помощью заговоров, подрывной деятельности, подкупов, войн...»

Зуфар и другие герои романа «Семь смертных грехов» оказываются в самой гуще этих политических интриг и происков.

Шевердин М.
Семь смертных грехов. Роман. В 2-х кн. Кн 1. Т., Изд. худож. лит. им. Г. Гуляма, 1967.
Кн. 1. 272 стр.

Индекс 7-3-2

Грехи — смертельный яд,
но устам страстей
они кажутся медом.

Абу Исмаил аль Ансари

I ЗЛОБА

ГЛАВА I

> Зачем же мне тратить силы на изображение
> страстей?
> Однако ныне нет в мире никого,
> Кто не питал бы страсти к книгам о страсти.
>
> *Низами*

Сразу Зуфар остановился. Он не понимал, в чем дело. За ним шел человек. Поглядел себе под ноги на пухлую, серую пыль, потом вдаль на слепящую пустоту дороги, уходившей в знойную марь неба. Рядами вдоль нее выстроились черные короткие тени пирамидальных тополей. Колючий огненный ветер «ибэ» гудел в телеграфных проводах.

Остановился Зуфар почти безотчетно. Вероятно затем, чтобы проверить, что сделает одинокий прохожий.

Немного странно. Прохожий шел за ним с утра. Шел неизменно на одинаковом расстоянии и сразу же останавливался, когда останавливался Зуфар.

Одному скучно шагать по пыли. Дорога пыльная, унылая, длинная и молчаливая. Даже вечно сумрачному, неразговорчивому Зуфару тоскливо без собеседника. Зуфар хотел, чтобы одинокий пешеход нагнал его.

Зуфар не оглянулся, но понял, что прохожий стоит на дороге и смотрит ему в затылок.

Значит...

Нет, не следует оборачиваться. Неудобно и невежливо. Нельзя подать повод думать, что ты остановился нарочно... из-за него.

Из-за кого «него»? Да из-за этого прохожего в растрепанной меховой шапчонке-шугурме. Сейчас он стоит за спиной и ждет...

Очень душно. Духота мешает думать.

В Каракумах все-таки легче дышится. Широта, простор...

Зуфар три дня шел пешком с далеких колодцев Аджикую по пустыне, но лишь сегодня, войдя в оазис, почувствовал духоту. От каналов, от соленых болот, озер поднимаются теплые испарения.

Почему бы одинокому прохожему избегать попутчиков?

Впрочем, надо прикинуться, что ты остановился не намерен-

ио. Зуфар достал портсигар и взял папиросу. Делая вид, что ветер мешает закурить, резко повернулся.

Прохожий стоял у обочины. Темная фигура его странно шевелилась в дрожащих струях раскаленного воздуха. Поза казалась напряженной.

Долгий путь в одиночестве располагает к раздумьям, порой самым фантастическим. Росло раздражение и не очень здоровый интерес к одинокому пешеходу. Зуфару начинало казаться, что прохожий его знает и намеренно избегает.

В облике прохожего чудилось что-то знакомое. Пешеход стоял и смотрел на Зуфара, на то, как он закуривает, стоял с видом человека, который никуда не торопится, словно время в его жизни — ничто. Затем произошло нечто ни с чем не сообразное. Одинокий путник повернулся и быстро зашагал в обратную сторону. Пройдя шагов с десяток, он оглянулся, но так быстро, что возникло сомнение — оглядывался ли он вообще.

Прохожий уходил, слегка горбясь и подергивая на ходу правой рукой. В левой он держал торбу. Он весь покачивался на ходу. Спина его, полускрытая облаком горячей пыли, медленно удалялась.

Во всей фигуре прохожего, в его неестественно медленной походке, беспечной спине усматривалось что-то нарочитое. Пешеход хотел казаться беспечным.

Просто ли он не хотел встречаться с людьми? Или только с красным командиром? С человеком в военной одежде? Зуфар критически оглядел свои рыжие сапоги, побелевшие от пыли галифе, гимнастерку с белесыми швами.

А прохожий быстро уходил, все так же подергивая рукой...

Где он видел человека с такой подергивающейся рукой, толстого, плотного крепыша с суетливой походкой?

Духота. В мозгу возникают мысли совсем несерьезные, детские мысли. Или в них виновен в какой-то мере дядя Аюб, которого он с детства зовет Мерген — Охотник? Кочевники Каракумов зовут его бояр Мерген. У туркмен самый уважаемый человек — бояр.

Дядя живет с весны, после окончания посевной, на дальних колодцах одинокий, ошалевший от безлюдья и пустыни, от общества баранов и верблюдов, и ему в голову, понятно, приходят разные разности. Бояр Мерген вроде странствующего пророка Хызра исходил весь мир, насмотрелся всякого, водил караваны, воевал с калтаманами, служил проводником, и ему мнится в каждом человеке такое, что самому этому человеку и во сне не снилось. Придется туго в пустыне — и тигр станет есть колючку.

В песках, по мнению бояра Мергена, одинокие пешеходы с доброй целью не бродят. Среди барханов либо надо с караванами верблюдов путешествовать, либо баранов пасти, либо помогать геологам золото искать или еще что-нибудь полезное.

Каракумы неприветливы, нелюдимы. Лежат Каракумы меж Хорезмом и Ираном, и тут тропок всяких да неведомых путей миллион.

А разные все-таки шляются. Пользуются, что кругом пустыня, что все люди заняты своими колхозными делами. Вон, говорят, в Каракумском мазаре близ развалин Змушкыр-кала опять зашевелилась жизнь. Уже более двух десятилетий оттуда сбежал последний ишан, а теперь вроде снова объявился, да такой ловкий, что про него в народе говорят: столько змей съел, что сам сделался удавом.

Но какое дело Зуфару до бродяг пустыни. У него мало времени. Отпуск идет к концу, а он так и не повидал Ольгу.

Она работает в геологической партии за колодцами Аджикую, проходит полевую практику. Зуфар с дядей бояром Мергеном изъездил сотни верст. Коней загонял, а Ольгу не встретил. Геологическая партия как сквозь землю провалилась. Пришлось попрощаться с дядей, оставить усталого коня на колодцах, а самому пойти пешком через пустыню. Никто бы не решился на подобное, а Зуфар решился. На то он и человек пустыни. За три дня отшагать полтораста верст!

Обидно, что не повидал ее. «Твой геолог не Аму-Дарьей ли зовется?— спросил лукаво Мерген.— Аму-Дарья капризна».

Но какое ему дело до какого-то бродяги?

И все же, почему прохожий так торопится уйти и притом нет-нет да и обернется?

Путники не редкость на большой дороге, ведущей в город Хазарасп. Хоть пустыня Каракум и пустыня, но по тракту много ездит и ходит народу. Ничего нет удивительного, что даже в полдень, когда все пережидают жару в тенистом местечке, попался незнакомый прохожий.

Незнакомый ли?

В том-то и дело, что нет. Он знакомый. У него знакомое лицо.

— Готов голову прозакладывать, я его знаю.

— Готовы голову заложить, товарищ Зуфар? Дело серьезное,— звучит очень приятный, очень нежный голос.— Вы всегда разговариваете сами с собой?— лукаво спрашивает тот же голос.

Зуфар сразу останавливается и краснеет. Правда, ему трудно покраснеть. Лицо его черно от загара. Но оно еще больше темнеет, когда он решается поднять глаза. Подымает глаза медленно. Сначала он обозрел ноги коня, нетерпеливо переступающие в глубокой пыли. Затем рассмотрел вспененную уздой морду коня, кстати очень породистого, явно чистокровного текинца. Затем он не без растерянности остановился на всаднице, обладательнице нежного голоса.

Растерянность и медлительность Зуфара объяснялась просто — он чувствовал большую вину: всадницу искал по пустыне много дней и не нашел, даже с усердной помощью дяди Мергена.

На коне сидела молоденькая девушка в ослепительно белом платье, со столь короткими рукавами, что смуглые, нежные руки слепили взор. Так, по крайней мере, подумал Зуфар и вслух против своей воли продекламировал что-то очень выспренно восточное:

— «О блистательная, ослепившая своей прелестью взгляд невольника твоей красоты!»

И сконфузился еще больше. Горел в костре, который сам разжег.

Девушка легко соскользнула с коня на обочину дороги и воскликнула:

— Та-та-та, командир, вы меня превращаете в идейно невыдержанную феодальную владетельную особу. У вас комплименты птичками с веточки на веточку порхают. И перед кем? Перед обыкновенной студенткой, обожженной, обветренной, общарапанной песком и невзгодами и несносным гармсилем.

И она не была бы девушкой, если бы не извлекла из сумочки зеркальца и не поспешила привести в порядок восхитительный в своем беспорядке ореол волос, в котором смуглело ее розовое лицо.

Только после того девушка протянула свою ослепительную — по мнению Зуфара — руку и вложила маленькую нежную ладошку в большую заскорузлую, всю в мозолях руку Зуфара. И он, судя по суровой складке губ и ордену боевого Красного Знамени, бывалый человек и волевой, сильный командир, явственно вздрогнул от прикосновения нежной руки, и хотя кожа ее была удивительно прохладная и свежая, его обдало жаром. Впрочем, и не удивительно, потому что термометр в тени показывал сорок градусов, как о том сообщил во всеуслышание громкоговоритель в красной чайхане при въезде в знаменитый и достоизвестный город Хазарасп.

Они медленно шли рядом, и конь лениво мотал головой на длинном поводу, отгоняя мух.

— Вам жарко, товарищ Зуфар?— участливо спросила лукавая девица.— Вы так увлеченно разговаривали сами с собой,— продолжала девушка.— И так красноречиво молчите со мной. Другая подумала бы, что вы недовольны встречей, а?

— Откуда у вас такой конь?— наконец выдавил из себя командир, и, надо сказать, ничего более неудачного он спросить у девушки не мог.

Она возмутилась:

— Похитила!

— Но?

— Именно.

— Я хотел спросить...

— Вот именно. Вас интересуют, оказывается, в основном, лошади... Восхитительно!

— Оля,— умоляюще проговорил Зуфар.— Я ошеломлен. С

вами говорить все равно, что лазить по отвесной стене. Меня не надо ругать. Я вас искал по всей пустыне, а вы — откуда солнце взошло — едете мне навстречу. Я излазил все барханы до Унгуза, я думал, черт его знает что случилось с вашей партией, я загонял до отказа дядю Мергена, а вы здесь. Я так волновался!

— Смотрите! Сколько слов и даже без запинки. Что же так взволновало заслуженного следопыта песков и доблестного командира? — все еще вызывающе спросила девушка.

— Места, где ваша партия работает, такие... Пустыня, пески, безлюдье. Мы добрались до колодцев Ляйли. Я вспомнил... Десять лет назад там произошла трагедия. Там свирепствовал калтаман Овез Гельды, «зверь с запахом крови изо рта», так о нем говорили. Погибла... погибли... очень хорошие люди. Там и сейчас бродят разные. Они живы еще только потому, что для них саванов не сшили...

— Так. Вас, товарищ Зуфар, оказывается, интересуют какие-то трагедии столетией давности. А то, что у вашей знакомой чуть не произошла трагедия, это, видите ли, вас совсем не интересует.

Она сделала движение к коню. Лицо ее было полно решимости, хотя губы говорили совсем об ином. Уголками губ Ольга смеялась, ликовала, но Зуфару было не до смеха.

Неожиданно Зуфар схватил Ольгу за руки и умоляюще и восхищенно смотрел на нее. Он мысленно сравнивал девушку с розой. У его розы были большущие синие с поволокой глаза, полные яркие губы и смугло-розовые щеки, покрытые нежным золотистым пушком. А шапка волос в огненных лучах солнца, а нежная шея, прячущаяся в оборках воротника платья, а гибкая девичья фигурка, а походка царевны!..

Но роза строптиво вырвала руки.

Споткнувшись на ровном месте, Зуфар пробормотал нечто вроде проклятия и бросился за Ольгой.

— Клянусь, вы меня не поняли! Извините меня! Я объясню!

Он знал, что слова его жеваные-пережеванные, но ничего больше сказать не мог.

— Наконец-то. А я думала, что с вами солнечный удар. Лицо горит. Голову вам напекло. Давайте зайдем к нам. Мама напоит вас чаем.

Зуфар и не заметил, что они идут уже по узкой улочке Хазараспа мимо старой крепости, мимо дымных чайхан, откуда на них смотрят десятки пар любопытствующих глаз. И встречные прохожие тоже с интересом смотрят на них. Выплывшая из-за лавочки полная, с морковным румянцем щек броско разодетая красавица блудливо зашарила черными глазами и состроила многозначительную улыбочку. Она и не знала еще, в чем дело, но вся зажглась любопытством. Похлебки не отведала, но рот уже обожгла.

Скучно в Хазараспе, мало развлечений, и нельзя не обратить внимания на подтянутого, представительного командира Красной Армии — узбека, прогуливающегося среди бела дня с девушкой, одетой в платье с короткими рукавами.

Если, впрочем, Зуфар и не заметил, что они уже вошли в город, то вполне естественно, что он не обратил внимания на любопытные взгляды. Он не вспомнил, что его ждет родная сестра, что о нем беспокоятся в доме бригадира Бахрама. Зуфар прошел мимо, даже не взглянув на ворота.

«О, как отрадны и блаженны те мгновения, когда друг рядом!»

Девушка тоже была во власти неожиданной встречи и переживаний необыкновенного случая, произошедшего с ней в пустыне вчера. Она очень хотела рассказать обо всем.

— Никогда бы не повернула,— говорила она,— и никто бы не вернул. В наше советское время... Теперь я закаялась по барханам одна ходить. Мама ужасно переволновалась. Зайдем, я расскажу. Лошадь привяжите во дворе. Щетку почистить сапоги я сейчас принесу. Мама, мама, смотри, кто пришел!

Словом, и Зуфар и Ольга были заняты друг другом. Их меньше всего интересовало, как посмотрит на них хазараспский базар, завсегдатаи чайхан, а тем более красивая, разряженная толстуха.

А скоро, очень скоро и Зуфар и Ольга поняли, что не всегда следует пренебрегать мнением зевак с базара. Базарная сплетня — волк. Иной раз волк три года за бараном ходит, ждет, когда курдюк на землю упадет. А он возьми и упади.

Пока же Ольга хотела понять смысл странной истории, героиней которой ей пришлось стать.

ГЛАВА II

Кто может приказать ветру пустыни перестать дуть и жечь кожу своим дыханием.

Самарканди

Разные бывают спасители. По-разному они относятся к спасенным. Одни спасают бескорыстно. Другие ждут благодарности, мзды, так сказать. Есть спасители — хищники. Спасет волк зайчика от зубов лисы, а затем сам и скушает.

Ольгу спасли. Она еще не пришла в себя от жажды, зноя, испуга. Барханы оказались совсем не такими живописными и безобидными, как на снимках в учебнике географии, а песок в пустыне совсем не похож на черноморский пляж. Такие барханы песка задушат, похоронят, и следа не найдешь.

Да, она не выбралась бы сама из пустыни, если бы из черных

безжизиениых развалин ие вышел вдруг спаситель с глиняиым кувшничнком холодиой, безумио вкусиой воды н не иапонл ее.

Она лежала полузарывшись в песок и даже стоиать не могла.

Развалины она видела. Не то крепость, ие то мавзолей высокий древиий. Давио вндела. Еще вчера вндела, когда брела, а потом ползла из последннх снл по барханам. Развалнны казались безлюдиымн, пустыниыми и такими же мертвыми, как пустыня Каракум. Ольга лелеяла иадежду — а вдруг около развални есть колодец. Сутки оиа ползла, чтобы убедиться в самом ужасиом,— колодца не оказалось.

И жнвой души в развалннах не оказалось. На ее слабый зов иикто ие отозвался.

Слабеющая, едва живая, Ольга зарылась, насколько могла, в песок в полоске тени у самой стены. Даже если в десятн шагах мнмо прошел бы караван с бочками воды, холодной, вкусной воды, и то оиа ие смогла бы шевельиуться, не смогла бы крнкиуть...

Ольга умнрала, когда нз развални вышел человек. Он влил из глиияиого кувшииа-хума несколько капель воды ей в рот. А потом оиа пнла воду большнми, огромиымн, гнгантскнми глотками. И жнзнь возвращалась в ее тело.

Спаситель отвел ее под стрельчатый свод мавзолея и сказал:

-- Не плачьте!

Да, оиа плакала. Она выпнла уже столько воды из прохладиого глнияиого хума со вспотевшнми красиымн шершавыми стеикамн, что глаза ее моглн уже нсточать слезы, хотя еще десять мниут иазад ей казалось, что вся оиа нссохла, а кожа ее шуршит и потрескивает.

—- Все хорошо,— снова заговорнл спаситель.— Нехорошо одио. Вы здесь. В святом месте.

Ои покривнл свое круглое добродушное лицо в жалобной гримасе и продолжал:

— Святое место. Ты — женщнна. Нечнстая. Даже мусульманкам сюда нельзя.

Ои пожал свонмн очень полиымн покатыми плечами.

— А тебе нужиа теиь. Иншалла! Святой хазрет Каракумскнй соблаговолит даровать мне, жителю песков, прощенне. Сндн пока. Отдыхай. Воду пей.

Ольга прнслоннлась бессильно к кнрпнчной стеике и смотрела иа своего спасптеля.

По квадратным кнрпичиым плнтам, местамн засыпаиным песком, расхаживал здоровяк, одетый чисто н, пожалуй, богато — в бекасамовый, в зелеиую с белым полоску маргилаискнй халат. Маленькая белая чалма иа макушке круглой, дочнста выбритой головы скрадывала бело-розовый цвет таких круглых, такнх иалитых щек, что, казалось, онн надуты до отказа иарочно н вотвот лопиут. Красиые, влажиые губы шевелнлнсь. Спаснтель думал почти вслух. Вместе с губами шевелилась и ровиая бахромка

узбекской бородки, черной, лоснящейся, с красноватой искрой. Шагал здоровяк тяжело, громко шлепая подошвами мягких казахских сапог с загнутыми по-старинному носками.

Полные короткие руки здоровяка покойно лежали на выпирающем животе. Пальцы быстро-быстро перебирали большие кокосовые четки.

Пощелкав зернами четок и пошевелив губами, здоровяк вдруг резко остановился. Только теперь девушка удивилась. Рубаха с круглым воротником, вся одежда его блистали свежестью. Откуда здесь, среди песка, пыли, щербатых кирпичей, такой чистенький, холеный субъект? Не мог же этот благообразный, чистенький здоровяк свалиться с небес. Или его привезли сюда в сказочном паланкине на слоне, или он прибыл сюда в международном вагоне. Она даже улыбнулась. Какая нелепость! Слонов в Каракумах не водится, а до железной дороги восемьсот верст, если не больше.

Она улыбнулась, и на щеках ее обозначились ямочки.

— Ого,— довольно закивал головой здоровяк,— а мы, оказывается, очаровательны. Я вырвал из лап огненного джина настоящую золотоволосую пери. Иншалла!

— И совсем я не пери,— поддержала шутку Ольга.—Восточные пери не работают геологами-разведчиками.

— Такая красивая девушка — и геолог.— Он даже поднял свои короткие ручки и покачал головой.— Золото кос! И выгорает под солнцем! Розы щек ранят острые песчинки! Ножки, достойные шелковистых ковров Ирана,— в брезентовых сапогах! Парадоксально!

«Парадоксально»! Украдкой Ольга́ глянула в лицо здоровяку. Говорит он по-русски слишком уж литературно для жителя пустыни. Произношение у него гортанное, восточное, но фразы он строит правильно, литературно. Не заговорит ли он сейчас по-французски или по-английски?

Откуда он взялся? Где он здесь живет? Не спит же он прямо на бархане или на кирпичных плитах под обветшалой аркой. Тут, наверное, ночью скорпионы бегают. И почему он не предложит поесть? Ольга вдруг почувствовала, что у нее защемило под ложечкой. Ест же он что-нибудь? Разве человек с таким брюхом может плохо питаться?

Ольга устыдилась, что даже в мыслях попрекнула своего спасителя толщиной. И она смущенно заговорила. Принялась рассказывать, почему она, геолог, заблудилась и потеряла свою геологоразведочную партию.

— Мне попадет. Еще запишут прогул.

— Прогул? Такой прелестной розе?

Здоровяк положил ладони рук на живот и попытался поклониться:

— Да нет во всей вселенной такого жестокосердного, который не готов был бы переделать всю работу мира ради подоб-

ных пальчиков. У нас есть сказка — «Девушка с золотыми волосами». Всю жизнь, с малых лет, с детства я мечтал коснуться пальцами золотых волос. Они, наверное, гладкие и холодные.

Он говорил восторженным тоном, но вдруг облизнулся. Даже губами причмокнул.

От неожиданности Ольга потеряла нить мыслей и дальше рассказывала сбивчиво и невнятно. Все же она сумела объяснить, что с ней произошло в пустыне. Когда они работали на такыре, товарищи ей сказали, что за грядой барханов есть колодец. Страшно хотелось пить, и она, собрав пустые фляжки, отправилась на розыски. Но пустыня негостеприимна. Ольга перевалила бархан — колодца нет. Поднялась на второй — нет. То же за третьим, четвертым, пятым. Тут уж ею овладел азарт. Она побежала, если можно бежать, утопая по щиколотки в тонком песке. Самолюбие не позволяло ей и в мыслях допустить, что она вернется с пустыми фляжками. Через час Ольга поняла, что заблудилась. Поднявшийся «афганец» замел следы. Ночью она лежала на вершине бархана. Все надеялась увидеть огонек костра. Спичек у нее не оказалось. Сама она не могла разжечь огонь. Оружие с собой не взяла.

Тут здоровяк перестал бегать по плитам и остановился:

— Значит, у золотоволосой пери есть оружие?

— Да, геологам выдают оружие: в пустыне попадаются хищные звери — волки, шакалы и какие-то гепарды, что ли.

Но тогда револьвер Ольга не взяла с собой. Говорили, что колодец рядом. Вторую ночь она брела на запад. А потом поняла, что следует повернуть на север. Она знала, что на севере хорезмские каналы, вода, зелень. И она шла. Сколько дней она шла, не помнит. Умирала от жажды и шла.

— А где работает ваша... ваши? — осторожно спросил здоровяк.

— На Горьких колодцах, Аджикую.

— Иншалла! Поразительно!

— А почему вас удивило, что мы работали на Горьких колодцах?

— О нет! Я потрясен! Вы слабая девушка, а смогли дойти сюда. Иншалла! Ведь от Аджикую досюда пять дней пути.

— Разве? Я и сама не помню, как я дошла. Я вам так благодарна. Если бы не вы...

— О, мы рады оказать помощь такой красавице пери.

Забавно! Такие изысканные манеры, а он облизнулся. Ольга встретилась с ним взглядом, и что-то неприятное опять поднялось у нее в груди. Почему-то Ольга вспомнила про гепардов, о которых ей всякие жуткости рассказывал за костром проводник бояр Мерген. Но круглое, добродушное лицо здоровяка совсем не походило на морду хищника. Толстяки — добродушный, неспособный на зло народ.

Но почему толстяк не предложит поесть? Она умирает с голоду. Но какая же она право назойливая. Почему человек, который спас ей жизнь, еще должен ее кормить? Пусть даст ей еще воды и, было бы хорошо, корочку хлеба. И все.

— Товарищ,— сказала она,— то есть гражданин, как называется это место?

Вытащив из планшета карту, Ольга пальцем начала водить по ней.

Здоровяк сразу же остановился и подошел:

— Одну минуточку...

Он вдруг отобрал карту у Ольги.

— Постойте!— удивилась Ольга.— Это же карта. Покажите, где мы находимся.

Он небрежно швырнул карту в нишу.

— Не надо,— сказал он, когда девушка машинально протянула за картой руку.

— Не понимаю.

— И почему женщины так много спрашивают!— задиристо проворчал здоровяк.— Прошу вас, оставьте, наконец, эту бумагу в покое...

— Я хочу знать, где я. Как называется этот мазар? Зачем вы кричите? Я скажу вам спасибо и уйду. Сейчас же уйду. Лучше дайте мне лошадь, и я уеду. Я дам денег...—Ольга чуть не плакала.

Здоровяк опять зашагал вперед-назад, вперед-назад. Он бормотал что-то себе под нос. Его толстые пальцы быстро щелкали зернами четок. Наконец он остановился и сказал:

— Лошадей я здесь не держу. Пешком идти — вы слабы. Лучше давайте обедать.

И Ольга почувствовала, как ей ужасно хочется есть. А толстяк посмотрел на нее и воскликнул совсем благожелательно:

— И неземным пери подобает иногда пожевать жемчужными зубками кусочек лепешки, обмокнутой в топленое сало. А?

И совсем взгляд его не походил сейчас на взгляд гепарда или другого хищника. Вся его круглая физиономия источала благодать и мед.

— Иншалла! Я избавил обольстительницу от горчайших мук. О джины пустыни, насытим же вашу царицу грубой пищей смертных. Позвольте же, златокудрая пери, пригласить вас.

Он приложил руку с четками к животу. А другой — делал широкие пригласительные жесты к узенькой дверке в боковой стене портала. Но балагуря и гаерничая, здоровяк не упускал ни одного движения девушки. Его глаза, темные и настороженные, следили за ней с пытливым напряжением. И когда, поднявшись с кирпичных плит, она хотела забрать из ниши карту, он одним прыжком, совершенно неправдоподобным для его грузного тела, подскочил и его рука опередила на какое-то мгновение руку девушки.

— Но это же моя карта,— растерялась Ольга.

— Она вам совсем не нужна,— пробормотал толстяк с хрипом.— Нечего вам портить глазки, выискивать разные буковки.

Толстяк наступал на Ольгу. И она была вынуждена войти в узкую сводчатую дверку.

Они спустились по щербатым ступенькам, прошли почти ощупью по темному узенькому коридорчику. Протянутая безотчетно рука наткнулась на деревянную створку и толкнула ее. Ольга зажмурилась от яркого света. Если она ждала чего-либо таинственного, то ошиблась. Комнатку отличала простота убранства. Земляной пол покрывали довольно-таки пыльные кошмы и паласы, но шелковые одеяла-курпачи, разостланные вдоль грубо оштукатуренных стен, и несколько бархатных ястуков никак не вязались с аскетической, суровой нищетой. В кирпичной нише стояли чайники, пиалы. На одной из полок пылилась книга в кожаном переплете. Но в целом чистота и прохлада были очень приятны.

Из двери напротив тихо вышла женщина в новом шелковом платье до пят, с массой ожерелий из серебряных монет на груди. Она безмолвно склонила голову в туркменском кокошнике и постлала дастархан.

— Ну вот,— кисло проговорил здоровяк,— прошу, золотокосая, кушайте. Утолите ваш волшебный голод самым мирским съестным припасом. Садитесь, вам подадут.

— А вы?— любезно предложила Ольга.

— Увы, можем ли мы разделить дастархан даже с самой прекрасной представительницей гурий рая. Наше положение, отшельника... Извините, я не то хотел сказать, но правоверие не позволяет мусульманину общаться с женщиной, неверной... Кушайте, кушайте.

Ольга глотала, плохо пережевывая, куски, словно боялась, что ей не хватит, что она не наестся, хотя на дастархане всего было предостаточно. Почему-то Ольге не показалось странным, что здесь, среди дикой пустыни, в бесплодных песках, ее угощали вкусно и даже утонченно. О том, что голодавшим несколько дней надо есть осторожно, она и не подумала. Она скоро наелась, и ее начало клонить в сон.

С трудом приоткрыв слипающиеся глаза, Ольга спросила женщину:

— Он ваш муж?

Туркменка не ответила.

Вообще туркменка еще не произнесла ни слова. Она молча входила в михманхану, выходила, приносила еду. Только теперь, поев, Ольга спокойно разглядела женщину. Лицо ее, смуглое, с сеточкой морщин в уголках глаз, оставалось замкнутым и каким-то безрадостным. Темные глаза смотрели недоверчиво, даже жестоко. И хоть она была далеко еще не стара, руки ее,

темные, почти черные, в мозолях, говорили о нескончаемом, тяжелом труде.

— Чем ваш муж занимается?— спросила Ольга по-туркменски.

Но женщина промолчала. В глубине ее глаз вспыхнул огонь. Суровый труд обнажает сердце. Ольга поняла ее и заговорила:

— Я умирала в пустыне. Ваш муж напоил меня, спас мне жизнь. Я очень... очень благодарна, но мне надо скорее уехать.

Женщина прибирала на дастархане, но так ничего и не сказала.

— Попросите у вашего мужа лошадь и объясните мне дорогу,— тихо проговорила Ольга.— Я сейчас же уеду. Спасибо за дастархан. Но я минуты здесь не останусь, раз вам неприятно.

Женщина молчала.

Неестественный стонущий звук донесся снаружи. Ольга от неожиданности вздрогнула. Вскочив и подтянувшись на цыпочках, она прильнула к узкому окошечку без рамы и стекол, похожему на бойницу, пробитую в неправдоподобно толстом своде мавзолея. Она увидела желтый гребень бархана и слепящую бирюзу неба. Звук несся над пустыней. Заунывный, тоскливый.

— Что такое?— воскликнула, оборачиваясь, Ольга, но женщина не ответила, а лишь провела ладонями по щекам и подбородку и пошевелила губами. Она молилась.

Заунывный стон был не что иное, как азан, призывающий верующих на молитву. Откуда же взяться богомольцам в такой безлюдной пустыне?

— Разве здесь много прихожан?— спросила Ольга.

Ответа так и не последовало.

Заунывные звуки оборвались. Тут же в михманхану вошел хозяин.

— Иншалла!— сказал он отрешенным голосом.— С помощью божества открываем путь к богу. О-ох, сорок лет мы грешим, один год каемся.

Он сел, снял осторожно, не разматывая, чалму и положил рядом на курпачу. Тут он изобразил на лице недоумение, будто впервые увидел Ольгу, и воскликнул:

— О женщина, уйди! Извините! Мы люди простые, в гостиных знатных и могущественных не сиживали, а идем по пути аскетизма и страданий. К вежливости и тонкостям обращения, увы, не приучены. А принимать пищу в обществе даже райской гурии нам не подобает. Иншалла!

— Вы что, священник? Мулла?— спросила прямо Ольга. Ей сделалось смешно. Хозяин завращал глазами и тяжело вздохнул:

— Харом! Запретно!

Туркменка вошла, поставила перед ним блюдо с бешбармаком.

Куда у хозяина девался величественный вид. Он насунул на брови белую ермолку и плотоядно вонзил зубы в кусок баранины. Покрывавший ее слой сала совсем застыл. Но это его не смущало. Ел он со смаком.

Ольга не могла скрыть улыбку. Женщина схватила ее за руку и потянула с силой. И тут впервые зазвучал ее голос, низкий, басовитый:

— Иди! Иди прочь с глаз его — святого подвижника!

Она вытолкала Ольгу в обширное сводчатое помещение, освещенное широкой трещиной в стене. Здесь была, по-видимому, и кухня, и михмаихана, и склад сельскохозяйственных орудий. В четырехугольном углублении имелся колодец, из которого тянуло холодком. Ольга постлала курпачу, блаженно вытянулась на ней, и ее мгновенно сморил молодой сон, не знающий ни тревог, ни страхов.

ГЛАВА III

> Воистину счастье в проворстве
> и расторопности.
>
> *Иноятулла Канбу*

Ольга проснулась от конского ржания и скрипа закрываемой двери. Громко забренчал засов. Посреди комнаты стояла туркменка.

Ольга зевнула. Сколько она спала? Час? Или сутки? Что за шум?

Вскочив, Ольга побежала к двери. Мгновенно туркменка загородила дверь, замахнулась ножом и ощетинилась всеми своими звенящими ожерельями.

Девушка невольно отпрянула. Да, такую нелепую историю и вообразить трудно! Где-то разговаривали очень громко. Ой, да это голос бояра Мергена, их проводника. Какой милый! Нашел-таки ее.

Ольга отступила.

— Что с тобой? — проговорила Ольга. Голос ее дрогнул.

Все так же подняв нож, туркменка стояла, прислонясь спиной к дверке.

— Брось глупости, — после долгой паузы заговорила Ольга. — Кошка ты дикая! С ума сошла. Перестань. Что случилось?

— Сядь! — глухо сказала туркменка. — Сиди... Зарежу...

Но девушка безбоязненно кинулась к трещине в кирпичной стене.

Здесь было видно еще меньше, чем в окошечко-амбразуру из первой комнаты мазара. Ольга смогла разглядеть желто-красный гребень далекого бархана. На нем стояла, понуро опустив голову, лошадь. Ветер трепал длинную ее гриву.

Ольга закричала в отверстие:

— Мерген! Мерген, миленький! Я здесь!

Тут же она чуть не задохнулась. Рот ей зажала сильная рука.

Ольга боролась, но туркменка оказалась сильнее.

Никак не поверишь, что все это серьезно: запертая на засов дверь, дикие глаза женщины. В наши дни. В мирной советской степи. Какие-то развалины. Какая нелепость!

Через голову туркменки Ольга опять заглянула в щель. Коня на бархане не было. Бояр Мерген уехал.

Загремели удары в дверь. Женщина отодвинула засов.

— Что все это значит?— набросилась Ольга на вошедшего ишана.— Как она смеет? Она сумасшедшая?

У ишана был какой-то тусклый взгляд. Улыбочка сделалась совсем слащавой. Утирая обильный пот с лица и складок короткой шеи, он бормотал:

— От дьявола всемогущего убегает и сама смерть. Иншалла!

Он отнюдь не рассердился на туркменку. Похоже было, что с его точки зрения все вполне естественно. Дикая мысль пришла в голову Ольге: «А ведь ишан жалеет, что она меня не прирезала. Какая чепуха!»

Ольга настаивала, чтобы ее немедленно, сейчас же выпустили. Она ничего не хочет. Ей ничего от них не надо. Что за нелепость?

— Мне не нравится один человек,— невпопад заговорил ишан.— Стоит на дальнем бархане и смотрит. Очень плохо. Почему приехал верхом, а теперь не уезжает? По твоим следам приехал.

В словах его вдруг зазвучала угроза:

— И ты не кричи! Здесь святое место. Здесь нельзя кричать. Кто кричит, тому плохо здесь. Ты девушка, а не дьявол, от которого смерть убегает. Ты смертная. А он стоит на бархане и смотрит. Не вздумай кричать!

Ишан бормотал. Он не говорил, а журчал успокоительно — «шур-шур», изредка повышая голос и странно вскрикивая. Очевидно, большое беспокойство овладевало им. Ему следовало принять решение, но он никак не мог. Он не знал, что делать.

— Человек стоит на бархане. Почему стоит? Кто он такой, чтобы стоять? А ты всю пустыню взбудоражила. Зачем я исполнил долг милосердия? Теперь вся пустыня придет сюда. Аюб Мерген пришел по следам, по занесенным песком следам. Тебя все ищут. Тебя надо было закопать в песок, чтобы никто не нашел. Закопать, закопать!

Он вдруг что-то быстро сказал туркменке. Ольга не поняла. Женщина зло взглянула на Ольгу. Глаза ее округлились. Внезапно она взвизгнула: «Повинуюсь!» — и выбежала, бренча монетами.

Холодные мурашки побежали по спине Ольги. Тревога ее не выдумана. Этот толстый добродушный ишан, необычный житель развалин, хочет во что бы то ни стало избавиться от нее. Что руководит его поступками, она не понимала. Ишану она мешает. Ишан ее боится. Он боится ее присутствия здесь. Боится, что сюда явятся ее друзья.

Ишан был в смятении. Эта девушка, которую он искренне сравнивал со сказочной пери, ужасно мешала. Она мешала его делам. Он боялся, и в этом Ольга была права. Он в знойной пустыне из-за ответственного дела... Но разве он имеет право сказать об этом ей? Он столько претерпел трудностей, лишений, страданий, что самая мысль все оборвать, бросить, потерять из-за глупейшей случайности казалась непереносимой. Он уже принял решение. И он не мешкал бы, если бы не одно «но».

Именно этого «но» не сумела оценить и сама Ольга. Она еще не поняла, из-за чего колеблется ишан. Она не раз уже холодела, встречаясь с его взглядом. Во взгляде его она находила и злобу, и восхищение, и тоску. Делалось все очевиднее, что ее миловидность подействовала на ишана, что все его несколько напыщенные восточные сравнения — отражение его чувств.

Ишан незамедлительно открылся девушке. Он не говорил, а кряхтел от смущения и был уморителен. Хотя суслики не кряхтят. Переход от испуга к настоящей оторопи, к смешному вызвал у Ольги приступ, похожий на истерику. Она прыскала от смеха и не слышала половины того, что нагородил вполне, по-видимому, искренне ишан. Этот степной ловелас вознамерился поухаживать за ней, а она вообразила бог знает что. Поведение туркменки тоже объяснимо. Степная Кармен просто по-женски возревновала.

Ольга смеялась. Она смеялась, и когда весьма цветисто ишан в стихах объяснил, что золотые локоны и голубые глаза произвели смятение в его сердце. Она смеялась, и когда ишан сравнивал свои чувства с чувствами Меджнуна и клялся, что ему и Ольге нечего искать, ибо они живут как Меджнун и Лейли в пустыне. Она смеялась, и когда ишан щедрым жестом бросил к ее ногам и михманхану, и ковры, кстати очень пыльные, и колодец и воскликнул: «Что стоит тебе согласиться, о моя пери, варить пищу в моем очаге и печь хлеб в моем тандыре!» Отшельник, пыхтя и комично надувая щеки, бормотал что-то о добрых старых обычаях, когда кочевник мог всегда ввести к себе в юрту «розу пустыни», отдав за приглянувшуюся ему девушку калым из верблюдиц, серебряных монет и шелковистых ковров. Оказывается, его заветная мечта — поселиться у стен

старого мазара, построить дом из жженого кирпича с сюзанэ, прислужниками, вкусными яствами, настоящий байский дом.

— Предложите мне еще небо на ладони,— проговорила Ольга, пунцовая от едва сдерживаемого смеха.— Я отдаю должное вашим чувствам. Я польщена. Но все похоже на восточную сказку, и я прошу— так ведь, кажется, принято в волшебных сказках — дать мне сорок дней для раздумий и размышлений.

— Поистине вы само лукавство,— пробормотал с искренним сожалением ишан.

Ольга сделала вид, что всерьез восприняла неожиданное сватовство ишана, и воскликнула:

— Не можете себе представить, с каким вниманием я слушаю вас! Мне льстит ваше желание сделать меня — кажется, это называется «савсан»—лилией пустыни. Но срок вы мне обязаны дать на размышления. Вы же сами посчитаете меня несерьезной, если я сразу отвечу и не посоветуюсь со своей мамой.

— Посоветуетесь со своей мамой?—насторожился ишан.— А где ваша мать? У вас есть мать?

— Если вы горите нетерпением назвать меня своей супругой, вы лучше всего сегодня же проводите меня до большой дороги, чтобы я могла доехать до Хазараспа, к моей маме.

Физиономия ишана сразу слиняла. Он предался тяжким раздумьям, старался не смотреть на Ольгу. Молчание затянулось.

— Мне надо посоветоваться с мамой,— кокетливо говорила Ольга,— а вам за сорок дней устроить все дела так, чтобы на мое решение не повлияла вот она. Чересчур она у вас воинственная и драчливая. Она ваша первая жена?

Ишан тоскливо покачал головой.

— Нет, она не жена. Но вот что я скажу,— он тяжело, с кряхтением вздохнул.— Позвольте вам сказать. Вы можете здесь оставаться только в одном случае.

— Я не понимаю.

— Если бы вы... пошли за меня,— от неожиданности он даже поперхнулся.— Не смейтесь! Мы, святые отшельники, идем по стезе ислама. Мы не простые смертные, и нам не нужны советы длинноволосых женщин. Мы берем в жены тех, кто нам приглянулся.

Он говорил монотонно, точно произносил слова проповеди.

— Это же насилие!

— Остановись! Не произноси лишних слов, ибо наступил час решений.

— А я думала, что имею дело с культурным, любезным человеком. А вы ненормальный...

— У тебя бойкий язык и бездна кокетства. Но ты вошла в мое сердце, хочу тебе добра.

Опять Ольга почувствовала холодок в спине. Ей вдруг показалось, что она совершенно беспомощна. Она украдкой сме-

рила расстояние до лежавшего на кошме ножа, оставленного туркменкой.

— Но я не хочу, чтобы пропала без пользы такая красивая девушка. А ты пропадешь, если не послушаешь голоса рассудка.

— Я поеду в Хазарасп к маме. И вы обязаны мне помочь.

— Видишь, ты боишься. Голос у тебя дрожит. Послушай меня, что скажу я тебе.

Ишан опять закряхтел. И наконец решился:

— Я неплохой человек. Я добрый человек. Очень добрый. Я добрейший из добрых. Мне не приходилось даже задавить скорпиона, укусившего меня. Мне претит кровь и убийство, хотя всю жизнь мою руку толкают на кровь и убийство.

Он помрачнел, и Ольга воскликнула:

— О какой крови вы говорите?!

— Вот мои руки!— Ишан протянул к ней ладони.— На них нет крови. Я добрый человек. Сердце мое дрожит при виде крови.

Отвратительный страх начал сжимать Ольге горло.

— Опомнитесь, наконец. Мы советские люди.

— Пеняй на себя, девушка. Торопливость от дьявола. Я добрый человек. Я не люблю торопиться. Но что поделать?

Он решительно встал. Ольга мгновенно бросилась в угол. Она давно уже присматривалась к этому углу комнаты. Там, в нише, она приметила еще одну дверку. Куда она вела, трудно сказать, но Ольга знала, что в старинных мавзолеях и медресе обязательно были дверки на портал, ходы и лестницы. У Ольги не оставалось выхода. Она ловко вскарабкалась по кирпичной узкой лесенке в полной темноте. Ступени подымались очень круто, и толстяк ишан не мог поспеть за девушкой. Да он, видать, и не торопился. Снизу донесся его низкий, гулко прозвучавший голос:

— Ну и сиди там, на солнцепеке. Все одно голод, жажда сгонят тебя вниз. Ты уже разок помирала от жажды.

Она выбралась наверх, на кровлю мавзолея. Горячий ветер ошеломил ее. Она забыла, что так жарко. Глаза ее искали, где укрыться от солнца. Но остатки развалившегося купола не отбрасывали ни клочка тени.

Девушка оглядела пустыню. Ничего, кроме песка, по которому она брела столько дней. Никто не стоял на бархане. Она пробралась по осыпающимся кирпичам крыши и посмотрела на север. Там виднелась далекая темная полоска. Камыши или деревья? Но и с этой стороны не видно ни души.

Да, ишан мог считать, что она попала в ловушку.

Ольга вернулась к ходу и заложила его разбросанными по крыше квадратными кирпичами.

Снизу ишан крикнул:

— Эй, шайтан, если кто придет из твоих к мазару и ты позовешь его, так и знай — живой он не уйдет. Я добрый человек, но у меня есть ружье.

Он постоял во дворе, ушел, снова появился и прокричал:

— Слезай! Слезешь сегодня — добрый буду. Слезешь завтра — знаешь, что с тобой сделаю!

Ишан походил взад-вперед, поглядывая вверх, и скрылся. Тогда девушка принялась осматривать все здание. Жара и духота перехватывали горло, от кирпичей шел зной, солнце палило. Один угол мазара обрушился, торчащие из стен кирпичи образовали нечто вроде лестницы. Спуститься по ней молодой девушке не стоило труда. Через минуту Ольга оказалась на земле. Она еще с крыши заметила, что под ветхим навесом стоит конь. Словно нарочно его сюда кто-то привел, да еще заседлал и подпруги подтянул. Чтобы вздеть узду, Ольге понадобились мгновения. Помогать ей сесть на коня не требовалось.

Ишан ошибся. Хитроумные его расчеты разрушила девушка, оказавшаяся хитрой и ловкой. Удивительно ловкой.

Не прошло и минуты, как он в своей каморке услышал топот копыт. Он вышел не очень торопливо из худжры. Он невольно раскрыл рот. Совсем так, как пишется в старинной восточной повести «Тутиназме»: «И его рот уподобился раскрытой пасти удава, из которой выскочил заяц». Так, раскрыв широко рот, и стоял ишан, наблюдая за дерзкой девчонкой, неторопливой трусцой уезжающей на его коне, прекрасном, чистокровном текинце. Ишан и не пытался догонять беглянку.

Ольга Паратова уехала. С вершины последнего бархана она даже дерзко помахала в сторону мазара платочком.

Она решительно не хотела думать, что ей грозила опасность.

ГЛАВА IV

Любую вещь можно оценить известным количеством дурных вещей: за хорошего коня можно дать пять плохих, но и тысяча плохих людей не стоят одного хорошего.

Усама ибн Мункыз

Что из того, что спутник помог молоденькой девушке перепрыгнуть через арык. Ни малейшего неудобства это обстоятельство ни у Ольги ни у Зуфара не вызвало. Он еще подумал, что Оля похожа на зеленую тростинку, легкую, стройную. И почему-то покраснел.

Но с досадой на них смотрела все та же вездесущая особа с морковиым румянцем щек. Она покачала головой, и вместе с головой заколыхались под панбархатом платья ее полные плечи, и могуче развитый бюст, и вся она целиком. Лицо ее выражало любопытство и осуждение, когда она увидела, что Ольга и Зуфар так и пошли дальше под руку.

— Зайдем к тете Анзират,— говорила девушка.— Конечно, она вам сестра. Тетушкой я ее так назвала.

— Называйте ее, пожалуйста, тетушкой!— воскликнул умоляюще Зуфар. Его восхищало все, что говорила Ольга. Решительно все. Особенно, когда она шла с ним вот так, рядом, под руку.

Но Ольга нечаянно руку отняла и заметила лукаво:

— Вам не жарко?

— Зайдем. Конечно, зайдем. Анзират, наверное, дома.

Они шли рядышком — увы, уже не под руку — по прямой вытоптанной, выглаженной людскими ногами до белизны дорожке. По левую руку тянулся осевший, растрескавшийся глинобитный дувал, серый, щербатый какой-то. Справа от дорожки за глубоким, полноводным арыком распростерлось полосами зеленого ханатласа хлопковое поле с почти уже сомкнувшимися рядками веселых кустиков, вспыхивающих кое-где сиреневыми, розовыми, белыми огоньками цветков в нежной фисташковой зелени.

По окраине поля серебрились шапки джиды. Сладкий приторный запах висел в воздухе. Он пьянил, заставлял дышать глубоко и быстро. Напитанный ароматами полей ветерок шевелил золотые пряди, царственным ореолом обрамлявшие смуглое чистое девичье лицо. Только и видел Зуфар сейчас свечение волос, точеный носик, пухлые губы. Он не видел ни атласной зелени хлопка, ни серебра джиды, ни остановившейся на большой дороге и сверлящей их глазами из-за ствола корявого тала морковолицей красавицы.

— «Золото твоих кос сковало мое сердце»,— сказал Зуфар.

— Поэзия!— удивилась девушка.

— Персидский поэт... э... средние века,— сконфузился Зуфар.

— Персия! «В Хорасане есть такие двери...» Помните Есенина? Как я хотела бы попасть в Персию. Зеленый купол могилы Хафиза в Исфагане. Розы Шираза. Базары Мешхеда. Вы же были там.

— А я бы не хотел. Насмотрелся в тридцать первом году. Нищие на дорогах. Высокомерные господа европейцы. Вонь нефти. Зеленые мухи на лицах мертвецов. Персия похожа на толстяка в шелковом халате — сверху блеск, жир, дородство, а внутри гниль. Нет, я бы не поехал. Мне и тут хорошо, у нас здесь лучше. Разве может Персия сравниться с нашим Хорезмом?

И Зуфар, полной грудью вдохнув свежесть мира, обвел глазами поля, джиду, белые домики Хазараспа, дрожавшие в сиянии солнечного света.

И даже все еще торчавшая каменным столбом рядом со старым талом фигура женщины, явно подсматривавшей за ними, не вызвала в нем раздражения, хоть он отлично и признал в ней вместилище сплетен и клеветы Паибархутхон. А он мог бы рассердиться: и чего она путается все время у него, красного командира, под ногами?

Зуфар взялся за массивную цепочку, висевшую на добротной резной калитке. На бренчание цепочки сразу же откликнулась гулким лаем собака. Низкий, нетерпеливый голос отозвался со двора:

— Кто? Чего надо?

Грузные шаги зашлепали у самой калитки. После повторного «Кто там?» створка приоткрылась самую малость и из щелки воззрился черный глаз. В нем были испуг, и недоумение, и злость одновременно. Глаз изучал.

Затем голос проворчал:

— Ты, командир?

— Ассалом, дядя.

— А она?

— К сестре.

Глаз еще посмотрел. Потом тот же голос сказал без оттенка приветливости:

— Ее нет.

Глаз исчез. Тотчас же загремел внутренний засов. Калитка распахнулась. На пороге истуканом стоял дородный, грузный человек, гора-горой. Он не проявлял ни малейшего намерения пригласить зайти. Это был Бахрам, муж Аизират.

Он посмотрел на Ольгу, на ее светлые волосы, на обнаженные смуглые руки. И с лица ее мгновенно исчезла улыбка, которую так любил Зуфар. Девушка недоуменно разглядывала стоявшего в калитке.

На широком лице, меж щелочек век, с приподнятыми по-монгольски уголками, суетились чингисхановские глаза, злые глаза. Их злость ничуть не смягчалась несколько комическим гладкобритым черепом, с крошечной тюбетейкой на голой маковке, мясистыми, расшлепанными губами под желтыми, странно светлыми усами. Бригадир Бахрам брил бороду и выглядел очень моложаво. Он был тучен, даже сверх меры. По тому, как при взгляде на девушку он оттопырил губу, наблюдательный человек сказал бы: «Любишь ты пожить. Видать сразу!»

И вдруг Бахрам добродушно воскликнул:

— Пожалуйста! Прошу, пожалуйста, дорогой племянник! И вас прошу, девушка. Наше гостеприимство к вашим услугам. Очень радует нас, что вы пришли взглянуть на наше скромное

приусадебное хозяйство. А мы думаем, кто это стучится в калитку? Вот супруги нашей нет дома, она в поле на окучке, а к ней все идут и идут. Вот сейчас приходила наша языкастая сорока Панбархутхон. Пришла и ушла, так и не дождавшись нашей супруги. А ты, племянничек, ее часом не встретил?

И какая-то досада, и какая-то тревога в его голосе вызвали противное ощущение. И Ольга пожалела Зуфара.

За что? Да за то, что он имеет такого родственника.

А родственник как родственник. Даже приятный и гостеприимный. Он проворно разостлал на длинном прохладном айване дастархан, принес стопу блюдечек с карамельками, навотом, фисташками, урюковыми косточками, кишмишом, с жареным горохом. Наломал свеженьких, еще теплых лепешек. Притащил чайники, пиалы. А под локоть Ольге подложил побольше подушек. Словом, приятный, гостеприимный хозяин.

— Совсем свежие лепешки, Оля,— попробуйте. Их только горячими и есть. Сестра — мастер у меня. Да они горячие. Видно, Анзират сейчас ушла,— сказал Зуфар.

— А я и не уходила никуда!

И на айван быстро вышла молодая еще женщина и бросилась обнимать Зуфара. В смятении, возгласах, вызванных ее появлением, Ольга даже и не разглядела сначала, какая приятная и красивая сестра у Зуфара. Анзират давно не виделась с братом, и встреча разволновала ее. Она не могла оторваться от Зуфара и гладила его по плечу и что-то причитала.

Бригадир, встретившись глазами со взглядом девушки, совсем смущенно залепетал:

— А вы думали, ха, жена бригадира на поле? Ха, окучивает вот хлопок, думали, свою стройную спину гнет, думали? Неужели бригадир Бахрам, передовой бригадир, стахановчибригадир не имеет права выбрать денек отдохнуть, понежиться с молодой, красивой женой? Вот замуж пойдешь, девушка, поймешь. Неужто на неделе передовой бригадир не может один день жене отпуск устроить, виноград подрезать, урюк собрать, посушить, вот? Что ж, дали нам от колхоза пять соток земли, премировали. Пропадать им, что ли? Бригадир Бахрам виноград вон какой возделал! Пропадать, что ли?

От лепета он перешел к оправданиям. Он становился с каждым словом требовательнее. Он говорил и говорил. Говорил и тогда, когда Зуфар знакомил Анзират с Олей. И когда Анзират хлопотала около гостьи, непрерывно обращаясь в то же время к брату и засыпая его вопросами о войне, о японцах, о финских морозах, об орденах, об отпуске и о том, почему это он сразу, после приезда, не повидавшись, ускакал в пустыню и пропадал там столько дней.

— В какой пустыне? Ты был в пустыне, командир?— вдруг как-то нервно спросил Бахрам.

— Недалеко,— вскользь ответил Зуфар,— около колодцев Аджикую и близ развалин Змушкыр. Да вы знаете — у дяди Мергена.

— А! У бояра Мергена,— протянул Бахрам.— И кого ты встретил?

— Да лишь дядю Мергена. А вот кого хотел найти в пустыне, не нашел.— И он посмотрел очень нежно на Ольгу.

— А кого же ты искал?— настаивал Бахрам.

Но Зуфар не ответил, потому что Аизират обрушилась на него с новыми расспросами и принялась рассказывать, как учится доченька Асаль, и какие у нее отметки, и как она выполняет целую норму на окучке.

Упоминание об окучке навело Бахрама на какие-то свои мысли. Он всех прервал и принялся снова извиняться и оправдываться:

— Что ж, бригадир Бахрам тоже человек. Бригадир тоже должен дома посидеть, отдохнуть. Что же он должен сам, что ли, лепешки печь, шурпу варить. Несправедливо, вот... Ну, а чтобы «сухих разговоров» не заводили, я и сказал, я и говорил всем, что тебя, Аизират, нет, что ты в поле ушла.

— Все равно Панбархутхон язык почешет,— заметила Аизират, и к лицу ее прилила кровь.— По всему Хазараспу разболтает, что у нас сидела, кушала, чай с самого утра пила. Не надо было вам ее пускать. Конечно, дело ваше, вы дома хозяин, голова. Но я бы такую... такую змею в дом вообще не пускала бы. Вы уж меня извините, что я сказала.

— Ладно, ладно,— забормотал Бахрам.— Она не вредная. Она ж нам с тобой тогда помогла. Ты сама ее привечала. И потом вот теперь она в дом к нам привела почтенного человека. Вполне... У нас Асаль на выданье... Вот... Опять же кое-что... приносит... Вот...

Бахрам вдруг заговорил нечленораздельно. Сообразив, что запутался, он вскочил и, все так же бормоча, зашагал в глубь садика.

Тошнотворное чувство не проходило. Ольге делалось все противнее. Видно, первое впечатление не случайно. К чему весь обман с Аизират? Наивно и глупо совсем. Уголком глаза она посмотрела на Зуфара. Он сидел черный, мрачный. Таким Ольга его не видела. Аизират рассказывала о семейных делах. Ольге неудобно было слушать, но против воли она улавливала отдельные слова: «Ошиблась я...», «Пристрастился к...», «Достает где-то, да и сам коноплю сеет...», «Председатель предупреждал...», «Бедная Асаль расстроена...» Успокоительно Зуфар в чем-то убеждал Аизират, а у нее на глазах не просыхали слезы. На вопросительный взгляд Ольги она криво улыбнулась — пустяки, семейное дело.

Шумно сопя, вернулся громоздкий Бахрам. Укоризненно покосился он на жену и высыпал из поясного платка на дастархан груду спелых краснобоких абрикосов, тонкокожих и белых персиков и вишен-шпанок.

— Пробуйте! Пробуйте!— зарычал он тоном, словно говорил: «Убирайтесь!». Ольга не знала, что и делать. Она вертела в пальцах абрикос с глянцевой прохладной кожицей и, поборов сладкое желание запустить зубы в сочную мякоть, хотела положить дивный плод на скатерть.

— Эге!— буквально взревел великан.— Брезгуешь! Не хочешь. Дехканских плодов не хочешь. Ну нет. Пока не съешь,— даром что ли пришла в гости,— не уйдешь.

— Ну зачем девочке уходить? Только пришла ведь,— сказала Анзират робко.

— Молчи, жена! Я говорю: пока не съест, не уйдет. Еще скажет: дядя Бахрам заражен частно-собственническими инстинктами. Вот что она скажет.

«Хорош типчик,— подумала зло Ольга,— упиваясь соком абрикоса,— передовой бригадир, от хлопка увиливает. Сам не очень грамотным выглядит, а про частно-собственнические инстинкты говорит...»

Она потихоньку осматривалась.

Дворик как дворик. Типичная узбекская «томарка»— приусадебный участок, но дувал повыше, чем обычно — прочно бригадир отгородился от света,— с добротно сколоченной калиткой, здоровенным псом на цепи. Вся томарка превращена в фруктовый сад. Стволы деревьев с ловчими кольцами побелены, кроны правильно сформированы, ветки с подпорками. Виноград поднят на «шикамы» и густо увешан еще зелеными гроздьями. И какой виноград! Урожай — сотни пудов.

— Виноград не скоро поспеет,— поймал взгляд Ольги бригадир.— Пока персики ешь.

— Прелесть,— проговорила Ольга, когда в горло полился прохладный, божественный сок. Но наслаждение сразу исчезло. Она увидела глаза Анзират. Молодая женщина смотрела на Ольгу, на персики грустно, даже завистливо.

Сразу стал ясен смысл взгляда.

— Да, девушка, бригадир Бахрам не вышел сегодня на работу. А знаешь, почему? Надо вишню, урюк, персики — плоды своих рук — собрать, надо их ре-а-ли-зовать,— Бахрам так и сказал по-русски — «реализовать».— Семья у меня большая — надо одеть, обуть, а с колхоза что получишь?

На лице Ольги бригадир прочитал недоумение и быстро поправился:

— Разве я против колхоза? Нет, в колхозе Бахрам — первый бригадир. Но деньги всегда пригодятся.

Он был горд собой. Он выпячивал грудь, топорщил соломенные усы, выставил нижнюю губу и даже прищурился. Он выглядел очень важным и неприступным.

Запальчиво Зуфар спросил:

— Зачем же передовому бригадиру торговать на базаре?

Бахрам вспылил:

— Э, племянничек, вот зачем ты пришел? Ты военный человек — занимайся военными делами. Я колхозный человек, у меня свои колхозные дела.

Он приказал Анзират идти на кухню. И сам пошел за ней.

— Пойдем!— вскричала Ольга. Она кусала губы.— Я, извините, не могу здесь. Разве не видите? Сестра ваша не посмела присесть с нами. Он феодал, ваш родственник... И спекулянт. И... и... разве не видите, он... пьяный. Разве так с гостями разговаривают?

— Пьяный?— осенило Зуфара. Он потянул носом и подозрительно поглядел на чилим, прислоненный к столбику айвана.— Если он пьян?.. Анзират говорила про анашу... Вот так!

— Я уйду,— твердила девушка.

— Неудобно. Анзират мне сестра. Нельзя уйти. Иначе он, Бахрам, устроит сестре скандал. И так у них нелады...

Подумала Ольга задать вопрос: «Почему Анзират вышла замуж за чудовище?»— но... вскочила и по ступенькам сбежала в сад. Неудобно спрашивать.

ГЛАВА V

> Спрашивали у верблюда: «Почему у тебя шея кривая?» Отвечал верблюд: «А есть ли у меня что-либо прямое».
>
> *Сали ибн Факких*

Зуфар шел за ней, повторяя:

— Успокойтесь, успокойтесь. Посмотрите — хорошо здесь. Прохладно...

Девушка глотала слезы. Ни на что не хотелось ей смотреть. И в тенях от деревьев, и в тщательно выровненных дорожках, и в цветущих розах, и в спелых плодах ей чудились печальные, горькие глаза Анзират.

Томарка и сад на самом деле были гораздо больше, чем показалось вначале. Тропинка вела в настоящие заросли. Высились стволы деревьев, поднимались ажурные «шикамы»— навесы с виноградом, журчали глубокие арыки.

— Не правда ли, рай земной?— прозвучал вкрадчивый голос.

— Кто здесь?— с испугом остановилась Ольга.

В тени преогромного карагача «саада» с круглой кроной стояла деревянная «карават»— нары с фигурными перильцами по бокам,— и на ней на груде одеял и подушек восседал весьма

представительный седоватый мужчина. Он, по-видимому, читал. Во всяком случае, при появлении девушки и Зуфара он неторопливо снял очки в золотой оправе, вложил их в книгу и захлопнул ее.

— Пожалуйте, пожалуйте! Очень рад! Располагайтесь! — воскликнул он негромко без малейших признаков недовольства.

От неожиданности Зуфар не сразу поздоровался с человеком, сидевшим, вернее полулежавшим, с такими удобствами на караваt. Неожиданность — не то слово. Почему-то вдруг подумалось, что этот человек не должен был бы сидеть здесь. Ему просто не место здесь. Впрочем, колхозник, притом бригадир, имел право пригласить кого хочет и принимать в гостях кого угодно.

Или, быть может, Зуфару показалось странным, что Бахрам прячет своего гостя. Ведь он не пригласил его на айван, когда они пили с Ольгой чай. И тут, конечно, тоже ничего нет странного. Просто не счел нужным пригласить. Он же хозяин в своем доме. Весь Хазарасп так завидовал Аизират, что она устроила свою судьбу, выйдя за хорошего хозяина, за бригадира Бахрама, будучи вдовой да еще со взрослой дочерью.

Муж в доме хозяин, и ему решать — принимать или не принимать гостей и каких гостей. Ничего странного нет.

Мужчины думают медленно. А вот Ольга сопоставила все: и накрепко закрытую калитку, и ворчливое недовольство Бахрама при их появлении, и то, что он солгал насчет той женщины с забавным именем Паибархутхон, и слезы Аизират, и даже вот этого «слащавого господина», — иначе она не хотела его называть, — кейфовавшего под круглым карагачем. Все ей очень не понравилось.

И особенно потому, что все, что ей не нравилось, прямо или косвенно касалось Зуфара, ее Зуфара. Открывались новые стороны в жизни красного командира, вернее, его окружения, не укладывавшиеся в ту картину, которая рисовалась ее воображению до сих пор. Ольга очень расстроилась, но вежливость взяла верх, и она поздоровалась возможно приветливее:

— Здравствуйте. Извините за вторжение.

«Слащавый господин» ответил очень мягко. «Рассыпался в любезностях», — подумала Ольга. Он пригласил молодых людей посидеть с ним и разделить скуку, которая уготована судьбой ему, старику. Он предложил с любезностью и ловкостью придворного кавалера Ольге пиалушку: «Нет, не вина — увы, на Востоке вино не принято, — но да будет ей известно — чай «яхна» — райский напиток, достойный губок такой прелестной девушки». Пусть она извинит его, старика, за комплименты, от которых он не может удержаться при виде столь очаровательной особы.

Седоватый мужчина даже попытался рассеять озабоченность Зуфара, который все прикидывал, кем может быть этот «субъект», которого он никогда не видел в Хазараспе. А незнакомый гость принялся расспрашивать об ордене, украшавшем гимнастерку Зуфара, и сказал много лестного о Красной Армии — страже Советского государства.

И все же Ольга и Зуфар не могли сбросить ярмо неловкости и мучились вопросом: кто же он такой и откуда он сюда попал со своим холеным, даже красивым лицом, с такой же холеной, но старомодной бородкой, седоватыми висками коротко остриженных черных волос, густыми бровями, на которые надвинулась фиолетовая бархатная тюбетейка. Тучность не портила его фигуру, хотя живот несколько выпирал и покоился эдакой подушкой на скрещенных по-турецки ногах. Шил человек, по-видимому, у хорошего портного. Элегантный пиджак висел на сучке карагача. Вышитая украинская рубаха и брюки были тщательно наглажены. Но благообразный человек был чем-то встревожен. На языке у него расцветали комплименты, а весь вид показывал, что и Зуфар и Ольга весьма и весьма его стесняют, мешают ему. Ольга даже заметила, что человек искоса поглядел раза два в сторону гранатовых кустов, плотной стеной закрывавших от караваг глинобитный дувал в конце сада, словно кто-то там находился за кустами. Но сейчас же Ольга отбросила мысль как несерьезную.

А Зуфар обратил внимание на стоявшую около чайника початую пиалу с чаем. Вроде кто-то начал пить чай и не допил. Об этой пиале Зуфар вспомнил позже.

Но тут прорычал голос:

— А, вот ты где, дорогой племянничек! А я тебя ищу. Хорош у меня садик, а?

Бригадир появился шумный, багровый, еще более пьяный. Развязно он обнял Зуфара за плечи и воскликнул:

— Очень рад вот, что ты сам удостоился знакомства с почтенным нашим родственником и другом, самим светильником просвещения, домуллой Исхакходжи!

Исхакходжи заулыбался:

— Прибыл подышать чистым воздухом в райском саду садовника Бахрама, ибо еще великие мыслители прошлого утверждали: дехканин — опора государства. И ведь этот сад — ничтожная частица тех величайших садов.

Он отпил чая и продолжал:

— Наш герой бригадир Бахрам — личность весьма примечательная. Он польза для колхоза, он польза для государства, он польза для семьи. И смотрите, кем был его отец. Достойнейший земледелец, уважаемый человек ханства, пребывавший у подножья престола, благодетель дехканства, строитель каналов. А Бахрам, едва народ признал необходимым пойти по стопам рус-

ских, сам, повторяю, отдал ургенчскому ревкому все свои земли, все свои дома, всех своих овец и верблюдов. Добровольно, следуя велению своего сердца, отдал народу, а сам ограничился. сам удовольствовался тысячной частицей богатств, посвятив свой труд, свои помышления этому, так называемому, колхозу. И работал на сотни людей. Бахрам уподобляется мудрым дервишам древности, довольствовавшимся чашкой чистой воды и куском черствого хлеба.

Держа пиалу в одной руке и размахивая в ораторском вдохновении другой, Исхакхаджи пустился в длинные рассуждения о человеческих судьбах. В его многословной речи удалось лишь разобрать основное: оказывается, Бахрам, внук знаменитого Фулатбека, одного из могущественных вельмож Кокандского ханства. Отец Бахрама после долгих скитаний и бурных приключений нашел у хана Хивы убежище. Виновником всех бед семьи Бахрама был Джурабеков род. Джурабек, владетельный хаким Шахрисябза, изгнанный эмиром бухарским из своей страны, нашел покровителя в лице генерала фон Кауфмана, предался русским и принял участие в разгроме войск Фулатбека, защищавшего Коканд. Все это привело к достойной сожаления и осуждения кровавой мести. Спасаясь от мстительных родственников Джурабека, сам Фулатбек бежал в Афганистан, а один из его сыновей, отец Бахрама, нашел приют в Хорезме, где ханы хивинские отвели ему земли и угодья в окрестностях Хазараспа. Жил отец Бахрама в довольстве и счастье. Но аллаху было угодно, чтобы многие земли, дарованные ему, оказались принадлежащими роду, из которого происходил Джурабек. Достойная сожаления вражда родов Фулатбеков и Джурабеков привела к пролитию крови. Увы! Немало уважаемых людей погибло.

Из груди Бахрама послышался звук, очень похожий на ворчание.

— И не один из этих подлецов Джурабеков — пусть осквернится могила их отцов!— сложил свою псиную голову на майдане Хазараспа. Вот, не лезьте!

Великан почернел весь и затрясся.

— Увы,— продолжал Исхакхаджи,— вражда и месть выбирали новые и новые жертвы в уважаемых семьях. Когда пришли большевики, Бахрам благоразумно отдал себя и свои имения народу.

— А многие исчадия Джурабека,— заорал Бахрам,— сбежали из Хорезма и вместе с калтаманами Джунаида воровски ушли в Иран, вот!

Ольга восприняла этот рассказ как выдумку. А Зуфар заинтересовался им.

— А что с землями рода Джурабеков?

Снова вмешался Бахрам:

— Ты, племянничек, сидишь в саду одного из Джурабеков.

Да, да, высшее наслаждение мести сидеть в тени деревьев, выращенных руками врагов, и знать, что враги скитаются голые и нищие по миру, а ты ешь их плоды, сочные плоды.

Он подбросил в воздух великолепный, искрящийся нежным румянцем персик.

— Поймите бригадира Бахрама правильно,— вкрадчиво проговорил Исхакхаджи,— угодья Фулатбеков ныне являются землями колхозов Хазараспского района и возделываются на общественных началах, согласно порядкам Советского государства. Что же касается законных владетелей, насколько мне известно, в Турецкой республике проживает некий Муслим-эффенди, очень достойный — внук самого Фулатбека Мазаришерифского. Я не говорю о Бахраме, добровольно отказавшемся от наследства. Впрочем,— спохватился он,—мне больше ничего неизвестно.

— Пусть сюда сунутся!— прорычал исполин.— Ножи у Фулатбеков длинные, острые.

— Вот, кстати, душа моя, Бахрам,— проговорил вкрадчиво Исхакхаджи,— по иронии судьбы, упомянутый мною наследник хазараспских латифундий женился на девушке из джурабековского рода, по имени Сефиет.

— Тоже хороша эта Сефиет, наверно,— зарычал Бахрам.— Добрался бы до нее, собственными руками перерезал бы ей горло, вот...

На него было страшно смотреть. Глаза налились кровью. «Откуда такая ненависть?— думал Зуфар.— Какие-то чуть не столетние распри. Бахрам уже давно колхозник, советский человек. А ведет себя...»

Зуфара заставило насторожиться и другое. Исхакхаджи назвал Фулатбеков законными наследниками хазараспских угодий. Оговорился он, что ли?

Спорить не хотелось. Но все же вскользь заметил:

— Ну что ж, с феодализмом в Хорезме давно покончено. Покончено и с кровной враждой родов. Да и враждовать нечего. Земли Фулатбеков и Джурабеков навечно закреплены за колхозами. Трудящиеся — единственные законные наследники всех земель.

Многое, очень многое вызывало здесь, в этом доме, неловкость.

С искренним сочувствием и даже жалостью Зуфар смотрел на сестру, принесшую блюдо с пловом. Он не знал, что подумать. Айзират не была похожа на счастливую жену.

Он не смел осуждать ее, хотя полагал в душе, что она поступила легкомысленно, поспешив выйти снова замуж, всего лишь спустя год после гибели мужа на озере Хасан. Что толкнуло молодую вдову на такой поступок? Материально она ни от кого не зависела, считалась лучшей звеньевой колхоза. Жила в своем домике самостоятельно, воспитывала пятнадцатилетнюю дочь, училась заочно в сельхозинституте.

Поставив блюдо на дастархан, Аизнрат мелкими шажочками отошла в сторонку и пожелала доброго аппетита дорогим гостям. Она вдруг закрыла рот кончиком платка и быстро проговорила:

— Братец, новый преподаватель нашей школы Исхакхаджи очень почтенный и уважаемый домулла, настоящий ученый, вместилище знаний, знаток узбекской и восточной литератур, учился в различных медресе Самарканда и Бухары. Отнесись же к почтенному Исхакхаджи со всем вниманием и уважением.

Еще не притронувшись к плову, Зуфар невзначай посмотрел на гостя. «Приятное лицо»,— подумал он. Но тут же мелькнула совсем иная мысль: «Благообразное, даже красивое, но неприятное». Про подобных людей почему-то говорят: родился раньше отца и матери. Что ж, совсем недавно, в век тирании хивинских ханов, хитрость иногда стояла наравне с умом, а без хитрости выжить тогда было не менее трудно, чем без ума.

Исхакхаджи тоже не торопился приступить к еде. Он не слишком дружелюбно покосился на все еще стоявшую в почтительной позе Аизнрат и проговорил:

— Что же, многим нынешним не нравится, что мы, старики, когда-то обучались премудростям наук в медресе — хранилищах знаний. Упрек завистников я считаю за ничто, подобно горе, взирающей на дождевую каплю. Многие хорошие, вполне выдержанные... э... товарищи, ответственные работники, видные советские ученые Ташкента учились в молодости в медресе. Все зависит от того, как они повели себя в дальнейшем. Многие приносят пользу государству и поныне.

Очевидно, его задели слова Аизнрат, и, говоря о «выдержанных товарищах», он имел в виду себя. Бахрам сделал страшные глаза, и молодая женщина бочком-бочком пошла по тропинке.

Больно сделалось Зуфару. Он не узнавал сестру. Такая всегда самостоятельная, деятель «худжума», член партийного комитета, она держала себя дома приниженно, робко.

Он вернул Аизнрат:

— А хозяйка! Сестра, садись. Мы без тебя не начнем есть.

— Нет, нет. Кушайте!—забормотала Аизнрат и быстро ушла.

После минутного молчания заговорил Исхакхаджи. Вертя в руках ложку, он обратился к Ольге:

— Вы из России, и, наверно, вам плов в диковинку. Вкусное узбекское блюдо. Попробуйте!

Но отчего-то в его словах звучал вызов. Словно он чем-то был недоволен.

Ольга почти сердито ответила:

— Я родилась здесь. Мои прадеды приехали в Хорезм еще при Екатерине Второй. Казаки за старую веру на Урале гонениям подвергались, ну и бежали. А плов действительно прекрасное кушанье.

— И все же,— скрипуче протянул Исхакхаджи,— он особенно вкусен, когда едят его по-нашему. Не ложкой, а руками.

— Пусть он в двадцать раз вкуснее, но я ем ложкой. Да, извините меня, хотя бы... хотя бы с точки зрения гигиены...

— Брезгуете?..

Пришлось вмешаться Зуфару. Он видел, что Оля хочет спорить, а ему не хотелось ссоры. Он сам взял ложку и воскликнул:

— Плов перед нами, голод с нами. К чему споры! Приступим. Домулла Исхакхаджи, вы старший. Покажите, уважаемый, пример. Пожалуйста!

— Кто с точки зрения гигиены, а мы с удовольствием!— довольно раздраженно проворчал Исхакхаджи и, закатав рукава своей украинской сорочки и ловко орудуя пальцами, направил в рот горсточку риса.

Ольга тоже не заставила себя больше просить. Она ела с удовольствием. Анзират мастерски готовила.

Изящный, элегантный «деятель просвещения» ел неряшливо, даже прожорливо. С сопением он разжевывал большие куски баранины, торопливо заглатывал горстями рис, со смаком слизывал с лоснившихся маслом пальцев прилипшие рисинки и кусочки желтой моркови. Длинные, слегка распухшие от ревматизма руки, дрожа и трясясь, жадно вонзались в горку плова, хватали рис и тащили его в широко разинутый рот. В какой-то момент Исхакхаджи выловил из риса мозговую косточку и ловко припрятал под краем фаянсового блюда.

«Что, он голод чует?»— мелькнула мысль, и Ольге сделалось очень смешно. Она фыркнула и подавилась до слез. И Зуфар, и бригадир с недоумением глядели на нее. Но Исхакхаджи преотлично понял, что к чему.

Не скрывая раздражения, он в промежуток между двумя горстями плова проговорил:

— А, пожалуй, раньше поступали правильно, когда мужчины трапезовали отдельно от женщин. Очевидно, так повелось от древних времен. Тогда существовали дома, в которые вход женщинам считался запретом. Вот в наши чайханы до сих пор не принято, чтобы женщины...

— Так это было при матриархате, на... третьей ступени... дикости,— еле выговорила Ольга.— А сейчас... сейчас...

От душившего ее смеха девушка не смогла договорить.

Она вскочила с карават и убежала в кухню.

Мужчины доедали плов молча. Каждый думал о своем. Зуфар никак не мог подавить досаду. Он думал об Анзират, своей сестре. Как изменилась и она сама, и вся ее жизнь за какой-нибудь год! Он не понимал одного: неужели горе может придавить так человека, перековеркать его? Все больше поднималась у него тревога за племянницу Асаль. Он оставил ее перед отъездом в Сибирь пятнадцатилетней девчушкой. Он знал по пись-

мам, что гибель отца она пережила очень трудно, страшно горевала, болела. Где же Асаль? Обязательно надо повидать ее, поговорить с ней. «И какие типы ее обеспокоили? Не этот ли деятель просвещения?.. В случае чего, придется позаботиться о ее судьбе».

По удивительному совпадению разговор после плова коснулся именно Асаль. Ковыряя зубочисткой в зубах, Исхакхаджи рассуждал. Он не стесиялся. Явно он чувствовал себя в доме бригадира Бахрама чуть ли не хозяином, и к тому же поведение Зуфара и отдельные его замечания вызвали в нем раздражение.

— Конечно, душа моя, Бахрам,— заявил он,— есть хорошее народное правило: сначала напои, сначала накорми гостя, а потом спрашивай его. У вас в доме молоденькая с несформировавшимся мировоззрением девушка, в возрасте... гм-гм... невесты, и, мне кажется, вам, Бахрам, душа моя, подобало бы, так сказать, ограничивать... э-э... чтобы через порог вашего жилища не переступали...э-э... очень привлекательные, в некотором роде, но, простите, легкомысленные женщины. Вам, рожденному под счастливым созвездием, такое непростительно...

Неслыханно! Или раздражение, вспыхнувшее у Исхакхаджи, имеет слишком глубокие корни. Или он забрал огромную власть над Бахрамом.

— Сожалею,— сказал Зуфар, вставая,— что не могу разделять больше ваше изысканное общество и вынужден покинуть вас. Еще больше сожалею, что вам не сказали, кто я. Должен сказать: я дядя Асаль и знаю, кого можно приводить в дом, где она живет.

Он едва удержался от резкостей. Бригадир Бахрам проворчал:

— Ну, ты совсем напрасно. Он не хотел. Исхакхаджи очень достойный человек. Он хороших мыслей. Он образец ума.

— Иные так умны, что почти ни на что не способны,— сорвалось у Зуфара.— Не способны рассуждать по-человечески.

Исхакхаджи побагровел, но не нашелся, что сказать.

Зуфар увел Ольгу из дома бригадира Бахрама очень расстроенный. Когда они вышли на большую дорогу, замечание, брошенное вскользь Ольгой, просто обожгло его:

— А ведь тот, благочестивый, хочет породниться с вами.

— Что-о?!

— Мне ваша сестра сказала и просила вам сказать. Сама побоялась.

— Идем!— вскрикнул Зуфар. Схватил Ольгу за руку, потащил назад. Но они не дошли до усадьбы шагов сорок, когда калитка распахнулась и из нее вышел человек, одетый бедно, почти нищенски. Он во все стороны повертел головой в меховой, несмотря на жару, шапке. Что-то сказал в открытую калитку, и оттуда вышел суетливый человек в каламянковом костюме и панаме.

Неизвестный пошел в сторону, противоположную от большой дороги, и почти тотчас же исчез за углом дувала. За ним шел человек в шапке, суетливо передвигая ноги и странно подергивая правой рукой.

— Это он! — воскликнула Ольга.

— Это он! — повторил машинально Зуфар.

Зуфар быстро побежал по дорожке, но вернулся от угла.

— Исчез, — сказал он. — Оба исчезли... сквозь землю провалились.

— Кто он такой? Вы его знаете? — взволнованно спросила Ольга.

— Нет. Но хотел бы знать. Со вчерашнего дня он идет по моим пятам по дороге. А почему вы крикнули: «Это он!»?

Ольга дрожала. Ну и прогулка у них получилась. Ей плакать хотелось. Она сказала:

— Да это тот самый тип, который... который привязывался ко мне там, на мазаре, в Каракумах. Ишан.

«Вот, значит, что? Был бы мед, а муха и из Багдада прилетит. На мазаре обосновался. А вот за Ольгу я тебе... Наверчу твои кишки на башку чалмой».

Вполне естественно, что свои свирепые мысли Зуфар высказать вслух при девушке постеснялся. Он проговорил:

— Людское зло — мулла. Дело муллы — хитрость. Но хитрость этому не поможет.

ГЛАВА VI

> ...Не позволяй птице своей души клевать зерна сорняков низменных переживаний, заставь ее воспарить к блестящим небесам.
>
> *Аль Хорезми*

Остановить реку рукой нельзя. Анзиратхон не смогла остановить поток бедствий. Сначала умер сын — шестилетний бутуз.

Не прошло и месяца, и с Дальнего Востока, с Халхингола, прислали в Хазарасп «смертную»... Комиссар части с прискорбием уведомил Анзират: «Смертью героя в борьбе с японскими самураями пал ваш муж Алим Джумаев».

Мертвое пламя зажглось в прекрасных глазах Анзиратхон. Выразительное лицо застыло в маске отрешенности, безразличия. Она никого не желала видеть. Попытки Асаль утешить ее вызвали приступ злости. Анзират накричала на дочь: «Не учи меня плакать! Не смей пускать никого в дом. Все вы одинаковы. На устах — сочувствие, в сердцах — змея...»

Она забыла о доме, о дочери. Каждый день Анзират брела на кладбище, к древнему, изломанному бурями священному дереву «саур» и, прильнув к изодранной его коре, разговарива-

ла сама с собой. Хоть муж ее, храбрый командир Алим Джумаев, и похоронен был в тысячах километров от Хазараспа, но ей казалось, что он слышит ее, и она взывала к нему через пространства, через горы, степи, пустыни.

«Кто ушел, того уже нет»,— покачивали головами друзья и родственники. Все уважали горе молодой вдовы. Что ж! Для каждого горе его с верблюда.

Слова о верблюде принадлежали не кому иному, как Панбархутхон. При жизни красного командира Алима Джумаева проныра Панбархутхон, когда он находился дома, и порога не решалась переступить. Да и сама Анзират не слишком жаловала кумушку: «Не ходи лучше,— говорила она,— у меня невеста растет».

И правда, зачем сплетнице Панбархутхон совать нос в дом порядочного товарища Алима Джумаева, участника гражданской войны, красного командира?

Но когда он погиб, все переменилось. Панбархутхон сразу подобрала ключи к сердцу вдовы. И дело не в нужде, не в деньгах. Анзират получала пенсию. У нее имелись сбережения, потому что больше десяти лет она была ударницей хлопковых полей и зарабатывала очень много. У нее в гараже стояла новенькая легковая машина, которая так и не дождалась возвращения хозяина с фронта.

Нет, Панбархутхон ничего не смогла, если бы полезла к Анзират с деньгами и своими спекуляциями. Говорили: «Тут что-то другое...»

Неожиданная дружба вдовы Анзират с Панбархутхон всех в колхозе обеспокоила. Сам председатель и парторг приходили беседовать. И не один раз. Но душа женщины — потемки. Анзират упорно молчала. Она лишь раз повторила слова Панбархутхон насчет горя и верблюда.

И председатель, и парторг отлично разбирались в хозяйстве и политике. Колхоз под их руководством сделался миллионером, но в переживаниях лучшей своей ударницы разобраться не смогли и решили: время вылечит раны.

Они даже обрадовались, когда вдова снова вышла замуж. Их не смутила неприличная поспешность, с которой молодая женщина забыла про погибшего мужа. Они решили: все в порядке, теперь наша гордость, наша ударница забудет горе и снова прославит колхоз своими трудовыми подвигами.

Но новый муж Анзират не очень-то был склонен пускать молодую жену на «трудные» работы. Всячески оберегал ее от солнца и ветра. Да и замужество не вернуло Анзират оживления, жизнерадостности, воли к деятельности.

Выйдя замуж, Анзират поняла, какую ошибку сделала. Она стала молчаливой. На всех смотрела непонимающими, затуманенными глазами.

Казалось, что Аизират чувствует большую опасность, но бессильна ее предотвратить.

Вернувшись из действующей армии после ранения в отпуск, Зуфар не поверил ушам, услышав о замужестве сестры.

Вторично Зуфар пришел в дом бригадира уже без Ольги. Сестру не упрекал, не бранил. Он слишком любил ее. Они выросли вместе. Зуфар поражался перемене в ее лице. Смотревшие как будто в тени глаза ее метались и кричали. В черном шелке волос пробивалась седина.

Аизират не плакала от воспоминаний. Разбился тот кувшин, разлилась та чаша. Она исподлобья разглядывала Зуфара, его петлицы, пуговицы на гимнастерке. Лишь раз искоса глянула на мужа. Огромный, черный Бахрам ходил по михманхане на цыпочках. Он сам разостлал дастархан, принес еду, чай. Он не посмел и слова сказать. Боялся, что Зуфар вспомнит о неприятной размолвке.

Когда Асаль вскочила из-за стола, где готовила уроки, Аизират крикнула:

— Сиди!

И снова бригадир не посмел слова сказать. А странно. Совсем не казался он со своим мрачным взглядом и напряженным каменным лицом преданным, любящим мужем. Бахрам промолчал, когда Аизират внезапно и несколько истерично воскликнула:

— Исковерканная жизнь!

А Бахрам мог обидеться. Бешбармак, сготовленный самим бригадиром по случаю приезда Зуфара, был из свежей баранины. На шелковом дастархане всего оказалось в изобилии. Да и светлые чистые комнаты, ковры, гарнитур мебели в столовой, фруктовые деревья, виноградник — все говорило о довольстве и о том, что в доме заботливый хозяин. И Асаль, надо полагать, нашла в Бахраме заботливого отчима.

Она имела отдельную комнату, занималась в школе, и бригадир даже сказал: «Захочет учиться дальше, пусть едет в институт».

Зуфар упрекнул племянницу:

— Ты не больна? Какая-то неулыба.

В глазах Асаль он увидел ту же мечущуюся тень, что и у Аизират.

Когда бригадир вышел из комнаты и они остались одни, Асаль прошептала:

— Дядя, мне надо с вами поговорить. У нас в доме...

Она не закончила фразу. Вошел Бахрам с чайниками. Асаль повернулась к своим книгам и тетрадям.

Что он придирается к Асаль? Ведь со дня смерти отца прошло совсем немного, и девочка, видимо, очень переживает.

Зуфар еще не знал всех обстоятельств замужества сестры. Он только постепенно вникал в роль Паибархутхон. А когда вник, испугался.

Как и все жители Хазараспа, Зуфар всегда презирал Панбархутхон. Сопоставив факты, он понял многое. Бригадира Бахрама и Панбархутхон называли — «барсуки из одной норы». Ведь явно сестренку Аннират окрутила Панбархутхон и выдала за своего дружка.

Нельзя сказать, чтобы Панбархутхон открыто проявляла враждебность к Зуфару. Она давно обратила внимание на молодого командира и даже пыталась затянуть его в свой «домик». Но у нее получился не очень приятный разговор с Зуфаром, когда он назвал ее в присутствии свидетелей «банги» — наркоманкой. Вскоре Зуфару пришлось воевать против японцев на Хасане и Халхинголе. И он надолго уехал.

Сейчас Панбархутхон встретила Зуфара на улице точно близкого родственника. Она просияла морковным румянцем щек, кокетливо улыбнулась ему своими пухлыми губами и воскликнула:

— Ах, командир! Тощий, худущий в таком своем чине, звании! Барашек сколько пасся, а жир где?

При всем нежелании вступать с Панбархутхон в разговоры Зуфар невольно поздоровался с женщиной вежливо. А она продолжала:

— Женить надо вас. На семейных хлебах сразу потолстеете. Все девушки Хазараспа о вас мечтают. Но я знаю одни щечки, которые и вам приглянулись.

Зуфар понял, что Панбархутхон подтрунивает над ним.

— Что вам от меня надо, гражданка Панбархут, или как вас там?

— А то, что ваша племянница, очаровательная Асаль, строит вам глазки. Вот вам и невеста. И молода. И в соку. И умна. И даже влюблена в своего дядюшку. Эх, вы из тех джигитов, что носом звезду сшибают, глазом луне подмигивают.

Она говорила громогласно, точно задалась целью оповестить всю улицу. Она разбрасывала отравленные семена сплетни по всему Хазараспу.

— Но смотри, командир, пешком пойдешь — сапоги износишь, на голове будешь ходить — фуражку командирскую потеряешь.

Зуфар сначала вспылил. Он едва сдержался, чтобы не накричать на Панбархутхон тут же на улице, при народе. Но он слишком любил сестру и племянницу, чтобы их имена трепал базар. И потом, что дала бы ссора с городской сплетницей? С ней спорить — все равно что у ишака спрашивать, когда среда.

В смятении Зуфар поспешил к Анзират. Радость всегда заставляла трепетать его сердце, когда он видел Асаль. Теплота чувств к ней порождалась тем, что детство ее прошло на его глазах. Из малышки, которую он часто нянчил, выросла очаровательная девушка, умненькая, трудолюбивая. Асаль училась очень хорошо и уже работала в поле. Ее никто не мог упрек-

вуть, что она белоручка. Привязанность Зуфара к Асаль объяснялась очень просто. Еще когда он был юношей, трагически погибла, убитая калтаманами во время трагедии у колодцев Ляйли, та, кого он считал властительницей дум. Позже он пытался обзавестись семьей, но детей не было, а жена ушла от него, не желая примириться со скитальческим образом жизни речного штурмана.

Зуфар не задумывался над тем, что Асаль с каждым днем взрослеет. Иногда она ловила его взгляд, и вдруг на лице ее появлялась странная мечтательность. Зуфар много и увлекательно рассказывал. А жизнь его была полна романтических событий и приключений на Аму-Дарье и в Персии. Не задумываясь, Зуфар принимал восхищение Асаль как должное. Он очень баловал племянницу и, хотя в своей семье она ни в чем не нуждалась, делал ей дорогие подарки. А когда Асаль подошло время кончать школу, написал, что все расходы по дальнейшей учебе в вузе он берет на себя. Бахрам не возражал. Полнейшее безразличие читалось на лице Анзират. Зато в глазах Асаль Зуфар читал благодарность и нежность.

И вдруг словно ком гадости застрял в горле. Дрянная баба, сплетница Панбархутхон, перемутила, перевернула все. Проклятая «джигджигу» — пискунья! Сколько холодной жестокости нужно иметь, чтобы полезть с грязной сплетней в семью, претерпевшую столько бед!

Холодом отчуждения повеяло на Зуфара. Совсем как у поэта Санаи: «Вчера все принадлежало ему. Сегодня — все далеко от него». Семья сестры, нежность, любовь, теплые чувства — все испоганила дрянная баба.

После обеда, когда Асаль ушла в школу, а Бахрам отправился в бригаду, Зуфар все откровенно высказал сестре. Она молчала, пока он говорил, и дурная улыбка бродила по ее губам. Зуфар ничего не понимал.

Глупо посмеиваясь, Анзират сказала:

— Милый братец, так повелось, что дядюшки поглядывают на красивых племянниц. А бедняжку Асаль ты обворожил.

— Что с тобой? Что ты говоришь?

Он лишь теперь понял, что Анзират не в себе. С холодком в сердце он подумал: «Опять терьяк!»

Но не только настой из маковых головок путал мысли Анзиратхон, притуплял ее чувства, искажал их. Из слов несчастной выглядывала рожа Панбархутхон, самодовольная, с наглой ухмылкой.

— Я очень люблю Асаль. Она моя дочь, и она обязана слушать меня. Заставят меня лизать раскаленное железо, и то я настою на своем.

Говорила Анзират деревянным тоном. Она упрямо долбила слова. Ее желтоватое лицо, отрешенность взгляда, слюна на

подбородке ужасали Зуфара больше, чем смысл слов. А мысли ее путались:

— В песках бабушка Ал живет... Волшебная печатка у нее под языком... Приложить печатку к животу роженицы... без мук родит. Я дочку без мук родила... Бабушка Ал помогла... Чего тебе, мужчине, не поиять... Не отдам любимую дочку тебе.

— Выслушай меня! — просил Зуфар.

Но Анзират не давала ему говорить. Она раскричалась. Она не считает дурным, если Асаль выйдет за старика. Пусть стар, но богат, зажиточен, уважаем. Пусть даже калым заплатит. Бархатный халат пусть матери не забудет подарить, панбархатный лучше. Душечка Панбархутхон говорит, что уважаемый Исхакхаджи обязательно панбархатный халат подарит за Асаль.

— Что ты говоришь, сестра!— ужаснулся Зуфар.— Ты передовая женщина. Ты активистка худжума. Что ты хочешь сделать с бедной Асаль?

— А ты чего бродишь вокруг? Дочка у меня выросла, а ты глаза на нее пялишь.

— Опомнись, сестра. Я уйду, а ты... успокойся. Ты опять...

— А-а-а! Значит, я пьяна, по-твоему?! Ты смеешь это мне сказать, твоей старшей сестре? Уходи!

Анзират совсем обезумела. Зуфар ушел. В калитке он столкнулся с Панбархутхон. Прикрываясь полой накинутого на голову бархатного камзола, сплетница быстро скользнула во двор.

С тяжелым чувством уехал в тот день из Хазараспа Зуфар. Он не смог даже повидать Асаль: побоялся встретиться с ней, не хотел, чтобы и тень упала на голову девочки.

Из Ургенча Зуфар написал письмо сестре, очень сдержанное, очень осторожное. Он просил Анзират беречь себя. Просил сообщить, когда закончатся экзамены в школе и что решит делать Асаль. Зуфар считал, что долг свой выполнил, но неприятный ком в горле все стоял. Зуфар собирался уехать в кочевья по заданию Обкома партии, когда получил письмо. Подписи не оказалось, но гадостей неизвестный автор наговорил в нем много: командиру советовали не совать нос в Хазарасп. В первой же столовой ему, гнусному соблазнителю несовершеннолетних, подложат в пищу яд. Джигиты Хазараспа поклялись избить его до полусмерти за Асаль.

Чьих рук это письмо, сомнений не вызывало. Зуфар решил, возвратившись из Каракумов, обязательно поехать в Хазарасп.

Еще до отъезда из Ургенча он навестил Исхакхаджи: счел необходимым поговорить с ним.

Когда-то в последние годы Хивинского ханства отец Зуфара, простой табунщик, случайно встретился со знатным вельможей, господином мунши ханского двора Исхакхаджи. Господину Исхакхаджи, книжному червю, как он сам себя иронически называл, хан вдруг приказал проучить и усмирить ташаузских ному-

дов, отказавшихся платить дань Хиве. Исхакхаджи — знаток древних книг — отлично разбирался в законах шариата, но в военных делах умудрялся «на сухом месте в грязь попасть». Он считал, что драться и грызться подобает собакам. Во время военных операций предпочитал сваливать все дела на ясаулов, а сам где-нибудь в тенистом саду кейфовал и поджидал донесений. К тому же он и в походе не хотел ни в чем отказывать себе. Вообразив себя победителем, Исхакхаджи решил пойти по стопам завоевателей, почитавших за самую ценную военную добычу юных девственниц и прекрасноликих юношей. По крайней мере в сочинениях древних авторов, которых он знал и любил, писалось именно так. Но в книгах часто пишется одно, а в жизни получается другое. Муравей погиб из-за сахара. Мирные дехкане, которых Исхакхаджи счел по неопытности покоренными врагами, вступились за своих дочерей и сыновей. Исхакхаджи действительно бы погиб, если бы не отец Зуфара, уговоривший узбеков удовлетвориться изгнанием вельможи из кишлака. Свиту Исхакхаджи истребили, а самого его, босого, в одном белье, с волосяным арканом на шее, с позором прогнали десятка два верст по солнцепеку и бросили в степи. Отец Зуфара положил блудливого мунши на ишака и привез в Хиву.

Чаще всего благодарность оборачивается ненавистью. Берегись того, кому сделал добро. Зуфар уразумел это за дастарханом в михманхане Исхакхаджи.

У каждого цвётка свой запах. У настроений Исхакхаджи запах был неприятный. Впрочем, он сам сказал, что отец Зуфара оставил добрую память.

Зуфару претило напомнить, что Исхакхаджи жизнью и честью обязан его отцу. Он просто попросил не вторгаться в судьбу молодой девушки, оставить в покое Асаль.

Он разговаривает с Исхакхаджи не потому, что отец когда-то оказал услугу Исхакхаджи, а как единокровный его соплеменник, а также как родственник Асаль, родной ее дядя, обеспокоенный участью племянницы.

— Знаем, знаем дорогих и любвеобильных дядюшек,— заулыбался Исхакхаджи, и в его улыбке промелькнуло что-то блудливое.— Отдаю должное родственным чувствам. Но скажите, чем плохо мне, наскучившему холостой жизнью, ввести в свою спальню молоденькую девушку. Еще древние авторитеты утверждали, что это лучший способ омолодить себя. Да мы и не так дряхлы, чтобы не дать счастья и удовлетворения молодой жене. Нам всего еще...— Он поперхнулся и так и не сказал, сколько ему лет. Покрутив кончик крашеной бороды, Исхакхаджи продолжил:— Я не говорю про вашу племянницу. Дело далеко не решенное, но любая девушка почтет за счастье стать супругой такого почтенного, ни в чем не нуждающегося человека, как я.

Он считал, что Асаль сразу станет уважаемой. Как же! Жена заслуженного деятеля просвещения, революционера в прошлом.

Зуфар вспылил:

— Молчите, все знают вас, «революционеров», так сказать. Вы, хивинские беки и хакимы, воспользовались революционной ситуацией, шагали по трупам врагов и друзей, набивали окровавленным барахлом свои хурджуны. Спасали свою жизнь за счет других. Разве вам осознать всю величину преступлений перед узбекским народом, перед Советами?!

— Но, но!— Исхакхаджи побледнел, но не пожелал вступать в спор. Он испугался. Зуфар говорил резко: железом из горна железо вытягивал.

Нет, лучше не ссориться с командиром.

— Мы мо-жем жить и в Хазараспе,— заикался Исхакхаджи,— где из уважения к моим революционным заслугам Советское государство построило мне дом. Или в Ургенче, где, слава аллаху, облисполком отвел нам — вы могли убедиться!— весьма недурную квартирку. Молодая жена не пожалеет, что войдет в дом почтенного пенсионера. Ведь когда Азраил потушит факел нашей жизни в реке забвения, все имущество я отпишу усладительнице моих конечных дней.

Все еще вежливо и терпеливо Зуфар попробовал убедить старца отказаться от своего сватовства.

— Вы меня поучаете народной мудростью. Позвольте и мне привести изречение: «Слепота мысли хуже слепоты глаз».

С некоторой досадой Исхакхаджи бросил:

— Лучше быть женой пожилого человека, подобного мне, чем сделаться вертихвосткой.

— Да, вы почтенный человек. И вам стыдно болтать такое про девушку!

— Не горячитесь, командир. Вы возмущаетесь серьезными моими намерениями. А чего вы молчите, когда из вашей племянницы хотят сделать танцорку?

— Что за танцорку?

— А такую. Вашу красавицу племянницу ее друзья комсомольцы толкают в разврат. Учат вертеть бедрами. Это называется у комсомольцев... танцы... вечеринки...

— Откуда вы взяли? Асаль сидит за учебниками, хорошо учится. И что из того, если она пойдет в гости к подружкам...

— Ничему они хорошему не научат мусульманскую девушку. Только настраивают против почтенных людей... против Бахрама... Он ей столько добра сделал, а комсомольцы подговорили Асаль клеветать на него, донос написать...

— Какой донос? Что еще такое?

— А ты спроси у этой балаболки, тьфу, как ее — Паинбархутхон. Она вечно крутится в доме бригадира, и... она все знает. И про клевету знает...

Исхакхаджн оборвал на полуслове фразу н растерянно поглядел на Зуфара. Не следовало называть имя Паибархутхон, но гнилая доска гвоздя не держит. Зуфар отлично знал, что Исхакхаджи очень хорошо знаком с Паибархутхон, постоянно навещает ее.

Понимая, что он проговорился, Исхакхаджи заюлил. Извивая под злым взглядом Зуфара, он доказывал, что Асаль остается единственный выход — выйти за него замуж, иначе ей пропасть. Почтенный пенсионер вздыбился и не захотел слушать больше Зуфара. Он дал понять командиру, что со всякими советоваться не намерен и устроит свои семейные дела, как ему заблагорассудится. Напустил на себя важность и снисходительность. Говорил он любезно, снова вспомнил отца Зуфара, произнес целый панегирик благодарности. Но мягкими речами кости ломают.

Пришлось Зуфару уйти ни с чем.

ГЛАВА VII

От того вина, что выпил сегодня,
испытываю я горькое похмелье.

Насыр Хосров

Обруч сжимал сердце. Голову вроде набили ватой. Зуфар больше не мог. Под каким-то не слишком серьезным предлогом отпросился у председателя комиссии и поехал через солончаки, камышовые болота, пески в Хазарасп.

Зуфар знал, что надо поехать. Только раз покривил губы и вслух сказал: «Ну и отпуск у тебя, командир!» Видно, сказал громко: конь, на котором он ехал верхом, застриг беспокойно ушами.

Добрался поздно. Оставил коня в чайхане распивавшему чай Адару, а сам отправился прямо в «домишко» Паибархутхон. Рыжий детина в белейшем халате и такой же ослепительной, преогромной чалме, испуганно гримасничая, залопотал:

— Уважаемая отсутствуют. С поля еще не вернувшись. Вырабатывают трудодни, не жалея нежных рук и белизны щек. Увы! Времена вынуждают...

Он ухмыльнулся. Сам не мог себе вообразить рыхлую, дебелую ханум, свою покровительницу, на окучке хлопка.

Отстранив плечом рыжего детину, командир вошел в помещение.

— Ну-ка, отойди! Заштопай прореху в мозгах, а я покажу тебе «времена». Читай свои молитвы, я сам погляжу, где твоя «колхозница».

Он почему-то уверен был, что Панбархутхон дома, и просто распорядилась его не пускать.

В домишке стоял густой, сладковато-приторный запах. Явно здесь курили опиум. Ошибиться Зуфар не мог. Он навсегда запомнил запах опиума со времен своих приключений в Персии.

Мулла отскочил в сторону и поправил чалму. Среди сидевших в большой, нарядно расписанной букетами цветов комнате произошло замешательство. Заметались какие-то нелепо наряженные не то дервиши, не то нищие... Безмолвно расступились они, пропуская командира в следующую дверь. Тихий голос предостерег: «Там женщины!» Но Зуфар уже перешагнул порог. Его оглушил тот же густой сладкий запах. В полумраке у самого пола мерцали красными стекляшками язычки горящих фитилей. Глаза Зуфара привыкли к темноте, и он разглядел закутанные в паранджи фигуры женщин, сидевших и полулежавших на кошмах и паласах. Они не обратили на него внимания, они вообще ничего не видели. Одни курили, другие ждали.

Посреди михмонханы на полу стояли лампочки с фитилями, накрытые стеклянными колпачками с отверстием наверху. На глазах Зуфара закутанная в шаль женщина положила в тростниковую трубку, похожую на остроносую ложечку, шарик опия. Затем поднесла трубку к отверстию в колпачке, и опий загорелся. Женщина откинулась набок и с громким всхлипыванием затянулась. При слабом свете огоньков видно было, что ее лицо тут же расплылось в блаженную гримасу. Женщина погрузилась в приятные грезы опьянения.

Зуфар вскрикнул. Женщина, курившая опиум, была Анзират. Он хотел отнять у сестры трубку, разбить светильник. Но кто-то вцепился в его руку.

— Тише ты, сумасшедший,— прошептал женский голос.— Кукнаристы — странные люди. Крикнет кто, и кукнарист может помереть от испуга.

Его потащили к выходу. Анзират отложила в сторону трубочку, вздохнула и отрешенно сказала вполголоса:

— Костер горит — все видят, сердце горит — никто не видит. Уходи, брат. Стыдно тебе быть здесь.

И опять Зуфара поразили смотрящие исподлобья затуманенные, лишенные всякого выражения глаза сестры.

Сизый дым, стлавшийся по коврам и паласам. Тяжелый запах терьяка мутил сознание. Смятение — слово лишь слабо передающее состояние Зуфара. Он забыл, что хотел сказать Паибархутхон. Он забыл, что вообще хотел ее увидеть и потребовать... Чего потребовать? Зуфар чувствовал полную бессмысленность такой встречи, такого разговора. Безжизненный, затуманенный взгляд Анзират убивал его. Он понял, что сестра потеряна для него, для жизни. В Хазараспе, шумном, деятельном районном центре, он вдруг обнаружил опиекурильню! Такие он видел в Иране. Когда служил в пограничных войсках, ему довелось отбирать у контрабандистов опиум. Но лишь теперь он уви-

дел, куда идет этот опиум. А Панбархутхон! Какова! Прямо на глазах у всех. По соседству с исполкомом и милицией устроила притон.

Образ родной сестры, Аизират, все заслонил. Он поскакал в дом бригадира. Он поспешил в поле на участок. Он полдня проплутал по полям.

Чернолицый, с подергивающейся скулой, недовольный Бахрам слушал Зуфара и молчал. Затем говорил о странных вещах. На Зуфара повеяло таким затхлым, заскорузлым, таким непонятно страшным. Откуда? В чем дело? Бригадир Бахрам, энергичный, исполнительный производственник, ударник хлопковых полей совсем не тот, за кого старается себя выдать. Как говорят в народе: зеркало его нечисто.

Привалившись грудью на капот трактора и сверля глазами лицо Зуфара, гарцевавшего на лошади, Бахрам медленно цедил сквозь усы. Желтые, горящие рыжим пламенем на черном лице усы Зуфар запомнил на всю жизнь. Усы выглядели такими же нелепыми и непонятными, как и слова бригадира. Странные слова. Странные желтые, почти соломенные усы. Странный воровской взгляд могучего, словно сложенного из глыб сала, силача.

Бахрам сказал и, казалось бы, невпопад:

— Командир, ты Джурабек!

— О чем ты?

— Все вы джурабековского рода. Из Шахрисябза. Знал бы раньше, не женился бы на твоей сестре.

— Ну и что?

Ему припомнилось, что отец его действительно имел дальних родичей в Бухаре и даже точно из Шахрисябза. Но к чему заговорил Бахрам о его происхождении и роде?

— А я из Фулатбеков, из кокандских Фулатбеков.

— Ну и будьте хоть из Ташкента, хоть из Самарканда. Мне-то что. Будьте человеком. Я ему об Аизират, а он... Плохо с Аизират.

— А то, что Фулатбеки пили воду кровавой клятвы до скончания века мстить вам, Джурабекам; за смертные обиды мстить, за кровь мстить, за отступничество от веры ислама мстить.

Смутно, по семейным преданиям, Зуфар слышал о кровавой клятве, о мести, но никогда не придавал этим разговорам значения. Дед его машкоб-водонос и взаправду приходился сродни шахрисябзскому правителю, неистовому Джурабеку, сменившему зеленое знамя пророка на генеральские погоны русской службы. Но дед-водонос выселился в Хиву из благодатной Шахрисябзской долины в семидесятых годах прошлого века после восстания водоносов, прожил жизнь дехканином и пастухом и вряд ли когда-нибудь поминал о своих высокопоставленных родичах. И уж меньше всего он имел касательство к Фулатбекам, которые

сводили в течение десятилетий темные свои счеты с потомками шахрисябзского владетеля.

Зуфар рассердился, вспылил, как всегда, когда ему приходилось сталкиваться с тупостью. Он высмеял бабушкины сказки, но ничего не достиг.

Бахрам твердил свое:

— Мы Фулатбеки. Ты из Джурабеков. На Джурабеках кровь Фулатбеков. Ты знаешь, что такое «пить клятву»...

С беспросветным чувством уехал Зуфар. Каков Бахрам! Откуда такая дикость? Не будь на свете ослов, цена на них поднялась бы до тысячи рублей. Узнал, что жена из рода, с которым есть счеты, и начал вымещать. Да, слухи иной раз бывают правильны. Видимость хорошего отношения бригадира к Анзират не обманула хазараспцев. А он, родной брат, не разглядел, что творится в семье бригадира.

Теперь Зуфар вспомнил, что старый друг их семьи Алдар Куса сказал ему только вчера: «А бригадир Бахрам тяжел на руку. Ой, Анзират молчит, а слезы вон какие арыки по щекам проложили. Не иначе, поколачивает Гог-магог твою сестру, а она плачет и помалкивает. Боится тебе сказать, знает твой характер. Огонь в сухой колючке — твой характер».

Совсем путано Алдар объяснил Зуфару, что творится в семье бригадира. В своем краснобайстве Алдар всегда ходил вокруг да около.

Чайник чая, обязательно зеленого, пиалушка и местечко в чайхане, а то и просто в тени дувала, вполне располагали Алдара к длительным разглагольствованиям. Сначала о том, какие сны он видел и что они значат. Потом, что ел вчера за обедом и, к примеру говоря, что покупала вчера на базаре Анзират, почему она взяла мясо не для плова, а на похлебку. Скуп бригадир Бахрам! Сам богат и взял в дом богатую вдову и не грех бы ему кормить жену и падчерицу почаще пловом. От покупок Анзират Алдар перескакивал к своей супруге. Какая она сварливая да драчливая! Вот в других семьях, хоть и советские времена, мужья учат жен по доброму мусульманскому правилу. А в других семьях женщины берут на себя слишком много. Нынешние женщины хуже прежних. Но вот про Анзират нельзя ничего сказать дурного. А такую красивую и разумную жену он, Алдар, и пальцем не тронул бы. Труднее теперь жить. И не потому, что там цены высокие или люди с голоду умирали бы, как при хане хивинском. Хлопок слишком, видно, удобряют. Такой урожай — не успеваешь собирать. Раньше каждый думал о себе. Если котел кипит не для меня, пусть в нем варится хоть собачья голова. А теперь думай обо всех, о колхозе. Нельзя не думать о людях. Даже ему, Алдару, колхозному бригадиру, приходится надевать на шею фартук и с утра до вечера гнуть спину. Хорошо Анзират, сестрице Зуфара. Ее муженек, бригадир Бахрам.

не пускает Анзират иа поле. Даже вон при всех палкой прогнал домой. Дело, коиечно, хозяйское. Раиьше, в добрые мусульмаиские времена, солнце зайдет, все поужинают и на боковую. А теперь поразвеснлн всюду «эликтр»: н в домах н на улицах. Никакого спокойствня. Девчонки с книжками сндят допоздиа. Вон в окошке Асаль вчера свет совсем поздно горел. Спросил утром ее, а оиа: «К экзаменам готовлюсь». Трудио стало жить. Бахрам с чериым лнцом все Асаль н Аизират ругает за «эликтр». Да и людн в добрые старые времена не таскались из дома в дом по ночам. А теперь понаехалн тут разные чужакн вроде этой Паибархутхои. Иблнс ей на язык плюиул, и к ией, пользуясь светом «элнктр», разные ходят. И Анзират ходит. Гадать, что ли? Вчера Алдара стошиило, когда ои Паибархутхои увидел в машние. И чего только люди не придумают. Езднли себе иа арбе, чниио, уважнтельио, а теперь «пых-пых» подавай всякой шлюхе, да еще облнсполкомовскую «пых-пых». От Паибархутхон все беды и иеприятности. Надо Зуфару — ои красивый командир, начальинк — эту Панбархутхон как следует в оборот взять, чтобы людям жнзнь ие портила.

ГЛАВА VIII

День лягушки проходит в кваканье.
Кари Наджми

Людн отлнчаются от быков знаннямн, а людн без знанний — это бесхвостые быкн.

Насыр Хосров

Толком в Хазараспе о Паибархутхон инчего ие знали. Со слов одной дошлой старушкн Алдару было известно, что расторопная вдовушка является дочерью перса-прасола, приехавшего в Ташкеит еще до революцнн. Поселнлся он в квартале Камнлаи Дарваза. Там же выдал дочь за местного бая, там же она н овдовела вскоре. Ничего, как вндно, особенного.

— Подожднте!— многозначнтельно поднимал вверх палец Алдар.— Тут-то н хватай сома за хвост.

Дошлая старушка нашептывала разные разностн: «Уж знайте, Панбархутхон все с именем любнмой дщерн пророка Мухаммеда совершает. А почему? А потому, что Фатима — покровительннца роднльинц, н самое святое место Фатимы — мечеть в вырытой пещере на кладбнще Камилаи Дарваза в Ташкенте. И Панбархутхон, женщнна-мулла, в той пещерной мечети по иочам устраивала всякие таииствеиные женские радения с плачем и воплями, с возжиганием огня, с колдовскимн заклннания-

ми самой волшебнице Биби Сешамбе. За то и пришлось Панбархутхон сложить в чемоданы свои вещички и уехать подальше от Ташкента. Святая женщина!» Из нашептываний дошлой старушки Алдар не понял — выслала ли Панбархутхон в Хазарасп милиция или местное правоверное духовенство усмотрело в ее деятельности что-то еретическое. Так или иначе, «святая женщина» обосновалась в Хазараспе.

— Самая подходящая жаба в болоте сплетен,— язвил Алдар.— Очень она полюбилась нашим старушкам. Повадились они к ней. У нас еще много есть из персидок рабынь, от доброго старого исфендиаровского времени осталось. А их пловом не потчуй, подавай разные сказки о Фатиме, о ее сыновьях-мучениках имамах Хасане да Хусейне, о всяких шахсеях-вахсеях. Тьфу, и охота позволять себе голову морочить хитрой бабе. Сколько несут ей, чтоб она брюхо свое жабье наполнила.

В Хазараспе народ дошлый. Адлар сразу разобрал что к чему: «Является ли она женщиной-имамом, мы не знаем. Но что она «нашаванд» — анашистка — ясно».

И подлинно, Панбархутхон иногда вдруг блекла, желтела. Глаза ее безумели. Оттягивала странно шею, точно гусыня. Кашляла до слез. Порой ее находили на задворках базара, сидящей прямо на земле, в пыли-грязи. Вроде пьяной. Но она оправдывалась: «Головокружение у меня». А приятельницам жаловалась на злые «афсун» — чары врагов.

В чайхане кто-то отозвался: «Какая Панбархутхон любезная да красивая! Какая хозяйка! Какой за полгода домишко построила!»

— И у золотой рыбки в животе кишки с дерьмом.— Алдар выражался всегда сильно.

— Но,— оторвался от шахмат Исхакхаджи,— ваша язвительность не к месту. Панбархутхон — странное имя кстати — кичливая особа, но умная, расторопная. Сколько она, почтенная сваха, успела устроить в нашем Хазараспе весьма благопристойных браков!

На старости лет Исхакхаджи любил порисоваться своим авторитетом. В свои приезды в Хазарасп он снисходил к простому народу и заседал вечерами в красной чайхане близ старой крепости. Он вмешивался в любые разговоры, давал категорические оценки событиям, политическим явлениям, людям. К его словам прислушивались. Говорили, что он где-то с кем-то встречается, что где-то кто-то... Не случайно Исхакхаджи вступился за доброе имя Панбархутхон. Неспроста. Ну, Алдар, держись!

Все вытянули шеи и посмотрели в сторону, где сидит зловредный старикан. Старикан сидел себе на краешке помоста и держал в руке свою излюбленную щербатую, склеенную из десятка осколков пиалу. Пил он из этой пиалы-инвалида еще при

хане хивинском. Чайханщик специально берег ее для Исхакхаджи.

Конечно, Алдар сейчас же отозвался. Алдар и при ханских порядках не держал язык проглоченным.

— Не свадьбы она устраивает, а...

Все поразились. Сказано грубо. Но очень метко. Исхакхаджи промолчал. Он думал над ходом. Алдар прибавил:

— Теперь нашим девушкам по росту равных находят, но равных по сердцу не находят. Панбархутхон подходит на животноводческой ферме бараньей свахой служить.

Он допил чай, налил из чайника немножко на самое донышко и продолжал. Теперь его долго не остановишь.

— Некоторые радуются: Панбархут-де мусульманство утверждает, укрепляет, по шариату женит. Разве насильно раскрытая роза даст запах? Некоторые считают,— и он посмотрел на Исхакхаджи, и все сочли его взгляд очень язвительным,— считают некоторые: нечего нам, мусульманам, торопиться с культурой и просвещением, нечего по-человечески жить и любить. Некоторые полагают,— и он опять зыркнул в спину Исхакхаджи,— полагают тут еще разные недобитые блюстители шариата, что народ должен жить в невежестве. Недовольны, что человек распрямил спину, сбросил ярмо молитв. Перестал теперь думать, вроде вола, только о кормежке. Эх, у некоторых, говорящих о свободе, сердца хуже жала скорпиона. Бояться таких людей следует. Не смотреть, что они тихие, незаметные. Если даже твой враг муравей — считай его слоном.

Обдумывание хода кончилось. Исхакхаджи переставил фигуру, потянулся и важно сказал:

— Есть удивительно расторопные на грубость. Им не надо даже поднатужиться, чтобы оплевать доброе имя уважаемой женщины, чтобы наговорить плохого о добрых нравах. Советская власть тем хороша, что не вмешивается в дела верующих... И очень хорошо, что такие, как Панбархут — что за нелепое имя!— блюдут нравы и не позволяют развращенности проникать в среду молодежи. Мы мусульмане, а для мусульманина — конечно, я говорю о семейных делах — всякое нововведение есть противообычие, а всякое противообычие есть заблуждение, которое ведет в огонь адский. Конечно, кто из нас, просвещенных, верит сейчас в ад? Сие есть иносказание, и мы...

Старый ученый запутался. В ханское время он был известен своим безбожием. Подвергался жестоким гонениям. Во всеуслышание восхищался мучениками науки. Сочинил стихи про Джордано Бруно. И вдруг теперь призывает придерживаться исламских норм.

Но Алдар понял его по-своему.

— Э-э, великий безбожник вернулся в лоно ислама,— язвил он.— Из священного писания нам истины преподает. Старо!

Насреддин Афанди говорил: «У кого нет еды, тот пост соблюдает, у кого дел нет, тот намаз читает». Пусть те, кто по молитвам соскучились, идут в домишко Паибархутхон и в ее домашней мечети, извиняюсь, молельне, вместе с толстомордым муллой возносят к престолу аллаха молитвы и обретут путь в рай.

И так как Исхакхаджи обдумывал очередной ход сложной комбинации, Адлар прокукарекал нахально:

— Увы, я не удостоился приглашения в домишко Паибархутхон! Сам в молельне не маливался. Не могли бы вы, наш достопочтенный безбожник Исхакхаджи, ревнитель наук, нам что-либо рассказать про нее?

Пробормотав что-то насчет болтунов и словесного блуда, Исхакхаджи углубился в игру.

С трудом Зуфар оторвал Алдара от зеленого чая, заставил сесть на лошадь. Алдар был нужен ему. И не потому, что он мог рассказать о том, что творится в семье Бахрама-бригадира.

Понадобился Алдар Зуфару в качестве проводника. Он прекрасно знал места, куда направлялась комиссия обкома. И уговорить его вызвался Зуфар, когда отпросился на денек в Хазарасп. Под невинной маской болтуна в Алдаре таился опытный, очень умудреный человек. Жизнь перекрутила, перекорежила когда-то смелого, полного сил и жизнелюбия джигита. В Хивинском ханстве желание жить по-человечески, сохранить человеческое достоинство не вело ни к чему доброму. К революции Алдар пришел полунищим, полудикарем, полуклоуном-маскарабазом, искалеченным физически и морально. Били его в ханских застенках без конца, бросали в клоповник-зиндан, морили голодом, разоряли до нищенской сумы. У него отняли и забрали в ханский гарем двух дочерей, искалечили жену, загубили родного брата. От голода и болезней у него умерли один за другим семеро детей. Алдар сравнивал себя с многострадальным библейским патриархом Иовом. У него не было вздоха, чтобы обменять на стон, до такой нищеты он дошел. Никто не знал его настоящего имени, и когда он вступал в колхоз, его так и записали: Алдар Куса — Безбородый. Бороду ему не то вырвали ханские прислужники, не то выжгли, сунув по личному приказу хана лицом в раскаленные угли. И все потому, что он не хотел примириться с участью дочерей, обреченных прозябать на женской половине Ташхаули и медленно гнить от сифилиса, которым хан Исфендиар оделял своих жен и наложниц.

Желчью был пропитан Алдар Куса, и не следовало на него сердиться, даже если он теперь, сделавшись колхозником, едко всех критиковал и на все брюзжал.

Жил он теперь хорошо и даже зажиточно. В нем обнаружились таланты организатора и прекрасного земледельца. Все спорилось в его руках. Как-то незаметно за шутками, балагурством, вечной воркотней он вырос в колхозного бригадира. Поля

его бригады всегда оказывались возделанными лучше других. По урожаю он скоро перегнал все другие бригады и даже известного и знаменитого опытника Бахрама, который вообще-то считал ниже своего достоинства замечать какого-то там Безбородого.

Но разве Алдар позволит, чтобы его не замечали или им пренебрегали? Он не пропускал ни одного собрания, чтобы не вспомнить «персональное садоводство его светлости бека Бахрамбека»... Пытались обратить его слова в шутку, потому что и бахрамовская бригада никогда не отставала. Но Алдар не переносил спеси и зазнайства.

— У льва из носа выскочил,— говорил Безбородый про Бахрама.

Его лишенное растительности, покрытое белыми шрамами лицо, красные слезящиеся злые глаза, черные редкие зубы, хриплый петушиный смех отталкивали в первое время многих от него. Но Алдар и не искал друзей.

— Верх злокозненности скрывать свои истинные намерения под личиной простоты и добропорядочности,— сказал он внезапно, когда они с Зуфаром неторопливо трусили верхом по пыльной дороге в сторону слепящего солнечного заката.

— Что вы имеете в виду?— спросил несколько встревоженный Зуфар.— Вы говорите о бригадире Бахраме?

— И о бригадире тоже,—по-петушиному закукарекал Алдар.

ГЛАВА IX

Взгляни на духовных отцов, властителей знаний и людских душ. Перья и крылья у них как у орлов, жадность как у свиней.

Насыр Хосров

С некоторых пор Исхакхаджи остыл к своим научным трудам, а наполовину написанная глубокомысленная работа его «О сосудах» просто вызывала в нем отвращение. Он разочаровался в ней.

Роясь в манускриптах шестнадцатого века, дабы извлечь интересные и поучительные примеры, в подтверждение положений о «запретности» чаш, бокалов после употребления вина, он натолкнулся на такое, что ниспровергало все его тезы и антитезы.

Считая, что советская жизнь принесла вместе с небывалой зажиточностью и привольем простому народу распущенность нравов, почтенный ученый пытался в своем труде показать на примере употребления тех или иных сосудов, насколько век мусульманства и правоверия стоял выше века нынешнего.

И внезапно, совершенно неожиданно для себя и для логики, он в исторической рукописи читает:

«При благословенном правителе Надир Мохаммед Хане стоял в Балхе вечный праздник. Пение, музыка, танцы сделались повседневным времяпрепровождением мусульман».

Поистине великолепное свидетельство благоденствия в исламские времена! И что бы историку остановить здесь свой калам. Но, увы! Тут же в рукописи следовала фраза летописца, ломавшая все, решительно все! Черным по белому было начертано: «В Балхе потоком лилось вино».

Попробуй докажи теперь, что сосуды оскверняются вином.

В душевном расстройстве Исхакходжи со вздохом отложил в сторону незаконченную рукопись «О сосудах» и взял с алебастровой полочки давно, еще за границей начатый, но с той поры заброшенный трактат свой «О зданиях храмов».

Самый заголовок придавал трактату несколько несовременный характер. И действительно, в тайниках своего ученого мозга Исхакходжи давно замыслил объявить «шах и мат» высказываниям тех, кто брал на себя смелость восхвалять достижения советской культуры. Достаточно взглянуть на пышность мавзолеев прошлых исламских веков, великолепие зданий медресе, благолепие духовных зданий Самарканда, Бухары, Хивы, чтобы убедиться, насколько мусульманская эпоха превзошла все, что дали в области строительства и архитектуры Советы мусульманам Туркестана.

Конечно, такие «смелые» мысли Исхакходжи приходили в голову, когда он жил за границей. Но он отложил трактат в сторону не потому, что жил теперь на советской земле. Нет, он вынужден был оставить эту работу из-за неожиданностей, которые и здесь подстерегали его по милости капризницы истории. Подбирая образцы творений великих зодчих Балха, Исхакходжи машинально переписал такой, например, абзац из старой рукописи:

«Убежище власти, обнаженный меч войны, тигр правоверия и опора ислама, эмир Абл ол Моминг ане, шейбанид повелел замуровывать ленивых каменщиков живыми в стене строящейся в Балхе соборной мечети. Поныне в кирпичном фундаменте храма аллаха видны людские скелеты. Когда же каменщики возроптали, светоч ислама приказал казнить недовольных. Провинившимся отрывали головы упряжками волов, варили людей живьем в котлах с кипящим маслом, расчесывали людям тела зубьями железной машины».

Сколь ни влюблен был Исхакходжи в свой высоконаучный труд, включать в него подобные примеры, живописующие нравы исламского государства, он заколебался. Строгость, естественно, нужна. И «балхские методы» руководства строительством не представляли ничего из ряда вон выходящего для тех жестоких

времен, особенно, если взять во внимание поведение «черной кости» — каменщиков. Но иметь мнение — это одно, а писать, да еще переехав в Советский Союз,— другое. Даже в научном трактате «О зданиях храмов» надо четко высказать авторское отношение к предмету.

На письменном столе весело горела электрическая под зеленым абажуром лампа. Со своим слабым зрением вряд ли мог Исхакхаджи читать и писать, если бы ему пришлось пользоваться масляным светильником времен Исфендиара. Исхакхаджи почему-то сплюнул и снова водрузил на переносицу соскользнувшие очки. Случайно он взглянул на окно. Хорошее высокое окно с настоящими стеклами, прочными рамами... Высокие потолки, крашеные, покрытые ковром полы, голландские печи. Очень все это не похоже на промозгло-сырую комнатушку — худжру, в которой ему довелось жить и писать до революции. Он слыл первым законоведом Хивы, ученым богословом, придворным поэтом, но хан Исфендиар ни разу не поинтересовался, как он живет и как болят у него кости от сырости в его глинобитной мазанке. Советская власть построила ему, скромному педагогу, благоустроенный дом.

— Тьфу! И еще раз тьфу!

Вероятно, бессонница порождает такие мысли. Нет, он стоял, стоит и будет стоять на своем. Никакими удобствами, столь приятными для бренного тела, не приобретет советская власть в его лице своего почитателя и сочувствующего. Нет, он продолжит свое дело...

С удовольствием он переписывал строки из летописи, хотя голубоватый рассвет уже заглянул в высокое окно.

Он списывал:

«Опора эмиров, вождь славных храбрецов Абдал Азиз Хан, отправляясь в паломничество в Мекку к священному храму Бейт уль Ахрам с тридцатитысячным караваном, находясь уже в пути, выплатил разбойникам — кочевникам бедуинам — двадцать тысяч золотых динаров отступных».

Поистине богаты были правители Матери Городов города Балха, если им ничего не стоило выбросить каким-то разбойничьим племенам такой огромный выкуп. Славны времена ислама!

Но тут калам дрогнул в руке и вся страница, исписанная совершенным насталиком, оказалась безнадежно испорченной. И все потому, что вдруг пришли воспоминания.

Во времена джунаидской разрухи, после падения Хивы, зловредные калтаманы схватили Исхакхаджи и бросили в яму. Они посчитали его, и не без оснований, приближенным хивинского хана. Чего стоили один его шелковый халат и широкий серебряный пояс? Калтаманы разграбили его сундуки, разорили михманхану, таскали Исхакхаджи по пыли за бороду. Конец при-

шел ему. Проклятые разбойники не могли лишь решить, снять ли с него кожу живьем или посадить на кол. И не вытащи из ямы его, Исхакходжи, старый недруг, этот большевой Аюб Мерген с другим рабочим хлопкового завода, неизвестно, чем все бы кончилось. А ведь разбойников давно нет.

Воспоминания и сравнения опять подвели Исхакходжи. Для успокоения он взял красивую медную разукрашенную чеканным узором плевательницу и еще раз сплюнул.

С изумлением Исхакходжи обнаружил, что уже совсем светло. Он распахнул окошко, и в михманхану ворвался свежий воздух и чириканье птиц мирного утра. Он выключил электрическую лампу и присел за письменный столик, чтобы дописать фразу. И снова калам дрогнул в его руке, снова страница оказалась испорченной.

Зазвонил телефон. Да, в михманхане Исхакходжи, учителя-пенсионера, стоял персональный телефон. В Хивинском ханстве телефонов не было. Опять советская власть! Почему Исхакходжи не приказал выбросить аппарат, это свидетельство советской культуры и советской заботы о нем, бывшем ханском чиновнике, о нем, джадиде, ненавистнике советской власти? А они не только установили ему телефон, но еще и сами платят за него.

Он еще раз плюнул, но трубку снял. И сразу у Исхакходжи затряслась рука, а трубка судорожно запрыгала у самого уха.

Свершилось...

Вот почему он писал всю ночь трактат «О зданиях храмов». Вот почему он, неверующий, хотел отогнать от себя мысли благодарности. Вот почему он не мог спать.

Всю ночь он ждал этого телефонного звонка.

Трубка прыгала в немощной руке у самого уха и мешала ему слушать. И все же до него донеслись слова:

— Огонь погасил огонь.

Странные слова прозвучали в телефонной трубке. Но Исхакходжи ждал их. Он ждал всю бессонную ночь этих слов. Гора должна была свалиться с плеч, гора беспокойств, страхов, опасностей.

Слова прозвучали, но вдруг тяжесть, тысячепудовая глыба, легла на Исхакходжи. Он шепотом спросил в трубку:

— Все благополучно?

Но трубка молчала.

Он уронил трубку на рычаг. Телефонный аппарат звякнул, а тысячепудовая тяжесть давила все сильнее.

Исхакходжи не понимал, что с ним. Он должен быть счастлив. Теперь беда ушла. Теперь он счастливый соучастник божественной помощи.

Шатаясь, согбенный, Исхакходжи пробрался к низенькому столику и рухнул рядом на курпачу. Он застонал. Он завопил от ужаса.

Кровь! Кровавое пятно вдруг выступило, выползло на белоснежную страницу трактата «О зданиях храмов» и расплылось по строчкам. Откуда кровь? Со стоном Исхакходжи зажмурился. Он стонал от ужаса. Он боялся взглянуть, чтобы не видеть кровь.

И вдруг сердце у него остановилось.

Звонок. Опять зазвонил телефон — проклятое нововведение большевиков! Пришлось открыть глаза.

Исхакходжи выругался. Никакой крови на бумаге не было. Баночка с красной тушью опрокинулась и разлилась. Он опрокинул неловко баночку. Красной тушью он выводил подзаголовки в рукописи, рисовал орнамент заглавных букв, заставок.

Но тяжесть давила ему сердце. Телефон звонил и звонил. Телефон надрывался. Исхакходжи смотрел на аппарат с ужасом. Он молил бога, чтобы телефон замолчал.

Телефон звонил и звонил.

За окном на соседнем дворе женский голос воскликнул:

— Телефон звонит... у Исхакходжи. Спит он, что ли?

«Надо заставить его замолчать. Замолчать»,— вертелась мысль. Почему-то он считал, что телефонный звонок сулит неприятности, возможно, даже опасность.

Он сполз с курпачи — идти у него не хватало сил,— почти ползком подобравшись к столу, вцепился в трубку:

— Что надо? В чем дело?— забормотал он. И трубка закричала:

— Товарищ Исхакходжаев, вы не спите?

— Что случилось? Кто звонит? Так рано?

— Я центральная... Мне приказали позвонить всем, у кого есть телефон. И потом вы же не спите... Я недавно вас соединяла.

— Что случилось?

— Мне сказали передать всем, чтобы все собрались в доме бригадира Бахрама. Ужасное несчастье. Аизиратхон и ее дочь сгорели. Погибли ужасно!

Телефонистка рыдала. В трубке слышались всхлипывания.

— Сказано, всем идти в дом бригадира. Несчастье. Бригадир арестован.

Старик сполз на пол, не выпуская трубки. Он хватал воздух широко открытым ртом и выкрикивал в ужасе:

— Лев зарослей войны!.. Обнаженный меч! Соучастник божественной помощи!.. Арестован...

Он заметался. На четвереньках подполз к столику и дрожащей рукой надписал на рукописи трактата «О зданиях храмов»: «Отрекаюсь! Отрекаюсь!»

Разорвал лист, залитый красной тушью, и, шатаясь, побрел к выходу.

Старик вдруг вериулся. Тяжело дыша, склоиился над столиком и приписал рядом с заголовком:

«Не я пнсал это. Не я».

Он приплелся к дому брнгаднра, когда у айваиа уже собралась толпа.

Бригаднр Бахрам ие был арестован. Он стоял средн людей с чериым лнцом, с сурово сжатымн губами.

Все молчалн. Невыноснмо страшное случилось.

Из дома иесся жеискнй плач. Жеищниы Хазараспа готовнли все необходнмое к похороиам.

Из дома вышлн прокурор н следователь. Прокурор громко произиес:

— Самосожжеиие! Ужасио. Дикарство!

Прокурор и следователь уехали на легковой машине.

Кто-то в толпе сказал:

— Прнступнм! «Джаиазу» прннесли.

Прислонясь к тополю н ие глядя ии на кого, Исхакхаджи, задыхаясь, бормотал:

— Никакое бедствне не совершается ии иа земле, ин в вас, если оио ие было предопределено в Кииге прежде того, как мы творнм его.

Исхакхаджи ие верил в коран, счнтал его сборищем мистических фантазий больного воображеиия аравнйского кочевннка, так иазываемого пророка Мухаммеда, ио почнтал за долг и обязанность везде и всюду среди простого иарода, «черной кости», так сказать, распространять кораиические священиые истнны, дабы мусульмаиство крепло н утверждалось как снмвол власти и могущества прннципа.

Он ие верил уже давно. В 1918 году, когда состоял в обществе «Каракол» в Стамбуле, ему втолковывалн: «Мы пантюркисты. И иаши действия иаправлеиы протнв нмпериалистов. Но Восток ие ндет за туркамн. Не пойдет. Востоку нужио зиамя ислама. И ты поедешь в Туркестаи с проповедью нслама иа устах, с мыслями о Тураие в сердце. А до твонх религиозиых взглядов иам и дела иет».

«Да, релнгия — для темных людей, иден — для просвещенных. Пусть же аллах и пророк его Мухаммед послужат иашему делу. И особеино в тот час, когда мысли людей ищут утешения в таииственном, когда человек уходит в иеведомое».

Исхакхаджи пошел с похороииой процессней иа кладбище. В пути, шагая по пылн, он вслух прнпомииал благочестивые и подобающие случаю божественные истииы. Ои хорошо зиал священное пнсаиие. Ои был прнмерным слушателем и в Пешаверской академни исламских зиаинй «Днвбенд» н в Канрском духовиом уииверситете Аль Азхаре. «Что ж! Умиые полнтнки, с размахом куда пошире, чем у Исхакхаджн, любят заявлять:

«Вера исламская есть душа истинной культуры Востока — хорошее противопоставление марксизму-ленинизму».

Вспотевший, слабый, дряхлый, с колотящимся сердцем, тащился Исхакхаджи на кладбище. И совсем не потому, что считал необходимым почтить память двух безумных, предавших себя страшной смерти в пламени.

Непреодолимая сила потянула его на народ. Он хотел убедиться, получить подтверждение слов, которые изрыгнула сегодня на рассвете телефонная трубка:

«Огонь погасил огонь».

ГЛАВА X

В одну из ночей, обильных тьмою, когда и собака во мгле не разглядит веревки от шатра...

Ибн Махак ат Тамими

Вечером Исхакхаджи подумал: наступил час решений. Он оставил свою уютную михманхану, свои курпачи, свой чайник с крепко заваренным кок-чаем. Не побоялся, что умрет, если не будет, как обычно, освежать больное горло непрерывно глоток за глотком. Он взял в руку долго стоявший у косяка посох и зашагал по пыльной улице.

Внешне в доме бригадира Бахрама не произошло перемен. Шелестели в вышние листья. Где-то близко кричал бай-оглы, навевая жуть. Огонек свечи только сгущал темноту. Электричество не горело на айване и в комнатах.

На нарах темной массой громоздился безмолвный Бахрам.

Он промолчал в ответ на приветствие Исхакхаджи, встал и скрылся в помещении. Тут же вернулся с большущей дыней. Он не произнес ни слова. Не помянул даже Аизрат. Говорить в доме покойника о покойниках, а тем более о женщинах, не принято.

Как ни в чем не бывало Бахрам хлопотал. Поставил поднос, положил дыню, обрезал тупой конец со стебельком. Всадив с силой, с хрустом в дыню длиннющий нож, он отрезал огромный ломоть, очистил от семечек. Аромат, сладкий, сильный, ударил в нос. Не спеша, с ловкостью Бахрам сделал ножом поперечные надрезы и протянул все так же молча кусок Исхакхаджи. Затем приготовил ломоть себе.

Ели. Громко чавкали губами. Втягивали в себя сок.

Молчал дом. Поблескивали во тьме стекла окон. Шелестели листья. Нежные, печальные глаза Асаль смотрели из темного сада. Озноб охватил Исхакхаджи. Он видел в игре теней такие

знакомые черты лица девушки. Ему сделалось жутко. Он поторопился нарушить молчание.

— И ничто... Кхм... не предшествовало такому поступку?— спросил он сдавленно.

— Не предшествовало ли чего? Спрашиваете вы... Почтительно вытираю пыль с ваших достойных сапог,— витиевато ответил Бахрам.— Пожалуйте: не угодно ли кусочек дыни?

Деревянное лицо его, почти черное, лоснящееся в робких отсветах свечки вдруг задергалось. К изумлению Исхакходжи, кусок дыни бригадир протягивал в сторону. Нахохлившись печальной птицей, на дорожке перед айваном стоял человек. Он подошел тихо, и Исхакходжи испугался его, словно привидения.

— Тауба! Избавь меня...— проблеял он, вздрагивая.— Клянусь, здесь кто-то есть.

— Это только я,— гулким басом проговорил нахохлившийся человек.— Я Аюб Мерген, хотите вы этого или нет, господии Исхакходжи.

На «господина» Исхакходжи не обиделся, но все еще не мог умерить дрожи. Бояр Мерген никогда не ходил в дом бригадира Бахрама. Про него Бахрам один раз сказал: «Мерген и звезду над головой ненавидит». Исхакходжи тоже не любил Мергена и расстроился, увидев его у Бахрама. Он пытался объяснить себе появление беспокойного странника и охотника. А-а! Ходили слухи, что Аюб Мерген сам хотел жениться на Анзират и сватался к ней.

Исхакходжи до того растерялся, что даже не приветствовал Мергена. Хозяин сказал:

— Увы, всю жизнь я все делал именем аллаха и все же прогневил его.

Проговорил он это будто бы равнодушно. Не похоже было, что он в горе. Он досадовал.

— Животное ты,— вспыхнул Мерген и соскочил с айвана. Все это время Бахрам протягивал ему кусок дыни. Пальцы блестели от липкого сока. Предупредительностью бригадир пытался задобрить охотника. Но не сумел.

Упершись руками в край айвана, Мерген придвинулся к Бахраму и выкрикнул:

— Дыню предлагаешь! Дыню жрешь! Усахарить хочешь, усластить! Мертвых усластить, животное!

— Ты что?! Ты что?— залепетал Бахрам.

Смешно и грустно было слышать писклявый лепет такого тучного, здоровенного мужчины.

— Тиранил ее,— прорычал Мерген,— вот и загнал в могилу.

— Поешь дыни,— пробормотал Бахрам. Нелепа и непонятна была его угодливость, да еще старому врагу. Бахрама знали

как человека вспыльчивого, не сносившего обид. А тут он терпит Мергена у себя во дворе.

Исхакхаджи жалобно просил:

— Не сердитесь, бояр Мерген.

Все ближе придвигал Мерген лицо к Бахраму:

— Кто у тебя был позавчера?

— Кто? Никого не было.— Голос у Бахрама ослабел. Кусок дыни выскользнул из пальцев и шлепнулся на палас.

— Лжешь. Кто из песков пришел? У тебя ночевал? Что за люди?

— Какое ваше дело? Знакомые.

— А зачем Аизират с дочкой к прокурору направились? Зачем ты побежал за ними? Увел Аизират, на улице упросил вернуться домой, не отдавать письмо? И где твои гости из Каракумов? Что за гости? Ими как раз НКВД бы заинтересоваться.

Отодвинувшись в тень, Бахрам глухо бормотал:

— Сумасшедший! Совсем сумасшедший. Какие люди? Исхакхаджи, вы мне свидетель! Аллах мне свидетель. Какой прокурор? Какое письмо?

— Асаль в школе подружкам говорила про письмо.

— Она выдумала все. Мало ли что взбредет на ум девчонке.

— Животное! Я говорю, что ты животное.

Аюб Мерген очень волновался. Он не мог больше говорить и ушел. В темноте гулко отдавались его шаги. Дверка калитки с треском захлопнулась.

Робко поглядев в ту сторону, куда ушел беспокойный старик, Исхакхаджи пробормотал:

— Совсем плохо.

Робел он ужасно. Голос у него дрожал.

— Неприятности от него. Неприятно...

— Опасный человек. Непонятный человек. Из белой кости, а такой! И как он смог с большевиками снюхаться?

— Еще тогда с ханом Исфендиаром не сошелся. Исфендиар возьми и скажи: «Народ может спать и без подушки». Аюб плюнул на подножие трона и ушел. Приказал Исфендиар расстелить коврик крови и позвать палача, чтобы отрубить при нем дерзновенному голову. Да не посмел. Народ уж больно любит этого Аюба Мергена. Бояром прозвал.

— Это его зовут Хызром? Пророком Хызром?

— Его. Такой человек очень нам нужен.

— Тсс!

Потомственный представитель «ахли калам»— людей пера — Аюб Мерген жил в Хазараспе, как и все его предки. Он вел в особых тетрадях — дефтерах — записи о паводках на Аму-Дарье, об уровне воды в Палванарыке, о «казу»— всенародных хошарных работах в каналах. Ни он сам, ни отец его, ни дед не

получали от хана жалованья. Но их, очень грамотных людей, при дворе числили чиновниками в звании «мунши» и заставляли переписывать всякие жалованные грамоты и ярлыки. Больно уж почерк у них был хороший. Космографию старик изучал в медресе по Птоломею — с землей в центре мироздания. Но сам, путем вычислений, давно уже убедился, что Коперник прав. Иначе все записи в дефтерах — а их накопилось немало за двести лет — шли на нет. Слепо считая, что Мухаммед последний и совершеннейший из пророков, он и сыну своему доказывал, что мусульмане должны слепо руководствоваться в семейной и государственной жизни священным шариатом. Но болото без лягушек не бывает, а лягушки без болота не бывают. Он ненавидел ханских чиновников за разврат и поборы с народа, презирал духовенство: на тысячу ворон — один камень. Он не сразу понял и принял революцию. Но когда увидел, что многие бывшие сборщики налогов, пристроившиеся в финансовом аппарате Хивинской Народной Республики, присваивают деньги, а часть сплавляют басмачам и калтаманам, отправился сам в ревком с сыном Аюбом и взялся разоблачать хапуг и взяточников. Старый дефтерчи умер, оставив сыну наследственные дефтеры и веру в справедливость.

К несчастью, Аюб унаследовал от отца высокомерие и неуживчивость. Страстный охотник и рыболов, он любил бродить с друзьями по болотам и тугаям до изнеможения, а затем угостить в дальних камышовых зарослях жареной рыбой на деревянном блюде. Не знающий усталости, презирающий лишения исполин с оглушительным голосом, Аюб Мерген вел себя царем пустыни.

Но в колхозе Мерген задыхался от тесноты, не терпел возражений, командовал. Часто ошибался. Справедливые возражения принимал за оскорбление. Стремился причинить вред несогласным с ним и успевал в этом, потому что неоднократно получал в колхозе власть. Мерген унижал всех, кто стоял ниже его. Порой казалось, что его излюбленное дело — отравлять друзьям жизнь. Он оправдывался: «Срежь излишние побеги, и лоза принесет больший урожай».

Став председателем сельхозартели, Аюб Мерген беспощадно повыгонял лентяев, не отличив их от злостных тунеядцев. А когда его обвинили в крайностях, он попросился из председателей на далекую животноводческую ферму.

Одиночество не действовало на него угнетающе. Зимой, когда люди в своих глинобитных домах спят целыми сутками, Мерген уходил из Хазараспа и шагал версты по мерзлым комьям глины. Он бродил по пустынным степям и барханным грядам Хорезма, и его прозвали Хызром, пророком — покровителем странствующих — не за святость, а за скитальческую жизнь. Мерген не имел семьи, и это доставляло немало беспокойства

односельчанам. Высоченный, представительный, он взглядывал на женщин так, что они забывали все и готовы были бросить мужа, семью и уйти к нему в его охотничью хижину где-то в низовьях каналов за Газаватом, за развалинами Змушкыр-калы в тугайных зарослях, среди соленых озер. Злые языки утверждали, что один несчастный муж чуть ли не на коленях упрашивал свою легкомысленную супругу вернуться к домашнему очагу.

Много россказней о нем было. Кто знает, что действительно произошло по вине огненного взора Хызра, а что злоязычники заимствовали из широкоизвестного на Востоке произведения —«Книги о верных и неверных женах» острослова прошлых веков, сочинителя Инаятуллаха Канбу. Те же злые языки пытались связать Аюба Мергена с погибшей столь трагично Анзират.

Именно этим попытался Исхакхаджи объяснить ночное появление Мергена в доме бригадира и его грозные, туманные слова. Старик даже высказал вслух достаточно скабрезные предположения, чем вызвал припадок ярости у собеседника.

— Уходи!— зарычал Бахрам, и на черном лице его страдальчески блестели белки закатившихся глаз.— Не смей! Что бы ни случилось! Что бы ни произошло! Что бы ни было! Она была честной женой! Попробуй еще пустить ядовитую слюну, и я... вот...

— Что вы, старики, раскукарекались?— прозвучал тихий женский голос, и в полосу света, на дорожку, вступила Паинбархутхон.— Вы чего сцепились? Вы кричите так, что сейчас весь хазараспский базар сюда явится. Ну, хватит!

Мужчины прекратили возню, и Исхакхаджи, отдуваясь, вернулся на возвышение. Сердцебиение мешало ему говорить. Он сидел, вытянув шею, и громко глотал широко открытым ртом воздух.

— Чего пришла?— проворчал Бахрам.— Всюду ты, душенька, суешь свой нос.

— Об муку зубы не ломают. Шум, гам. Ее... их... уже нет, а они все судачат, словно тетки у колодца.— Она стояла, уперши руки в толстые бока, и зло смотрела на Бахрама и Исхакхаджи.

— Помалкивай, ведьма! Опять анаши накурилась. Глаза по-кошачьи щуришь, смотришь голодной. Шею, словно гусыня, вытягиваешь. Лопнешь!

— Не балабонь, бригадир. Без меня не обойдешься.

Непонятно, почему Бахрам смолк. Не в его характере было уступать. Исхакхаджи все еще по-рыбьи разевал рот. У него булькало и свистело в груди.

Застонав, Исхакхаджи с трудом пробормотал:

— Ты что-то сказать хотела, Паинбархутхон?

— Завтра приезжает следователь,— задыхаясь, сказала

Панбархутхон. Она не говорила, а вещала.— Из Ташкента. Еще один.

Ни бригадир, ни Исхакхаджи не проронили ни слова. Новость их поразила чрезвычайно.

— Эх, цена человека!— пробормотал Исхакхаджи.— Оторопь вас возьми!

— Кто тебе сказал?

— Кто надо... А добился, знаете, кто? Баламут Зуфар добился. Узнал про все в Ургенче и поднял шум. У молодца жженые мысли. Потушить бы! Да тряпки вы, а не мужчины. Злопыхатели по мелочам. Зуфар рыпается и пусть сам отдувается. Слушайте же: рыжую геологичку из пустыни привез? Привез. Где он ее нашел? Что с ней делал? Кто знает. Разве так поступают, когда невеста есть.

— Какая невеста?— насторожился Бахрам.

— Асаль.

— Не трепи в грязи имя покойницы,— проскрипел Исхакхаджи.— Асаль погибла безвинно.

— Покойнице безразлично, а она тебя... вас выручит. Скажем, девчонка любила его... Зуфара. Он обещал. Обманул. Старая история. Безвинная Асаль написала письмо и...

— Но письма не было,— наконец смог выдавить из своей астматической груди Исхакхаджи.— Следователь потребует письмо, а письма нет.

— Письмо,— сказала с торжеством Панбархутхон,— вот оно!

Она повертела письмо перед самым огоньком свечи и спрятала за пазуху.

— Где ты взяла письмо?— закричал Бахрам.

— Взяла там, где взяла.

— Не пяль глаза! Пойми, у секретаря в прокуратуре другое письмо. Про любовь там ни слова. Зато про твоих гостей есть. И про Исхакхаджи. И о чем вы разговаривали за дастарханом со вчерашними... гостями. Все есть. Ты не пустил Асаль к прокурору, а она все же сумела письмо отдать комсомолу. Не бледней! Не трясись! Со мной не пропадешь. С такими пальчиками не пропадешь. Такие культурные пальчики чье угодно письмо напишут.

Она поднесла ладонь к лицу и поцеловала себе пальцы. При слабом пламени свечи, конечно, трудно было заметить бледность на лице почти черного бригадира, но Панбархутхон заметила. Бригадир был перепуган.

— А в этом письме слезы Лейли. Неблагодарность Меджнуна. Девичьи угрозы расстаться с жизнью. Позор, павший на голову матери. Проклятия злой светловолосой разлучнице — русской... Теперь гордецу Зуфару не поздоровится.

— Откуда, гадина, ты все это взяла?— сдавленным голосом спросил Бахрам.

Ничуть не задетая, Паибархутхои проговорила:

— Письмо будет у прокурора. В случае чего подтвердите про Лейли и Меджнуна. А твою «гадину»— экий у тебя грязный язык — до времени спрячу в сундук.

После ее ухода мужчины долго молчали. Исхакхаджи, наконец, встал.

— Что делает он?

— Спит.

— И он может спать?

— Собрал все одеяла в доме, сложил их горой, лег и спит.

— Где же он?

Они прошли с айвана в михманхану, а через нее и еще одну комнату в небольшую каморку. Там на высокой груде курпачей с удобством растянулся Хамидходжа. Он спал и даже не шевельнулся, когда лучик света от свечки вырвал его круглые щеки и круглую бородку из темноты.

— Спит...— с досадой сказал тихо Исхакхаджи.— Пусть спит. Не будите его.

Он вышел. Бахрам брел за ним. Вдруг Исхакхаджи остановился и яростно прошипел:

— А с вами, Бахрам, я не намерен работать... Я отниму святое благословение у вас.

— Но...

— Вы, Бахрам, бросаете с крыши медный подиос. Вы колотите в большой барабан, трубите в карнай. Завтра к вам весь базар прибежит. Чего сюда пускаете эту шлюху? Что, вам советы ее понадобились?

— Вы? Вы?

— А по-вашему, я сплю и жду, когда петля затянется? Вы верблюды, полезшие в мышиную норку. Дьявол надоумил вас одеть Муслима Турсунбаева в одежды тайны. Он трус и наговорил девушке всякой чепухи. Вел себя так, что и слепой увидел бы в нем заговорщика. Зачем было его вести в дом? Что? Разве вы не могли бы поговорить с ним в чайхане или просто на базаре? А гримасы, которые корчит Муслим, кого угодно напугают. И вот теперь погибли существа ни в чем не повинные. Кровь падет на ваши головы. Столько усилий, столько хитроумных замыслов пропало! Такое дело поломалось.

— Где он?— продолжал Исхакхаджи.— Где Муслим?

— У вашего брата в Ходжейли. Сидит на кладбище Мазлум хан Слу...

— Все я! Зачем вы втягиваете моего брата? Муслим попадется, и мы пропали... Муслим слабый человек, очень слабый. А вы не ноите. Муслима я беру на себя. И духу его не будет здесь.

— Боже мой! А не лучше мне, Бахраму... э... так сказать... тоже уехать?

— Чтобы все сразу сказали: вот кто истинный виновннк их смерти.

Бахрам застонал. Исхакхаджн посмотрел на него:

— Что-то вы мне ие нравитесь, Бахрам!

— Онн самн! Онн сами! Испугалнсь н...сами...

— Ладно... Сидите в своей норе... Кайтесь за свой дурной нрав. Помалкивайте. Прндется нсподволь начннать все сиачала. Наше правнло: сорвалось дело — затнхин...

Он махнул рукой. Жест его означал: я утомлен, моя мнлость хочет покоя.

— Позвольте спросить,— проговорил все еще с дрожью в голосе Бахрам.

— Спрашивайте!

— А когда вы?.. Э... Когда?

— Прндет человек н скажет... А что скажет, вндно будет.

Бахрам н Исхакжаджи вышлн из каморкн. Исхакхаджн на айване сказал:

— Не могу спать. Пойду писать трактат «О сосудах». Успокаивает, наводит сон...

Он помялся в ожидании, не скажет лн что-ннбудь Бахрам.

Бахрам бессильио сидел на краю айвана. Светнльинк горел крошечным огоньком и чадил. Шуршала зловеще лнства. Исхакхаджн поспешил уйтн.

Бахрам тихо стоиал...

ГЛАВА XI

> Имя Волк нарекла ему родная мать в день его рождения. Если же глянуть на иего, ои хуже шакальей сучки.
>
> *Мир Мухаммед Амин Бухари*

Исхакхаджи полагал, что сейчас самое время потрудиться на пользу благочестия. Сочинял ои труд «О сосудах» не потому, что перепробовал содержнмое самых разнообразиых сосудов и в Средней Азии, и в Европе, н даже в Африке и знавал толк иапитков любой крепостн н вкуса. Быть иеверующим и в то же время отстанвать догмы нслама он почитал своим долгом.

Мысль о трактате прншла ему в голову в тенн колоннады Бейт ул Ахрам — Большой мечетн в священной Мекке, когда он совершал последиее паломинчество. Он только что расстался с нужным человеком, передавшнм ему некнй документ. Из него явствовало, что гражданину Исхакхаджн разрешается по его ходатайству возвратнться в Советскнй Союз. Документ обязывал его быть лояльным. К тому же обязывала н благодарность. Ну а

ненависть! Открыто проявлять ее он не мог и не смел. И Исхакхаджи считал, что мысль сочинить трактат — поистине остроумная находка. Бойся святого хаджи, топчущего тропинку в Мекку, но еще больше бойся хаджи, лижущего чернила.

Кто поймет сочиняемый им трактат «О сосудах»? Зато польза делу, которому он посвятил свою жизнь. Он писал о запретных для пользования сосудах из золота, «ибо они — сосуды рая», о запретных кожаных сосудах, «ибо они изготовляются из шкур нечистых животных»... Исхакхаджи писал еще о сосудах из-под вина, которые разрешены, если они глазурованные; о мехах, если они просмолены; о сосудах из дерева и глины; о сосудах, которые лизала собака или крыса. Он писал о том, что сосуд, оскверненный плевком, надлежит протереть песком и сполоснуть в проточной воде семь раз. И, выводя каламом: «кто пьет из сосуда серебряного или золотого, тот вливает себе в желудок огонь геенны», он с удовлетворением думал, что сумел насолить большевикам.

Если бы он знал, что труд его попадет в руки этнографам и будет признан интересным, как содержащий новые факты, он, наверно, не брался бы за перо. Трактат Исхакхаджи «О сосудах» даже цитируют. Но панисламистам он не понадобился. Экземпляр рукописи, переправленный за границу с огромным трудом и ухищрениями, так и не был оценен по достоинству. Запутанная схоластика труда Исхакхаджи совершенно затемнила политику, и никто ничего не понял...

Над Хазараспом стояла душная ночь. Исхакхаджи писал. Но писалось плохо. Голова раскалывалась от мыслей об Анизрат, об Асаль, чья гибель не давала старику покоя.

Он старался отвлечься и вызывал в воображении возбуждающее острое слово «Ехидна». Так Исхакхаджи называл Панбархутхон. Сколько приятных воспоминаний связано с пройдошистой особой. Исхакхаджи вернулся из-за границы одряхлевшим, больным, беспомощным. Но в нем жили страсти и пороки молодого. Скромная, почти нищенская одежда покрывала его немалые достатки. Ему ничто не мешало швыряться деньгами. И Ехидна Панбархутхон быстро раскусила похотливого старичка.

Настоящего имени Панбархутхон в Хазараспе не знали.

Она имела два лица. Когда-то в Ташкенте она училась на акушерских курсах и теперь пользовалась известностью опытной повитухи. В этом облике ее любили, уважали и даже обращались к ней не иначе, как «Покча»— Душечка. В домах советских работников она славила советскую медицину. Хотя Покча тряслась над копейкой, она никогда не позволяла себе лишнего. Она даже прослыла бессребреницей.

Душечкой она вела себя и в семьях со старым укладом жизни. Тут она, приступая к делу, причитала: «Повитуха — почетная профессия. Праматерь Ева была первой акушеркой. Она помогала в родах своим дочерям». Панбархутхон требовала, чтобы ее

называли почтительно Биби-Хаким — госпожа доктор. Лечила дорогими таинственными снадобьями. Растворяла золото, мышьяк, драгоценные камни, но нашептывала, что сорок снадобий ничто в сравнении с сорока изречениями из корана. Она никогда не попадалась, хотя из-за экзотических средств, вроде отвара сассапарели, вызывающего кровавый понос, у нее погибали роженицы.

В суеверных семьях она не стеснялась брать и даже вымогать. Дорого, очень дорого платили ей за молитвы на бумажке, за ядовитый сок сассапарели.

Душечке очень подходило имя — Панбархутхон. Платья она шила себе из панбархата, халаты из панбархата, одеяла из панбархата, гардины из панбархата. Она меняла в день шесть-семь платьев, и все из панбархата. Года через два после приезда в Хазарасп Панбархутхон построила себе, по ее выражению, скромненький «домишко». Он прятался за глинобитным крепостным дувалом, и мало кто знал, что в домишке семь комнат. Первая из них играла роль домашней молельни. Здесь в дни, когда на Панбархутхон снисходил благочестивый стих, свой домашний имам — рыжий бородач — читал вслух коран. В трех других очень вместительных михманханах посетители домишка могли отдохнуть, попить чайку, побеседовать с гостеприимной хозяйкой. Здесь, правда, мало говорили о жизни и погоде, а гораздо чаще о денежных суммах и процентах. Панбархутхон давала деньги в рост и заслужила у своих клиентов неблагозвучное прозвище Ехидна. В обширной столовой Ехидна вновь перевоплощалась в Душечку, когда угощала друзей. Ее манты и лагман славились. На обедах и ужинах Душечки изредка показывался и муж ее, скромный, невзрачный экспедитор ургенчского хлопкового завода с брезентовым портфелем. А в молельне хозяйничал верзила-имам. Его помнили еще сартарошем — уличным парикмахером. На базаре он брил, стриг, дергал зубы, пускал кровь, ставил пиявки на виски и затылок, вытягивал ришту. Из бродячих лекарей Панбархутхон определила его в духовники при своей особе. Необычная власть его над душами людей не раз привлекала к нему внимание советских органов. Говорили про него разное. Однажды он на базаре потребовал, правда с молитвой, лошадь у первого попавшегося. И всадник безропотно спешился и вручил ему поводья. У колхозников имам выклянчивал деньги. Совесть свою съел, честь проглотил. В милиции его уличили в шарлатанстве. Панбархутхон перепугалась. В спокойную, тихую жизнь повитухи, наследницы праматери Евы, вторглись элементы несколько мистического характера. Ей это было ни к чему. Немедленно лошадь вернули. Скандал с деньгами замяли. Но в народ просочились фантастические слухи о каких-то «эйшу эшрат» или «эйшу нуш», устраивавшихся в ее домишке. Вполне естест-

венно! Зависть! По мнению Панбархутхон, все ей завидовали. Она водилась с очень уважаемыми людьми: с районными работниками, с заместителем председателя облисполкома, с директором ургенчского базара.

Разговоры об «эйшу ишрат» и «эйшу иуш» Панбархутхон объясняла по-своему. «Хорезмцы в душе развращенный народ»,— бесцеремонно сообщала вертлявая Душечка. Хорезмцы легко, слишком легко смотрят на отношения между мужчинами и женщинами. Вина падает на хивинских ханов, больших развратников. Во времена ханства девочек в возрасте восьми-девяти лет доставляли во дворец Ташхаули. Там девочки купались в большом водоеме, а хан высматривал тех, кто покрасивее, и приказывал отводить в свои покои. Когда малолетняя наложница надоедала, хан выдавал ее замуж за одного из своих приближенных или приказывал обучать танцам и пению. Где уж там говорить о строгости нравов! Панбархутхон злословила по поводу того, что хивинцы не считают зазорным передавать на время свою жену другу и просто гостю. А клеветники, болтающие об «эйшу ишрат» или «эйшу иуш» в ее благоприличном доме,— плесень здешнего общества. Пусть они откусят себе языки.

Но кумушки Хазараспа не спешили откусывать себе языки. Если такой уж у Панбархутхон благопристойный дом, то почему в иные дни поздно вечером привозят в него женщин под паранджой и чачваном? И почему после этого по утрам на рассвете здоровый верзила, в котором нетрудно узнать имама из молельни Панбархутхон, на ишак-арбе везет себе неторопливо в приемный пункт «Утильсырье» бутылки, сотни бутылок? Значит, разговоры об «эйшу иуш» отнюдь не пустые разговоры. «Эйш»— наслаждение. «Иуш»— питие. Конечно, в доме Панбархутхон собирались не для молитв под благочестивым наставничеством толсторожего имама. Злой его взгляд пугал. Никто не решался спрашивать: откуда столько бутылок.

Кто бывал у Панбархутхон, хазараспцы установить в точности не могли. Гости приезжали в темноте. Автомашины и коляски залетали во двор. Ворота захлопывались. Пешочком приходил не торопясь Исхакходжи, постукивая своим пророческим посохом и тряся козлиной бородкой. Захаживал в домишко в дни «эйшу ишрат» и «эйшу иуш» Бахрам.

В то ужасное утро, когда нечеловеческие вопли разбудили Хазарасп и дым поднялся над дувалом усадьбы бригадира, все видели, что Бахрам бежал по улице, ведшей от дома Панбархутхон. Бежал он, запахиваясь халатом, испуганный, расстроенный. Многие видели тогда бригадира, и многие сочувствовали ему потом. Такая беда! Такое злополучное несчастье!

Трактат «О сосудах» лежал перед Исхакходжи. Перо, старинный камышовой калам, прыгало в руке. Не писалось. Чтобы писать столь серьезные философские сочинения, необходимо

спокойствие души и благочестивое настроенне. А Исхакхаджи мучили мысли. Он упорно думал о бригаднре Бахраме н Паибархутхон.

Исхакхаджи вышел на улицу. Далеко над домом Душеньки-Ехидиы поднималось зарево, доносилнсь звуки тамбура, пенне. Глубокая иочь, а у Ехидиы веселье. Недаром говорят про «эйшу ишрат» и «эйшу иуш». Люди правы. Только почему оиа не пригласила сегодия его — Исхакхаджи? Проклятая. Сказала, что сегодня иеуместно. А как бы хорошо отвлечься от зловещих мыслей, посидеть в обществе... гм-гм... Исхакхаджи даже сглотнул слюну и от души пожалел самого себя. Брнгаднр иаверияка там. Железиые иервы у бригадира.

ГЛАВА XII

Он не спит от яростн иа тебя. Да и какой сон у пылающего местью?

Усама ибн Мункыз

Бригадир Бахрам растерянно метался по громадиому айвану своего дома. Ннкуда он не пошел. И совсем иервы у иего были ие железные. Из темноты сада на него гляделн нскаженные болью глаза Асаль. Тысячи пар глаз в мерцаиии ночиой лнствы. Ноздри его ощущали запах горелого. Горло его своднло спазмой. О, она еще была жива! Она корчилась в муках иа полу. Страшна смерть от огня. Бахрам сжимал виски ладоиямн. Ему мутнло душу. Ои стоиал.

Нет, иервы у него самые обычиые, самые слабые. Подлая Панбархутхои. Сильиая баба. Ей все инпочем. И отсюда слышио: в ее домишке музыка, жеиский смех. А-а! Смех! Жеищины могут ие только смеяться, но н кричать. Ужасио, тоскливо кричать, томительио.

А у иее веселятся. Весь Хазарасп, весь город притих, все подавлеиы, все ужасиулнсь. Одна подлая баба веселится...

Зажав уши, бригаднр бежал по дороге. Он бежал к кладбищу, где сегодия утром похороннлн погнбшнх...

В иочиой тиши далеко разиосятся звуки. Из дома Паибархутхон все также слышался пьяиый смех... Далеко-далеко гудел на Аму-Дарье теплоход...

Со стороиы кладбнща резко, четко доиесся звук копыт.

Всадиик торопнл коия. Бояр Мергеи ие спал и хорошо слышал звук копыт. Ои потряс за плечо Алдара Кусу, спавшего на постлаииых горкой одеялах тут же в михманхаие, н окликнул:

— Послушай!

— Конь-то Зуфаров, не иначе он,— сказал Алдар.

— Точно Зуфаров конь. Необъезженный конь. Горячит коня Зуфар. Плохо дело бригадира.

— Пойти нам надо. Кровь у Зуфара молодая, кипяток!

— Пойдем.

— Как бы он сгоряча чего не сделал.

— Месть голову туманит. Он может всяких бед натворить.

Присвистнув, Алдар заметил:

— Злоба — улыбка шайтана.

Вообще Алдар любил к месту и не к месту поминать шайтана.

— Пойдем скорее.

В одном белье, накинув на плечи халаты, оба старика торопливо зашагали по улице, проклиная горячность молодости. Алдар бормотал:

— Кошму валяют для блох, ковер ткут для моли, амбар строится для ос.

И молодость и горячность были в полной мере свойственны Зуфару. Он скакал на своем необъезженном коне к дому бригадира.

А бригадир Бахрам плелся по пыльной дороге к кладбищу. Гигантская тень шагала неотвязно рядом. Бахрам вздрагивал каждый раз, когда нечаянно взглядывал на свою черную уродливую тень, будто видел ее впервые в жизни. Тень шевелилась, грозила. Тень жила. Бахрам не знал, что взошла ущербная луна и отбрасывала от всего зловещие тени. Бахраму при взгляде на свою тень хотелось рыдать, вопить, выть, как рыдали, вопили, выли женщины в огне прежде, чем умереть. Он хотел смерти. Он брел, опустив свои большущие отяжелевшие руки. Он стонал и не слышал стука копыт. Всадник ехал навстречу по кладбищенской дороге. Луна ярко осветила и его и молодого гарцевавшего от избытка сил коня. Но бригадир не видел ни коня, ни всадника. Он видел только безумные глаза Асаль.

— Стой!— крикнул всадник голосом Зуфара.

Бахрам остановился. Он не испугался, хотя меньше всего ему следовало встречаться сегодня с Зуфаром.

— Погляди на меня,— тихо проговорил Зуфар.

Свет луны упал на лицо Бахрама. Темное, почти черное, с яркими белыми белками глаз и черными провалами зрачков.

— Послушай меня. Есть объяснение,— глухо пробормотал Бахрам.

— Когда идешь на виселицу, все одно — черная тюбетейка, зеленая ли.

Зуфар хлестнул камчой прямо по глазам. Бригадир упал в пыль.

— Убийца!— прохрипел Зуфар и поскакал в Хазарасп.

Мерген и Алдар опоздали. Бахрам лежал на дороге. Из-под

головы его на белой пыли растекалось черное пятно. Друзья оттащили Бахрама к арыку и промыли ему лицо, шрам, рассекший кожу на скулах.

— Говорил я: «Плохо дело Бахрама»,— заговорил Алдар.

— Это я сказал,— возразил Мерген,— я сказал, что он наделает глупостей. Куда он уехал?— спросил он Бахрама. У того вырвалось мычание вместо слов.

Лицо его представляло черную маску. Багрово в луче луны пузырилась кровь.

Алдар покачал головой:

— Иншалла! Теперь он убивает Панбархутхон.

— Э, хоть собака разжирела, но из нее не делают каурму. Он не убьет ее. Он умный. Зачем ему из-за шлюхи губить себя. Нет, не станет убивать.

— Даже если узнает про сплетни?

— Даже! Он уже слышал грязные слова этой дряни.

— Если...— пробормотал Мерген. Он смотрел на Хазарасп. Домики, плоские крыши, листва деревьев серебрились в сиянии луны.— Столько свету — и грязь,— добавил он задумчиво.— Кровь — и грязь. Свет — и смерть. Ужасная смерть молодых существ.

Он смотрел и думал вслух.

— Конечно, слышал. От таких слов вонь до Аральского моря сразу доходит. Шлюха на улице кричит: «Асаль сожгла себя из-за любви. Зуфар виноват. Зуфар — убийца». Даром, что ли, Панбархутхон прозвали «ниш» — жало.

Со стоном Бахрам шевельнулся и опять замычал невнятно.

— Пусть лежит. Не подохнет,— сказал Мерген,— а мы пойдем скорее. Может, успеем.

— Ввязался в драку. Не успеем. Раскалил себя. Не зальешь.

— Ничего. Неустрашимый не умрет своей смертью.

Тем не менее они ушли.

Алдар прихрамывал и громко ворчал:

— Хоть бы на ишака скопить. Да вот все рубля не хватает.

...Очевидно, Панбархутхон меньше всего ждала Зуфара.

Она удобно сидела на стопке одеял у настольной лампы и отбивала костяшки на деревянных счетах. Верзила-имам тщательно пересчитывал кредитки: «...пять...шесть...семь...десять... двадцать». Крупные купюры он смотрел на свет и почему-то обнюхивал.

Из соседней михманханы несся смех и визг. Панбархутхон невозмутимо щелкала на счетах. За дверью кто-то громко и фальшиво запел, тренькая на дутаре. Дом шумел.

Оторвавшись от счетов, Панбархутхон сказала верзиле:

— Поедешь на крытой арбе в Турткуль. Там выступает группа «уин» Сарымсака. Есть танцовщицы, конфетки. Мертвый порох вспыхнет. Когда Лютфи бедрами вертит, все слюни пускают.

— А где их искать? На базаре, что ли, спрашивать?

— Не лезь на дерево ловить рыбу. Весь Турткуль знает. Отец разговоров — ухо! А пойдешь ты в Облискусство. Дашь заказ на три тысячи рублей.

— Дорого.

— Деньги мои. А здесь я втрое возьму. Мы эту Лютфи голенькой выпустим. Безо всего. Ее деньгами засыпят, червонцами забросают. Раскапывать придется.

Она хихикнула:

— Нашу кашгарскую все видели, все пробовали. Новая нужна.

— Конечно, без баб какой «эшрат нуш». Какую лошадь запрячь?

Пайбархутхон не успела ответить. В молельню вломился Зуфар. Весь дом взорвался шумом, гамом. Пайбархут истерично визжала: верзила пополз с воем в нишу, напяливая на голову одеяло. Через комнату вихрем промчалась женщина, все одеяние которой состояло из бус и серег. Двери с треском захлопывались. Вой и крик издавали мечущиеся по комнатам люди с багровыми физиономиями. Потянуло гарью. Звенела разбитая посуда. Вбежал тучный тип и выпалил из пистолета в расписной потолок.

— Не смей!— визжала Пайбархутхон.— Ты будешь отвечать за меня, начальник...

Она единственная не растерялась, схватила тяжелые счеты и кинулась на Зуфара, лупившего встречных и поперечных камчой. Гнев слаще меда. Лишь теперь Зуфар нашел хозяйку, выбил у нее из рук счеты, сгреб одной рукой жесткие длинные косы, швырнул женщину лицом на подушки и принялся размеренно, в полную силу отвешивать ей удары нагайкой.

— Не болтай! Не болтай!

— Не смей!

— Ничего, по нитке на небо не залезешь.

На него кидались. Его оттаскивали, но он невозмутимо наотмашь лупил по пухлой спине, бедрам Пайбархутхон.

Зуфар больше ничего не говорил. Да его слова потонули бы в том шуме, которым наполнился «пристойный, благочинный» домишко.

Тут завопили десятки женщин Хазараспа, выбежавшие на крыши. Неизвестно, что они подумали. Во всяком случае они-то знали, что за оргии происходили в доме Пайбархутхон. Возможно, что они и не разобрали сначала, в чем дело, вообразили, что в Хазарасп вторглись из пустыни Каракум калтаманы недоброй памяти Джунаида. Или просто какие-то шалые воры решили поискать, нет ли чем поживиться у богатой повитухи. Во всяком случае в причитаниях и воплях женщин незаметно было никакого сочувствия.

Соседки злорадствовали. Ведн осла н грузн скандал. Они набились и в молельню, н в трн расписные михманханы, и в растерзанный, усеянный битой посудой банкетный зал с дастарханом, залитым водкой. Они ворвались в спальню н другие комнаты, где застали каких-то полуодетых мужчин н накрашенных, подвыпивших девиц в растерзанных одеждах.

Подоспевший милиционер сконфуженно тут же на залитых вином ястуках составлял протокол. Панбархутхон выла от боли и вопила: «Все Зуфар!» Но милиция уже не интересовалась Зуфаром, которого очень своевременно увели Мерген н Алдар. Милиционеры с удивлением н немалым расстройством записывали в протокол имена ответственных работников областного, республиканского масштабов, довольно-таки известных хорезмских певцов, певших на «эшрат нуш» чуть ли не целую неделю. Среди растерзанных девиц оказались балерины н артистки театра. Но о многих Панбархутхон могла сказать лишь, что это ее племянницы. И усатый начальник районного отдела милиции удивлялся:

— Целых девять племянниц у такой тетушки.

Свидетели н свидетельницы толпились в доме Панбархутхон до утра. Пожилые тетки чмокали губами, покачивали головами: «Э, вот они — наши почтенные. Поистине скотина всякую траву жрет».

В ту ночь многое стало понятно.

Единственное, что хотел сделать Зуфар, это наказать Панбархут за клевету и сплетню. Да, собственно говоря, никаких расчетов он в голове и не держал. Он действовал под влиянием порыва.

То, что он раскрыл настоящий притон, едва помогло бы ему уклониться от ответственности за самоуправство. Правда, Бахрам предпочел молчать, не пожелал поднимать дело. Но Панбархутхон выла н стонала, что засудит разбойника Зуфара. Она не боялась поднять скандал. Плевать она хотела, что ей самой грозят неприятности. Ехидна нагло тыкала в нос имена своих покровителей. Волчица разве глотала бы целиком кости, если бы не знала своей глотки?

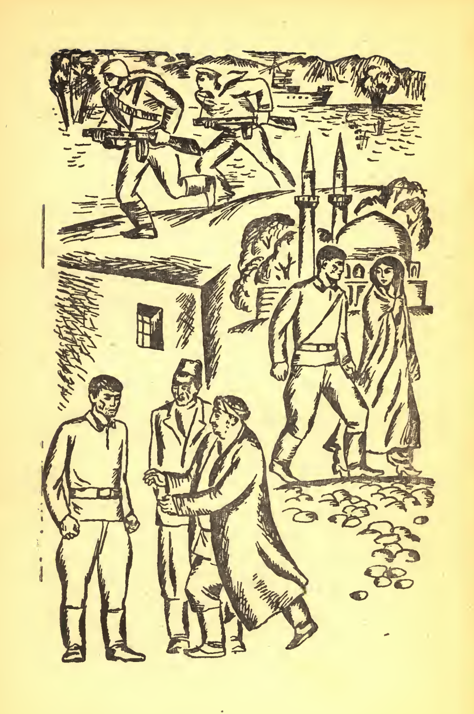
Но в районном исполкоме все возмутились. Как в таком благоустроенном уважаемом городе, как Хазарасп, могло произойти подобное? Выходит, что вместе с пшеницей поливают и сорняки. Рано утром дело Панбархутхон решили передать в суд.

Но все повернулось иначе.

Ночь, перебудоражившая Хазарасп, была ночью с субботы на воскресенье 22 июня 1941 года.

В 12 часов дня Зуфар подал заявление с просьбой отправить его немедленно в действующую армию. А вечером Оля Паратова провожала его на пристани в Ургенче.

II ПРОДАВЦЫ ДЫМА



ГЛАВА I.

> Я смеюсь над своей судьбой. Ничего я не брал у нее взаймы, а она все время платит мне за добро злом.
>
> *Мара бен Сарапион*

Черное море совсем не черное. Оно светлое и прозрачно-выпуклое в затишье. Черное море яростное и угрожающе синее в бурю. Оно одинаково беспощадно к терпящим бедствие — и к друзьям и к врагам.

Тихо, безмолвно оно уничтожает в мертвый штиль человека, оказавшегося далеко от берега. Но сначала изведет, замучит, запытает жаждой, солью, слепящим солнцем. Бешено задушит, задавит волной в шторм, потопит, отправит холодной лапой на дно.

Ум, сметка здесь, среди водной пустыни, ничто, когда земля вышвырнула человека в море, забыла о нем.

Многое, казалось, благоприятствовало капитану Зуфару и майору Прокофьеву. Их не нашли пули на мысе Херсонес, когда их группа отступала с боем к берегу, к прибрежным скалам. Они прошли через последний бой, отделавшись царапинами. Им сопутствовало счастье там, где тысячи и тысячи погибли.

Они до последней минуты обороняли Севастополь. В реве орудий, среди рвущихся снарядов, под вой пикирующих бомбардировщиков нет времени думать, но Зуфар успевал думать и даже испытывать нечто вроде гордости, что он уцелел и сражается. Он непрерывно стрелял из автомата и, когда патроны кончились, собирал оружие убитых и опять стрелял.

Держался Зуфар вместе с майором Прокофьевым и моряком дядей Сашей. Они встретились в бою случайно, но под ужасающим огнем противника сумели собрать уцелевших бойцов разных частей и дать отпор. Не одна атака фашистов захлебнулась.

Они смеялись, они хохотали, когда немцы откатывались и показывали тыл. Выкрикивали шуточки им вдогонку, хотя, конечно, в вое и реве не было возможности разобрать слова.

— А ты боевой!— раз крикнул Зуфару майор.— Вон какой ты стал! Я тебя сразу и не узнал. На Аму-Дарье с тобой встречались.

Гитлеровцы опять начали атаку...

Наших воинов осталось трое. Они спустились к скалам, связали ремиями, снятыми с убитых, плот и отплыли от берега.

Земля пощадила Зуфара, Прокофьева и дядю Сашу, а вот приветливое, покрытое нежными, несильными волнами море их пожирало. Вот уже сколько суток оно мучило их, изматывало, медленно умерщвляло. Море показало им свое прекрасное лицо, но лицо чудовища. В древнем мифе Медуза-горгона была не просто прекрасна, но чудовищна своей красотой. Взглянув на нее, человек превращался в камень. Майор Прокофьев все время что-то говорил, что-то рассказывал. Прокофьев не хотел сходить с ума и не хотел, чтобы сошли с ума его товарищи. Прокофьев верил, что чудовище выпустит их из своих соленых сухих лап. Вода в Черном море соленая, и не чувствуешь, что она мокрая. От соли она сухая, от нее сохнет кожа, язык, нёбо, трескаются и болят губы.

— Хорошо, что болят,— говорит Прокофьев,— пока где-то болит — тело не умирает.

На что надеялся майор? Он говорил Зуфару, что война не кончилась, что отчаяние — удел труса, что они еще повоюют.

— Раз нас пощадили пули, осколки, фугасы, штыки — значит мы нужны. Раз человек в огне не сгорел, в воде не потонул — значит жизнь его не исчерпана.

Дядя Саша разражался бранью. Он крыл гитлеровцев, «соленую лужу», которой он именовал Черное море, самого себя, поддавшегося уговорам «сухопутных крыс», то есть Прокофьева и Зуфара, лезть в волны и спасаться.

— Сберечь надо было патроны — и «амба». А теперь что? Ежели нас выловит дохлая гитлеровская субмарина, нам хана. Все одно измордуют, жилы вытянут, в печке сожгут.

Дядя Саша хрипло лаял — смеяться он уже не мог,— когда Прокофьев сказал, что человек должен бороться, что жизнь — драгоценный дар.

— Утопите, товарищ майор, свой дар в соленом супчике,— хрипел он.— Взяли ворону за хвост и положили на мост, чтобы сохла.

Он, моряк, хуже всех переносил лишения. И считал: моряк не обязан уметь плавать. Плавают «разными брассами» гражданские штафирки. Он — боцман старой школы: «В Черном море мы белых офицеров топили, а теперь меня топить вздумали». Но так он говорил в первые дни их скитаний по свинцовой глади, а потом уж ничего и не говорил, а лишь хрипел. Посеревшее от соли его лицо застыло угрюмой маской. Прокофьев попрекнул даже дядю Сашу в малодушии, но нечаянно выяснилось, что моряку тяжело от раны.

Он никому не говорил, что пуля задела ему бок, когда они уже пробирались через прибой. Друзья хотели осмотреть рану,

помочь, но дядя Саша послал их очень далеко н заявил: «Все одио не поможете...»

Дело плохо: если оии, здоровые, крепкне, с таким трудом переиосят лишения,— что можио сказать о дяде Саше.

А ои смотрел иа их положеиие трезво:

— На дождь ие надейтесь. Сволочиой штиль тут в самой лоханке по месяцам стоит. Течения, окромя как к туркам, здесь иет. Подыхаем, братцы.

Он приваливался щекой к шершавой солеиой доске, закидывал руку иа другое ухо и делал вид, что засыпал, а майор и Зуфар слезящимися от резн глазами вглядывались в сизую ослепительиую гладь. Оии уже ие мечтали о парусе, о дыме парохода, а жаждали хоть облачка, которое сулило бы им дождь, ветер.

Зуфар ие боялся смерти. Могло показаться, что он впал в апатию, перестал помнить о битве. Небольшая раика иа левой ступие садиила, иарывала, ио ои в своем отупеиии почти ие замечал боли.

Перед иим из свиицовой мари возиикали плоскне крыши кишлака, пыль, серебристой вуалью затяиувшая тополя, плоский кладбищеиский холм с могилами — желтыми глииистыми бугорками холмиков среди зелеии яитака. Он опять стоял под священиым с полуиссохшей хвоей деревом саур и следил с сердечиой болью за кетмеищиками, засыпавшими желтой амударьииской глииой могилы...

Кругом раскииулось море, такое похожее в своей серости иа пустыииые равиииы его степей. Во рту ои ощущал горечь соли, такой же солеиой и горькой, как в воде колодцев Каракумов. В иебе жгло такое же лохматое от иестерпимых лучей солице. И жажда мучила так же. А он все думал об Аизират и нежиой девочке Асаль.

И сиова сердце ныло. И сиова из-под кетмеией сыпались, шурша, словио морская пеиа, желтые комья земли в ямы могил, и все толще и толще стаиовилась земляиая иасыпь между иим и любимыми.

И все же ои виииовиик нх гибели. Как он мог проглядеть иитриги Панбархутхои и своры кишлачиых сплетииц.

Ои слишком сух. Трагедия у колодца Ляйли, когда калтамаиы растерзали зверски его мечту, ожесточила его.

Десять лет перед его глазами стояли полиые страдаиия глаза, и десять лет Зуфар не может забыть их. И ои виноват. Его вина в том, что он из-за тех глаз отгородился от мира, от родных, от близких. А жизнь шла. Он сам позволил себе сделаться слишком суровым. Не заметил, что суровость, ожесточение перешли в черствость, когда ои захлопнул двери личиой жизни для чувств. Ои потерял всякий интерес к своей мириой работе

речного штурмана. И вдруг оживился, загорелся, когда перед ним открылась возможность службы в Красной Армии. Он нашел здесь себя, нашел выход своему ожесточению в войне, а ему довелось воевать и на границе, и на Халхинголе, и на Финском фронте.

Зуфар перебил майора Прокофьева, что-то хрипевшего о человеческой выносливости, и воскликнул:

— А ведь это так!

Удивленно майор замолк и даже резко повернул голову. Зуфар за эти дни не сказал и десятка слов.

— Одержимые местью!— продолжал Зуфар.— Есть же одержимые местью.

И он рассказал про калтаманов пустыни, про Джунаида, про любовь своей юности Лизу и ее гибель, про то, как он стал одержим местью. Он рассказал Прокофьеву и дяде Саше о жизни молодого наивного степняка, в которую вторглись злоба, подлость, коварство. Он рассказывал, хоть говорить было трудно, про сестру Аизрат и юную Асаль. Он рассказывал, вырывая из себя каждое слово. И все представлялось ему самому в новом свете: и свеженабросанные холмики могил, и поступки бригадира Бахрама, и слова Исхакхаджи, и клевета Панбархут-хон, и муки сердца...

Серое теплое море тихо шипело и переливалось; отраженные лучи солнца впивались в глаза, в мозг; горло сжигала соль до судорог, а Зуфар рассказывал.

На удивление, майор Прокофьев не перебивал. Он молчал долго и после того, как Зуфар закончил свой рассказ.

— Вот и все,— сконфуженно сказал Зуфар.

Дядя Саша приподнялся на локте и простонал:

— Ну и гады! Мало их мы в Черном море топили.

И тяжело опустился на доски, так что зыбкий плот заплескался, заходил ходуном.

Наконец заговорил майор Прокофьев:

— Значит, мстишь? Правильно. А я не ошибся — я еще в Севастополе тебя узнал. Не мог только вспомнить, где мы встречались. Помнишь Аму-Дарью, пароход? Мы, пограничники, еще одну гражданку за границу переправляли. Ну тогда ты совсем молодой был.

— Вы? Вы?

— Не помнишь?

И вдруг Зуфар вспомнил Аму-Дарью, мчащийся по желтым водам пограничный катер, печальную красавицу Настю-ханум, старого капитана и Петра Кузьмича — коменданта погранзаставы. Петр Кузьмич первый тогда встретил Зуфара, когда тот бежал через пустыню из Персии. Тени пустыни встали чередой в его памяти. Петр Кузьмич тогда сразу разобрался во всем, помог Зуфару очиститься от необоснованных обвинений,

вернуться на работу штурмана в речное пароходство. Потом пути Петра Кузьмича и Зуфара разошлись.

— Молодец ты, Зуфар, честное слово. Вон из тебя какой боевой командир образовался... Ну что ж, повспоминали, поговорили, а теперь давай делом займемся.

В юности Зуфару приходилось с отцом плавать по Аралу. Он набрался опыта у каракалпакских и узбекских рыбаков. Им ничего не стоило носиться по волнам этого небольшого, но сердитого моря по неделе на утлых своих лодчонках, а порой и на плотах из камышовых снопов. И дело не в какой-то особой выносливости, якобы позволявшей обходиться неделями без пресной воды и пищи. Просто многовековое полуголодное существование в пустыне сделало народ выносливым, что теперь и пригодилось Зуфару. Он не делал различия между Черным морем и Аралом. И то и другое — море. Мальчишкой он не раз видел, как седобородые ургинские балыкши выходят победителями из состязания со стихией, цепляются за самые невероятные и в то же время удивительно простые способы выбраться из беды.

Дядя Саша объявил Зуфара «примитивным моряком». По морям сам матрос плавал, как он выразился, на «железных посудинах» рангом не ниже эскадренного миноносца, в кораблекрушения не попадал.

Майор Прокофьев очень любил рыбалку всех видов и родов, но в море не тонул «ни индивидуально, ни в обществе». Он все еще шутил. Смутно представлял, что терпящие бедствие спасаются от жажды, собирая дождевую воду в растянутый парус. Но дождь упорно не шел. Да и паруса не было. Майор не без юмора прошелся на счет Айвазовского, изображавшего всегда штормовое море и тяжелые, обильные дождем тучи. Прокофьев вытащил из кармана сушившихся на доске брюк маленький сверточек и сказал Зуфару:

— А вот вспомнил, вы рыбак с Арала. Вам и крючки в руки.

Если Зуфар мог, он обрадовался бы. Но он был в состоянии лишь удивиться.

— Крючки? Откуда?

— Сунул в карман в день ухода на фронт. Наверное, думал, что на фронте рыбалка...

Однако Зуфар сейчас же принялся за дело, даже не упрекнув майора. Он мог бы упрекнуть его. Уже прошло четыре дня с тех пор, как их перестали обстреливать нет-нет и появлявшиеся в белесом безжалостном небе самолеты со свастикой на крыльях. Едва ли фашистские летчики могли заметить, что на плоту есть люди, но они не отказывали себе в удовольствии выпустить очередь по зыбкой мишени.

Зуфар и Петр Кузьмич из щепок и гимнастерки сделали на всякий случай приемник для дождевой воды. Кузьмич смасте-

рил даже самодельный фильтр, который хоть и давал пресноватую воду, но гомеопатическими дозами, позволявшими только смачивать губы и язык. Это поддерживало силы.

Крючки да еще с лесками — целое сокровище. Скоро на плоту трепыхалась кефаль. Зуфар сделал надрез на ее спинке и протянул дяде Саше:

— Соси!

— Это что же...— чуть слышно простонал моряк, но Зуфар бесцеремонно начал выдавливать кровь прямо ему в полуоткрытый рот.

Моряк сглотнул раз, другой. Взял рыбку и слабыми руками сам надавил ее. Потом сказал:

— Выдумщик!

Прокофьев похвалил:

— С тобой и впрямь не пропадешь.

Он расфилософствовался:

— Видали муравья в ручье. Уже совсем готов. Лапки скрючены. Пропал труженик. И вдруг выплеснуло его на солнечный песочек. Лучи греют, греют, сушат, а что там сушить — все хитинные оболочки раскисли. Через полчаса усик затрепетал, другой, а там ножка задергалась. Головой бедолага завертел. Вскочил на все свои шесть лапок, завертелся, определяя координаты, и... помчался по делам. Сила жизни! А мы, цари природы, хуже, что ли, дохленькой букашки? Нет, даешь жизнь!

Жизнь майор любил и в любви к жизни утвердился еще в далекие жестокие годы Каховки, Бухары, Перекопа и сибирских походов.

Потом прошел всю войну в Испании. Под Гвадалахарой командовал бригадой. Именовался сеньором Прокофио. «Ходить бы мне в генералах,— посмеивался он растрескавшимися губами из-под седых от соли усов,— да не сошлись со «стариком». Кого он имел в виду, Зуфар догадывался.

Когда Прокофьев вернулся в Советский Союз, ему пришлось уйти в запас. В сорок первом его просьбу пойти в Московское ополчение «уважили», но присвоили звание лишь майора, да и то не сразу. Но он не обиделся: «На обиженных воду возят».

— Мы одержимы местью!— говорил он Зуфару.— Ты одержим, и я одержим. Ты начал мстить с того, что какой-то Овез Гельды зверски убил твою мальчишескую любовь. Я начал с того, что пошел бить буржуев и интервентов. А сейчас мы мстим за угнетенных во всемирном масштабе. Одержимы идейной местью, священной местью. Классовый враг, он вот у нас где сидит.— И он показывал на горло.

Зуфар, конечно, пошел воевать с фашизмом не потому, что мстил за кого-то из близких.

Спорить и не стоило. Да и когда тут спорить. Все помыслы они направили на то, чтобы выбраться из «соляной лоханки».

Дядя Саша совсем занемог. Он терял сознание и бредил. Ужасно ощущение, что ты ничем не можешь помочь человеку.

По своим часам подводника, приобретенным где-то не то в Мадриде, не то в Барселоне, выдержавшим соленое купание, и по солнцу майор установил примерное направление, куда им надо плыть. По его расчетам, они «болтались» где-то в юго-восточном углу Черного моря, поблизости от порта Трабезон. Прокофьев после гражданки служил в погранполосе Гагры — Сухуми и заверил Зуфара:

— Есть течение, очень симпатичное. Его пользовали диверсанты и контрабандисты. Нырнут с корабля в море километрах в семидесяти от берега и спокойно вывернутся на пляж Пицунды. Мы их, голубчиков, всегда там поджидали.

Майор из обломков доски смастерил подобие весел и теперь вместе с Зуфаром пытался «влезть» в «диверсантское» течение.

— У тебя вон какая мускулатура. Тебе через океан только грести.

Майор греб плохо. Его мучили приступы болезненной рвоты. Сказывался возраст, ранения еще гражданской войны. Но бодрость и злая шутливость не оставляли его. Зуфар рад был, что им в несчастье достался неутомимый и в шутках и в бодрости товарищ. Жадный на все новое, интересное, многое видевший, много читавший майор успевал расспрашивать. Он проявил большой интерес к трагедии в Хазараспе. В своих странствованиях по Туркестану и Афганистану Прокофьев слышал о самосожжении женщин. За тысячелетний период ислама среди женщин сохранились следы верований огнепоклонников — зороастрийцев. Огонь у них всеочищающ. Муканна, пророк Согда, потерпев поражение от исламских завоевателей арабов, ушел в пламя гигантского костра, оставив по себе неистребимое воспоминание у людей. Бесстрашно сжигая себя, отчаявшаяся женщина хотела ошеломить мусульманских фанатиков. Майор Прокофьев служил в Самаркандской области в двадцатые годы и обнаружил в Каттакургане женскую тайную религиозную общину, которая, сохраняя облик мусульманский, придерживалась обрядов огнепоклонников: с принесением жертв огню, с тайными огненными мистериями. Даже гимны в честь огня удалось Прокофьеву записать со слов атун, главы общины. Местное мусульманское духовенство не преследовало тайную секту.

Майор объяснял это очень просто:

— У мусульман женщин в мечеть не допускают. Имамам и муллам было безразлично, чем там занимаются они на своих сборищах.

Живость суждений майора, любознательность, прекрасная память, знание Востока делали его незаменимым. Дядя Саша даже выразился:

— Если бы не твои байки, товарищ майор, давно отдал бы

концы — плюнул бы, и головой в соленую купель. Больно здоров рассказывать.

Моряку сделалось хуже. Он дошел до крайнего истощения. Чувство неловкости не оставляло Зуфара. Он стыдился своего здоровья, своей выносливости. Легче своих товарищей переносил Зуфар лишения и боль в ноге.

Майор Прокофьев уговаривал:

— Доплывем до Кавказа. Отдохнем на курортике. Подлечимся. Наберемся сил.

Прокофьев всячески бодрился и хотел подбодрить своих товарищей. Он даже пытался петь: «Исчезла всюду земля, и лишь небо, с волнами слиянное, зрелось».

— Не то из «Одиссеи», не то из «Илиады». Ну, а музыкальное оформление мое... не обессудьте!

Хотя они уже плыли несколько дней к Кавказскому берегу, моряк только стонал:

— Нет... Не туда.

Он уверял, что забирать надо севернее, но не мог даже приподнять голову.

— Поглядел бы я, сразу сказал бы, куда плывем...

И все же дядя Саша первый увидел огин.

Стояла темная штилевая ночь, и стон разбудил Зуфара и майора. Моряк почти кричал. Он ликовал:

— Огни на траверсе! Берег!

Они тоже увидели огни, но радоваться боялись.

— Гагра, что ли? — неуверенно сказал майор.

— Гагра затемнена. Все там затемнено, — пробормотал дядя Саша.

— Что же это?

— Трабезон.

Слово это убило. Значит, плот их пригнало в Турцию. Они слышали прибой Анатолийского берега. Не спали до утра. Плот их сильно качало. Дул резкий штормистый ветер, и в ночной тьме гремел совсем неподалеку прибой. Шел холодный освежающий дождь. С жадностью они ловили ртом капли. Наслаждались сладкой дождевой водой. Голос дяди Саши прозвучал в темноте:

— Напился-таки. Теперь и помирать не жалко.

Живая пресная вода дала Прокофьеву и Зуфару силы все оставшиеся часы ночи грести от берега. Они надеялись отогнать плот в море и потом уже, разглядев берег, решить, что делать дальше. Поняли, что физически они измотаны вконец и долго протянуть не смогут. Под утро заснули.

Смутная матовая волна света омывала их лица, когда они почти разом раскрыли глаза. Гудел ревун парохода. Высоко в небе сияли розовые снега на вершинах гор. Серо-зеленые бока хребтов выползали из предутреннего фиолетового сумрака. Плот

мотало крепчающей волной, и клочья пены падали прямо на лица.

Рядом, совсем близко, человек свершал поклоны утренней молитвы. Он не смотрел на плот.

Сначала Зуфар поразился, как может человек сидеть на воде. Лишь приподнявшись, понял, в чем дело. Плот плыл рядом с каменным молом, а богомолец отбивал молитвенные поклоны на мокрых грубо отесанных камнях. Зуфар понял, что он турок и, судя по мундиру, стражник или таможенник. Поражало, что он мог взирать равнодушно, как волны несут на утлом плоту изможденных в лохмотьях людей, выплывших из самой пучины Черного моря. Турок, очевидно, был религиозный, строго соблюдавший правила намаза. Ислам позволяет верующему отвлекаться от молитвы лишь в крайности. Зуфар вспомнил даже, что намаз можно прервать лишь в случае землетрясения или побега должника.

Ветер трепал полы мундира турка, хлестал в лицо дождем, а лоб касался камней, и губы шевелились, очевидно, повторяя молитву.

Толчок сотряс плот. Волна накатилась на друзей, и снова от удара затрещали доски.

— Держись!— воскликнул Прокофьев и перепрыгнул на мол. В мгновение он подхватил дядю Сашу под мышки, и вместе с Зуфаром они втащили дядю Сашу на камни. Они не смогли сразу подняться на ноги. Они лежали, блаженно ощущая всем телом твердую землю, и тупо взирали на узкую улочку, ведшую среди небольших каменных домов круто в гору, снежная вершина которой пряталась в низко наползшей туче.

— Зуфар!— проговорил майор.— А место-то известное — Трабезон.

Зуфар встал и сейчас стоял, покачиваясь. Вид у него был решительный, хотя офицерская форма висела на нем клочьями. Лохмы волос жестоко рвал ветер, а ступня ныла нестерпимо. Каким-то неуловимым движением он одернул гимнастерку и подтянулся.

— Держись, Зуфар,— сказал Прокофьев,— теперь нам достанется, а тебе особенно... держись, брат. И помни: про меня не болтай...

— Он идет сюда,— тихо сказал Зуфар.

— Начинается,— проворчал майор.

А таможенник холодно и безразлично взирал на них. Он предусмотрительно передвинул на живот кобуру с револьвером.

Шум и рев волн стояли в ушах. Прибой делался все яростней, и временами потоки воды обрушивались на мол и обдавали брызгами стоявших на нем людей.

Турок жестом показал на лежащего дядю Сашу и мотнул головой в сторону берега.

— Что ж тут мокнуть?— прокричал сквозь грохот Прокофьев. Зуфар и Петр Кузьмич осторожно подняли стонущего дядю Сашу и понесли его, спотыкаясь и скользя, по камням мола.

Солнце вырвалось снопом лучей из-за далеких гор на востоке.

— Из-за советских гор,— пробормотал майор Прокофьев.

— Что вы сказали?— встрепенулся Зуфар.

— Не дотянули. Теперь замотают нас.

Дядя Саша простонал:

— Трабезон, говорил я. Он самый. Знобит, братцы.

— Не разговаривать!— крикнул за их спиной турок.— Вы арестованы.

Тогда Зуфар допустил промах. Он резко сказал по-узбекски:

— Какой ты мусульманин? Люди с людьми так не поступают. Ты не видишь, что с нами?

— Э, да ты турок,— удивился чиновник,— турок большевик.

— Не говори пустых слов,— рассердился майор.— Видишь, человек у нас тут еле дышит. Ему нужна чашечка кофе. Ему нужна чистая вода. Ему нужен доктор.

Таможенник замолчал.

С трудом волоча ноги по булыжной скользкой мостовой, Зуфар и Кузьмич несли дядю Сашу по крутому подъему. Они сами еле держались на ногах под резкими порывами ветра с гор. Они совсем ослабели.

Положив моряка на крыльцо дома с вывеской, они сами бессильно опустились на ступеньки. Все вертелось перед глазами: море, каменный мол, белый чистенький пароход.

Какие-то люди в форме толпились около них.

— Уставились быки на красное,— задыхаясь, бормотал Прокофьев,— а еще у нас с турками договор...

ГЛАВА II

В ловле мышей — кошка тигр, в битве с собакой — кошка мышь.

Джувейни

— Встать!

— Шагать!

— Не разговаривать!

— Смирно!

Строжайший режим. Темная одиночка. Бурда по утрам, именуемая кофе. Позеленевшие сухари. Вонь параши. Затируха в обед. Многочасовые допросы. Ежеминутные окрики: «Скотина! Предатель! Ренегат! Шпион! Большевистская собака!»

И все же он ждал, что будет хуже. Он вспоминал слова майора.

Зуфар требовал, чтобы дали знать о нем в советское посольство. Просил бумагу, перо, чернила. Хотел написать письма. С ним даже не разговаривали.

В конце третьей недели заключения Зуфар попал в карцер. Утром после кофе дверь камеры открылась и надзиратель гаркнул:

— Посетители!

Вошли двое одетых в штатское. Сказать, чтоб Зуфар был ошеломлен, мало. В одном из посетителей он узнал старого своего знакомца Тюлегена по прозвищу Поэт. Десять лет назад уличенный в контрабандном вывозе золота и каракуля хазараспский шашлычник Тюлеген Поэт попался на Аму-Дарье пограничникам. Говорят, его судили, сослали.

Теперь он стоял перед Зуфаром, все такой же цветущий, дебелый, самодовольный, хитро жмурящийся сытый кот.

— Братец мой, Зуфар!— кинулся он вперед, распахнув объятия.— Земляк мой! Что они с тобой сделали? Ты на себя не похож. Говорил я тебе — не путайся с большевиками. О брат мой!

Он картинно закатил свои коровьи глаза.

Вне себя от изумления Зуфар пятился к стене. Но места оставалось мало. Тюлеген Поэт и его спутник, пожилой мумиеобразный субъект, заполнили всю крохотную одиночку.

От шумных вскриков и воплей Тюлегена Поэта в ней стало совсем тесно. Он ужасно радовался встрече со старым дружком своим Зуфаром. И все порывался обнять его. Он лез с поцелуями и умилялся, вспоминая Хорезм, Хазарасп, шашлычную, пароходы, Аму-Дарью, доброе старое время. В бессвязной речи Тюлегена Поэта фантастично сплетались случаи десятилетней давности, какие-то приключения за границей, анекдоты из турецкой жизни, причем ни одного анекдота он толком не знал. Говорил он невнятно и скороговоркой, и когда, наконец, вспомнил про своего спутника, назвав его великим государственным деятелем и чуть ли не президентом Центрально-азиатской Тюркской республики, Зуфар отнес это за счет фантазии Тюлегена. Никакой Центрально-азиатской республики не было. Не могло быть и президента несуществующей республики. Но все же, пока Тюлеген Поэт продолжал фантазировать, Зуфар приглядывался к «президенту». Очень худой человек с седоватой бухарской бородкой стоял, опустив с полным безразличием глаза и не пытаясь принять участие в разговоре. Видимо, он пришел не по своей воле и ему ужасно хотелось уйти.

Заметив вскользь, что в Турции рай для всех тюрок мусульман, Тюлеген Поэт принялся описывать какие-то очень дальние события, связанные с Дюшанбе и авантюрой Энвера-паши в Вос-

точной Бухаре. Он упомянул про государственную мудрость Председателя ЦИК Бухарской Народной Республики Усмана Ходжаева, который счел за благо вместе с начальником Бухарской милиции, бывшим турецким военнопленным офицером Али Риза перейти на сторону армии ислама. Дескать, Усман Ходжаев поступил правильно, ибо с тех пор он живет в славе и почете. Он — турецкий бей, уважаемый человек, у него золотыми червонцами вымощен двор.

Тут только до Зуфара дошло, что второй посетитель и есть, очевидно, сам Усман Ходжаев.

— Мы нашли прибежище и приют в благословенной стране. Турция — наша новая родина,— захлебывался Тюлеген Поэт,— когда Ибрагим-бек, ангел-мститель, истребил большевиков в Гиссаре и разорил Дюшанбе, оставляя после себя развалины домов, он протянул свою руку... и господин Усман Ходжаев предложил дружбу и мир Ибрагиму... чтобы истребить проклятых джадидов...

— Вы все путаете, Тюлеген. Я сам был тогда джадидом,— тихим голосом протянул Усман Ходжаев,— дикарь Ибрагимбек, кровавый мясник; опустошил Гиссар, Сары Ассию, Денау, насиловал девушек, содрал кожу с просвещенных учителей, обезлюдил плодородные долины, оставил после себя голодных собак и одичалых кошек. Ибрагим — враг народа... И совсем не потому я переселился за границу... Не в этом суть... Я не мог смотреть, как люди черной кости топчут достоинство людей знати и богатства, а большевики потакают черни... Но позвольте...— Он отстранил Тюлегена Поэта и сказал доверительно: — Господин Зуфар, у нас есть предложение.

Говорил он пустым голосом. Видимо, ему претил сам разговор.

— Если вы хотите...— насторожился Зуфар.

— В том-то и дело, что мы,— Усман Ходжаев тоскливо взглянул из-под морщинистых век на Тюлегена,— сами ничего не хотим. Нам поручили поговорить... люди, представители... Тюрки сплачивают мусульман под эгидой матери Турции, мы все тюрки к востоку от Волги, к востоку от Каспия. Вы тюрок. И ваш путь с тюрками, с нами. К тому же у вас, друг мой, нет выбора...

Он оглядел каморку, шаткие нары, парашу. Брезгливо перекосил губы:

— Очень неудачное место для разговора.

— Ужасно, ужасно... У нас, в цивилизованной Турции,— и такое... подобное жилище...— замолол Тюлеген.— Решай, дорогой. Вступи в Турецко-мусульманскую лигу. И все! Будешь получать денег во! Квартиру дадут. Женщину дадут. Во!

— Да хватит вам,— протянул Усман Ходжаев.— Наше предложение... то есть предложение, которое мы... Оно исходит

от одного посольства... Скажем, от посольства рейха... Германского рейха... И без всякого перехода закричал сипло:— В небе аллах, на земле Гитлер! Пойми же: Гитлер — это Тимур нашей эпохи, Чингисхан...

Кровь бросилась Зуфару в голову, но он смолчал. Он приказал себе молчать.

Усман Ходжаев сник. Тем же пустым, безжизненным голосом он объяснил, будто и не обращая больше внимания на Зуфара:

— Истина в том, что Советский Союз потерпел поражение. Уничтожение России — подвиг Гитлера, равный которому может совершить великий пророк раз в столетие. Разгром полный. Гитлер в Кремле. Ленинград стерт с лица земли. Как счастливы мы, мусульмане! Немцы поклялись убить половину всех русских. Советской власти конец... Мусульмане Туркестана — не большевики. Не любят большевиков, ненавидят. Творение русских — большевизм — несовместимо с исламом, а мусульман фашисты привлекли к добровольному сотрудничеству с державами оси...

— Поучения осла — навоз в стойле,— вставил Зуфар. Он не выдержал. От бессвязной речи этого равнодушного, еле выговаривающего слова одряхлевшего человека Зуфара тошнило.

— Не дерзи, он почтенный человек,— зашипел Тюлеген.

— Чужие плевки собирать не желаю!

Зуфар сжимал и разжимал кулаки. Усман Ходжаев все так же равнодушно продолжал:

— Какой вы горячий! У вас, вижу, чистая совесть теленка. Здорово вас разагитировали. Кричите на меня напрасно. Мне-то что пользы. Больной я, старый. Мне бы вернуться на родину. Мне не нужно должностей. Посидеть в чайхане. Посмотреть на новую демократию. А ты молодой, здоровый. Немцы ищут таких. Им нужны подходящие тюрки из областей, куда они сейчас вступят. Вы подходите. Какой вам расчет держаться за большевиков? Вы офицер, вы военный. Вы найдете язык с немцами, общий путь, так сказать.

— Уходите,— тихо сказал Зуфар.

— От одного кусочка сахара чашка чая делается сладкой,— хихикнул Тюлеген Поэт,— напялишь форму какого-нибудь штурмфюрера и забудешь о своем партийном билете. Твои дружки, этот майор и моряк, уже немецкий шоколад жрут...

Он не закончил. Оттолкнув Усмана Ходжаева, Зуфар влепил оплеуху Тюлегену Поэту. Шашлычник повалился на пол, закрывая лицо руками и воя:

— Убивают! Убивают!

Мгновенно открылась дверь и в камеру вскочил надзиратель.

Тем же пустым голосом Усман Ходжаев проговорил:

— Ничего. Маленькое недоразумение. Эффектно поступили. А вы напрасно, напрасно...

Он выпроводил Тюлегена и в дверях обернулся:

— Довольно глупо ведете себя. А предложение великодушное. Но... дело ваше.

Он ушел, а Зуфара посадили в карцер.

Понятно, Зуфара не оставят в покое. Его подержат в одиночке, дождутся, когда он окончательно обессилит, а затем снова за него примутся. Сколько придется сидеть? Наверно, долго. Понадобилось ему лезть в драку. Но встреча с Тюлегеном Поэтом ошеломила. Выжил все-таки. Нашел лазейку. Теперь гадит. Как быстро превратился в турка! Паразит!

Но раздумывать Зуфару не дали. Не просидел он в карцере и двух часов — за ним пришли.

ГЛАВА III

Смотри, ты наслаждаешься ароматом розы, у которой каждое утро по новому соловью.

Саади

Соленого и горького, приятного и сладкого набросает ему в чашу жизнь.

Самарканди

Зуфар пытался действовать.

Прежде всего он потребовал адрес советского посольства. Начальник тюрьмы, приятный на вид эффенди с оливковым лицом, удивился: зачем ему в такое время русское посольство. Господин офицер должен,— иншалла! (благодарение аллаху) — радоваться, что его продержали в карцере всего два часа и теперь выпускают из тюрьмы на все четыре стороны. А он еще спрашивает о большевистском посольстве!

Изобразив на своей благодушной оливковой физиономии многозначительную гримасу, эффенди пришлепнул толстенькой, с короткими пальцами ладошкой по истрепанному, облупленному бювару времен султана Абдул Гамида и басовито проворковал:

— Молодой господин, послушайся нашего добрейшего, доброжелательнейшего совета. Ты большевик, но тебя выпустили из тюрьмы. Это для тебя хорошо. Но это нехорошо для Турецкого государства. Если бы спросили совета у меня, я бы не выпускал, характер у вас больно горячий. Но, в том то и дело, тебя, мой молодой господин — иншалла!— могут запросто запрятать ко мне в тюрьму. И это плохо для тебя, но хорошо для Турецкого государства. Пойми же меня, мой молодой господин! Ты в Турец-

ком государстве, а Турция самым решительным образом заинтересована, чтобы большевики России потерпели поражение, чтобы большевикам был конец. В Турецкой республике своих большевиков приспособили к полезному делу — заставили камни выламывать на каменоломнях. Конечно, большевики хотели бы по улицам гулять, агитацией своих большевистских взглядов заниматься, иншалла! Правительство решило: лучше пусть камни на каменоломнях выламывают.

Посмаковав свою остроту, оливковый эффенди густо хохотнул и, привстав, погладил Зуфара по плечу.

— Иди, любезный, живи. На турецкой земле живи, да зайди в контору к жандарму... А о посольстве советском и не заикайся.

В жандармском отделении сухо, но любезно разъяснили:

— Жить на частной квартире. Получать ежемесячно денежное довольствие. Ежедневно являться на регистрацию.

Зуфар и здесь спросил адрес советского посольства. Жандарм посмотрел на потолок:

— Нет у нас в канцелярии такого адреса. Советское посольство в Анкаре, а наш город называется Полатлы.

— Но тогда я напишу в Анкару советскому послу.

— А зачем? Вы интернированы — и все.

— Но это противоречит нормам... международным нормам...

— Нормы? Нормы существуют для государств. А советское государство — пшик! Простите, я занят.

— Мое право написать, послать телеграмму, доехать, дойти, докричаться... Предупреждаю, я извещу посольство.

— Вы имеете в виду советское посольство?

— Какое же еще?

— Вот если бы другое... именно другое... — почти мечтательно протянул жандарм. В советском посольстве не до вас. Извините, я занят. «Тратить слова на глупого — забивать гвозди в песок».

Однако положение Зуфара нельзя было назвать совсем скверным. Из тюрьмы его выпустили. Ему предоставили свободу жить в бедном, запущенном городишке Полатлы. Турецкая республика платила за нанятую для него не слишком удобную, но чисто выбеленную комнатку. На паек, выдаваемый ему жандармерией, Зуфар мог купить у торговца готовым платьем сносный костюм и белье. Он питался в лучшей полатлинской «ашеви» — обжорке — вполне прилично. Он купил бумагу, чернила, конверты, послал письмо в Анкару в советское посольство. Отдельно Зуфар написал о моряке дяде Саше, о его ранении, пожалел, что даже не знает его фамилии. Через посольство написал майору Прокофьеву и просил сообщить о себе.

Зуфар не ограничился письмами. Он пошел на телеграф и послал телеграмму в Анкару. Выжидательно он смотрел на те-

леграфистку, рыженькую, молоденькую, почти девочку. Он хотел проверить. Он следил за кончиком пера, подчеркивающего слова. Вот сейчас перо дрогнет и... Он ждал возражений, отказа принять телеграмму.

Но Рыженькая подсчитала слова, назвала сумму, пересчитала деньги, выписала квитанцию...

Лишь тогда она подняла глаза на Зуфара. В ее взгляде Зуфар прочитал внезапное оживление, даже удивление. Пожалуй, то же следовало сказать и о Зуфаре.

Они с минуту разглядывали друг друга с нескрываемым интересом. Кого-то она ему напоминала. И эти совиные глаза, и все лицо.

И сейчас что-то давнишнее всплыло в памяти Зуфара, что-то связанное с... Удивительно. При виде турчанки Зуфар вспомнил свой Хорезм. И не светловолосую, сероглазую девушку, с которой так нежно прощался на речной пристани... Нет, совсем другое время, другое... Но что? Нет, воспоминание ускользало от него.

Просунув голову в окошечко, Зуфар тихо спросил:

— Когда телеграмма дойдет?

Взмахнув насурмлениыми длинными ресницами, Рыженькая громким официальным тоном объявила:

— Через три часа телеграмму вручат адресату.

Но круглые, совсем совиные, если бы не черный цвет, глаза ее говорили совсем другое: «Такой симпатичный, такой представительный, такой умный и... ничего не понимает». Она улыбнулась своими пухлыми губами с откровенным призывом и сухо воскликнула:

— Следующий!

Никого, кроме Зуфара, у телеграфного окошечка не было. Отлично видела это Рыженькая. Зуфар же заметил, что на него с любопытством смотрит начальник почты из-за своего залитого чернилами и заваленного конвертами колченогого столика, и толпящиеся в конторе за решеткой почтальоны. Но и начальник и почтальоны тотчас же перевели свои взгляды на телеграфистку. И вдруг в них Зуфар прочитал и почтение, и подобострастие, и даже страх. Особенно усердствовал начальник. Он даже приподнялся со стула и весь напрягся, наклонившись вперед. Всем видом своим он говорил: «Приказывайте!». А Рыженькая лишь поджала губы и так посмотрела на начальника почты, что он плюхнулся на свой стул и беспомощно замотал головой.

Зуфар только позже понял, почему начальник почтовой конторы явно боялся своей телеграфистки.

Оставалось сказать «благодарю!» и уйти.

Не понадобилось много времени, чтобы убедиться: в городе Полатлы нельзя и шага сделать без ведома полиции.

В билетной кассе на станции ему сказали, что билетов нет,

и не будет... для него. Причем старичок кассир так побагровел, что Зуфар испугался за него. В междугородний автобус Зуфара не пускали, а раз даже грубо вытолкали на ходу, порвав новый костюм. Пошел Зуфар в Анкару пешком, и его задержали в первом же селении. С ним обошлись не слишком вежливо — на кулачную расправу сельские власти не поскупились.

Городок Полатлы просматривался, если так можно выразиться, насквозь недреманым оком оливкового жандарма. И вскоре Зуфар в этом убедился.

Неизменным равнодушным тоном жандарм сказал:

— Еще раз говорю: выходить из города нельзя. Опасно. Жителей известили: по степи бродят шпионы-большевики. Безбожники они, кровавые злодеи, разбрасывают отраву, разных вибрионов-микробов в колодцы. У нас, господин офицер, со времен незабвенной памяти Ататюрка религия ислам отделена от государства, но в селах очень держатся, так сказать, устоев... люди очень злые. Безбожников, атеистов побивают камнями. Опасно выходить из города.

Жандарм выслушал жалобы Зуфара на железнодорожные порядки, на почту, телеграф и невозмутимо заметил:

— У той телеграфистки есть, так сказать... муж. Он приехал. Он должен понимать, естественно, что в конторе молодая женщина не избежит вольностей... Посетители разные... Но муж очень горячий. А вас видели с ней при луне на берегу речки. И не раз. Осторожнее надо... У нас, в Турции, еще при Ататюрке чадру сожгли на кострах, но у турок фанатизм ислама в крови, особенно у ревнивых мужей... Вы хоть и тюрок, но безбожник, большевик. Тут, в Полатлы, и менее важных... того...

Он поднял руки и принялся извиняться, когда Зуфар в запальчивости попробовал протестовать.

— Иншалла,— бормотал турок,— истории о влюбленных совсем не в нашей компетенции... Вы пользуетесь высоким покровительством. Случись что, и мы за вас в ответе... Прошу вас: осторожнее. Иначе мы... не сумеем обезопасить вас... и, так сказать, госпожу...

Вышел от жандарма Зуфар в отчаянии. Жил он в Полатлы уже месяцы и не смог дать о себе знать. Жандарм все разнюхал. Положительно все. Даже до Рыженькой добрался. Кажется, Зуфар навлек на свою милую совушку беду. Бедная ласковая Сефнет...

Через Сефнет он все еще надеялся дать знать о себе в посольство в Анкару. Он давно знал, что, хоть на советских фронтах тревожно, все разговоры о гибели России болтовня. Советское посольство, конечно, работает. Письма уходили, а ответа не было. Сефнет согласилась на свой страх и риск передать телеграмму. Лишь взяла с Зуфара страшную клятву не выдавать... Она умрет, если ее ударят хоть раз в жандармерии. Она

очень любит Зуфара. Ни в чем, решительно ни в чем не может отказать. Он же знает...

Иногда у него появлялась мысль: «А Рыженькая? Неужели она тоже с ними заодно?»

Нет, он оскорбляет ее.

Он однажды обидел ее. Смутные воспоминания нет-нет и всплывали в памяти: он встречал когда-то ее. Зуфар спросил, и она мило высмеяла его: «Клянусь любимой женой пророка Айшей, наверное, это было в прошлой жизни...»

Ухо резанула странная в устах молоденькой женщины религиозная клятва. Сефиет явно рассердилась. Вдруг в ней откуда-то изнутри проглянул совсем незнакомый человек: хладнокровный, расчетливый. Быстро оделась и ушла. Не приходила несколько дней, пока он не нашел способ извиниться.

Почему такой пустяк взволновал ее? Он имел все основания ругать себя.

А теперь боль гнездилась в сердце. Нет, Рыженькая не могла сознательно участвовать в подлости.

Рыженькая ненавидела мужа, но не жаловалась на него, даже когда он приехал неожиданно в Полатлы. Вообще ничего не говорила о нем. Лишь однажды кровоподтеки на теле Сефиет рассказали Зуфару, что творилось у нее в доме. Муслим был расчетливый. Он не оставлял синяков на лице Рыженькой. Тогда она не могла бы сидеть у телеграфного окошка. Рыженькая коротко сказала Зуфару: «Вымещает на мне свою слабость. Садист он... Клянусь Айшей!» Удалось выяснить, что Муслим вымогает у отца Рыженькой деньги на адвокатскую контору. «Он дерется, хоть я и дала ему деньги. Теперь требует, чтобы я бросила дело». Снова что-то странное показалось Зуфару в словах Сефиет. Но она не сказала, в чем заключалось дело.

Зуфару не удалось увидеть Рыженькую. На почте сказали, что она не вышла на дежурство. Больна.

Проклиная все и всех на свете и прежде всего себя за неловкость, неумение,— подумаешь, невозможно добраться до Анкары!— Зуфар медленно брел по улочке. Чуть не завернул на почту, чтобы глаз отдохнул на теплой рыжинке пышных волос Сефиет, но удержался и прошел, прихрамывая, мимо. У него все еще болела нога. Маленькая, но стойкая рана. Очевидно, осколок бомбы. Никак нога не заживет. И не помогают какие-то бальзамы, которые носит ему тайно его Рыженькая.

Нога мешала, и Зуфара хватило бы лишь километров на десять ходьбы по каменистым дорогам Анатолии. По асфальту мог бы уйти и дальше. Но на большом тракте он слишком приметен. А остальные дороги — проселки, боковые тропы — плохи: глина, щебенка. Рана все еще кровоточит на левой ступне.

Он так мысленно все проклинал, так чертыхался, что сразу и не заметил свою Рыженькую. Постукивая каблучками,

она обогнала его и на ходу громко прошептала, не оборачиваясь:

— Не зашел на почту... Хорошо сделал. Муж что-то знает... Вечером принесу бальзам, из Анкары.

Она пробежала быстро. Зуфар едва успел проводить глазами легкую, тоненькую фигурку с рыжим пламенем на голове.

Плохо! Муж появился... появился, когда Рыженькой удалось все подготовить для поездки Зуфара в Анкару.

Зуфар прошелся до почты, но там не горел свет. В Полатлы ночью телеграф не работает.

Зуфар не спал почти всю ночь. Он с трудом дождался восьми часов и побежал на почту.

А вечером хозяйка домика передала ему запечатанный конверт. В нем оказались железнодорожный билет на эрзерумский экспресс и записка: «Испытываю большой стыд. Забудь свою Рыженькую. Ее нет. Да ведь ее, наверное, и не было. Я виновата. Но любовь моя настоящая. И билет настоящий! Верь мне. Обойди поезд с другой стороны. Беги. Прощай. Храни тебя аллах!»

Экспресс проходил через Полатлы поздно вечером. Весь день Зуфар бродил по городку в надежде, что случай приведет его к дому Рыженькой... Он не посмел спросить адрес на почте. Он представил себе физиономию начальника, физиономии чиновников, физиономии почтальонов. Спросить равнодушно, где живет телеграфистка Сефнет... Невозможно. На него глядели их рожи с разверзшимися в иронических улыбках ртами, с выкатившимися глазами. Зуфар видел такие рожи, когда приходил узнать, прибыл ли ответ на его письма и телеграммы.

Итак, Зуфар начисто отверг мелькнувшую было догадку, что молоденькая женщина принимала сознательное участие в планах — чьих, он пока не знал,— задержать его во что бы то ни стало здесь, в Полатлы, в Турции. И все же Рыженькая знала. Что?

Одно стало ясно. В Полатлы даже его чувства на виду. Вся его история с Рыженькой на виду. И как «они» использовали его чувства.

Жандарм совсем уж не такой болван, не равнодушный пень. Тонкая бестия.

Наивный, простодушный Зуфар вообразил, что про него и Рыженькую никто ничего в Полатлы не знает. Но не только болван с жандармскими аксельбантами знал! Оказывается, прозрачны стены в Полатлы. Они просматриваются даже из Анкары...

С тошнотворным чувством человека, которому наплевали в душу, кружил Зуфар по лабиринту полатлинских улиц и улочек.

ГЛАВА IV

Если бы аллах прислушался к собачьему лаю, с неба сыпались бы мозговые кости.

Курдская пословица

Зуфар вовремя вспомнил об экспрессе и за несколько минут до его прибытия притаился среди товарных вагонов в тени на запасном пути. Никто его не видел. Станция Полатлы «Анкара-Стамбульской железной дороги» невелика, и пути ее почти не освещены. Все шло по плану, мило составленному в милой головке Рыженькой. Экспресс, сияя электричеством и зеркальными окнами международных вагонов, ворвался в тьму и грязь станции Полатлы, простоял положенные расписанием три с половиной минуты и отбыл в Анкару.

На подножке предпоследнего вагона с трудом уместился Зуфар. Экспресс мчался в пыльном холодном вихре. Зуфар приготовился терпеть. Ничего не поделаешь. В Анатолии очень резки перемены ночных и дневных температур даже летом. Уходя из дома, он предусмотрительно напялил на себя все, что имел из одежды. Только вот перчаток у него не оказалось, и руки сразу застыли.

В тот же миг яркий свет ударил ему в глаза и знакомый голос проник в его сознание:

— Зайдите в вагон. Здесь ветер и неудобно.

На площадке вагона его встретил с равнодушным, каменным лицом полатлинский жандарм. Без упрека, без раздражения он провел задеревеневшего Зуфара в купе.

Приятный, чуть вкрадчивый голос пропел:

— Иншалла! Да молодой эффенди совсем застыл. Скорее горячего кофе! Или нет, мы, узбеки, предпочитаем чай. Чаю, да погорячее!

Жандарм исчез. Зуфар остался наедине с пожилым темноликим человеком, расположившимся полулежа на бархатном диване.

Переход от песка, ветра, тьмы к бронзе, бархату и электричеству купе произошел так стремительно, что Зуфар беспомощно лишь жмурился и сразу не разглядел того, кто назвал себя узбеком. Зуфар даже не успел насторожиться.

Он неуклюже топтался у дверей и сквозь затянувшую глаза дымку рассматривал сидящего перед ним. В своем черном суконном берете на круглой монгольской голове он мог, конечно, сойти за узбека. Его мог принять за узбека человек, не очень хорошо знающий узбеков. Но Зуфар сразу увидел и по внешности и по говору, что перед ним не узбек, а казах.

— Что же вы стоите? — проговорил человек в берете.— Садитесь. Ведь тут ваше место. Согласно плацкарты.

По его лицу разлилась хитровато-добродушная усмешка.

— Нас предупредили, что вы сядете в... Полатлы... так, кажется, называлась остановка, и мы не возражали против такого спутника... Бог мой, да что мы говорим... Мы очень рады поприветствовать вас и дружески поговорить с братом по крови... Прошу, пожалуйста, устраивайтесь. До Анкары еще долго... А вы замерзли?

Вернулся жандарм.

— Неудивительно, уважаемый эффенди, на дворе холодновато, ветер. Я очень огорчен. Столько беспокойства. Я вас ждал на вокзале... На перроне.

— Ждали?— выдавил из себя Зуфар.

— Вот ваш билет до Анкары...

— Билет? А...— Зуфар чуть не выдал Рыженькую. Билет на экспресс лежал у него в кармане. Ничего он не понимал.

Равнодушно, но чуть подозрительно жандарм сквозь приопущенные веки изучал лицо Зуфара.

— Конечно, билет... И документ в порядке...

— О,— удивился бритоголовый,— господин офицер имел неприятности с билетом?

— Простите, эффенди,— разъяснил жандарм,— небольшие формальности. Господин офицер едет в Анкару натурализироваться...

Он с блеском выговорил трудное слово и остался очень доволен сам собой. Он лишь добавил, видимо стараясь уверить и себя и собеседников, что все прошло по плану.

«И все-таки... она...»— неприятно резануло у Зуфара в сердце. Откуда мог оливковый жандарм узнать, что он собрался уехать в экспрессе.

Тем временем принесли и чай, и кофе. Бритоголовый усиленно потчевал Зуфара и жандарма, который лишь после долгих приглашений присел на самый краешек бархатного дивана. Очевидно, казах в черном берете был важной персоной.

— Ну вот вы и согрелись,— сказал человек в берете,— очень было бы неприятно, если бы вы схватили простуду. Нехорошо. Не скрою, что наша встреча не случайна... Совсем не случайна... Я имел намерение... гм... желание увидеться с вами...

Тут он засуетился. Жандарм понимающе поднялся и вышел в коридор.

— Терпеть не могу жандармов,— вздохнул бритоголовый.— Итак, мы хотели встретиться с вами, Зуфар Джумамуратов, и поговорить по душам...

— Со мной... Вы знаете меня?

— Мы знаем... Мы обязаны знать всех соотечественников, попавших в беду. Всякая война отвратительна... Сколько страданий... А когда страдает твой народ, в тысячу раз горше. Впрочем, что мы? Стоящие в стороне... Вы же воевали, сами были ранены...— Взгляд его скользнул по ноге Зуфара.

«Кто же он такой,— подумал Зуфар,— и про мое ранение знает».

— Вы мужественно воевали. Жаль, что не на той стороне... Минуточку. Не волнуйтесь. Мы беседуем вполне откровенно. Не спешите с заключениями-решениями. Прежде всего поймите, что мы, что нас меньше всего заботят успехи, успехи сами по себе. К несчастью, огромные успехи гитлеровских полчищ. Поверьте, любезный собрат мой, в гитлеризме многое отвращает, отталкивает. Заранее скажем: Гитлер нас во многом разочаровал, очень разочаровал... Скажу только, что нас, узбеков, нас, туркестанцев, хранителей идеалов Турана, победы Гитлера...— Он взглянул на дверь, и в его взгляде Зуфар прочитал самые выразительные признаки боязни, что очень не шло к его монументальной монгольской голове завоевателя мира.— Прикройте, пожалуйста, дверь... Очень неприятно, когда вас подслушивают, да еще голубые мундиры. Весьма благодарен вам... Видите ли, мы, интеллигенты... Что касается нас, то мы учились в университете в Санкт-Петербурге... Да, да, и степняк учился на юриста вместе с Керенским Александром Федоровичем, правителем России, и мы за одним столом... совсем как сейчас с вами... беседовали о судьбах наций...

Он скосил глаза на Зуфара посмотреть, подействовало ли упоминание фамилии Керенского. Имя Керенского Зуфару говорило столько же, сколько имена Калигулы, Людовика Четырнадцатого или Тамерлана. Последний раз он «встречался» с Керенским на страницах «Истории СССР». Поэтому он почувствовал к бритоголовому монголу любопытство: экая далекая старина, а удивительно сохранился!

Любопытный взгляд советского офицера бритоголовый принял за проявление почтительного уважения и самодовольно продолжал:

— Отнеситесь к нам с доверием, мы не собираемся вас вербовать.

— Куда?— встрепенулся Зуфар.

— Минуточку... Мы говорим со всей откровенностью. Но позвольте обрисовать ситуацию. Гитлер глубоко нам антипатичен... Гитлер средство... способ ослабить большевиков. Возможно, уничтожить их. Но Россия пусть остается. У ослабленной войной России мы вырываем независимость Туркестана. Мы...

— Кто мы?— нетерпеливо спросил Зуфар. Чай вернул его к жизни. Ему вдруг захотелось высказать бритоголовому в лицо все, что накопилось у него. Но Зуфар сделал усилие и сдержался. Надо послушать, что еще скажет бритоголовый. «Не будь у врага снаружи — залезь к нему внутрь».

Он переспросил:

— Кто мы? Кого вы имеете в виду?

Бритоголовый даже удивился:

— Мы? Разве мы не сказали? Мы — истинные мусульмане. Впрочем, мы вернемся к истинным мусульманам... Итак, на чем мы остановились... Победы Гитлера, разгром русских. Мы ждем падения Москвы и Ленинграда... И сотни тысяч истинных мусульман, сотни тысяч поднимутся в Туркестане...

— Вы думаете?

Бритоголовый не заметил иронии в голосе Зуфара и воскликнул:

— Мы уверены! Мы знаем. Еще в Париже мы встречались с видным русским представителем сепаратистских кругов и получили заверение: после разгрома большевиков русские дают независимость Туркестану. А немцы нас несколько разочаровали. Немцы не прочь прибрать к рукам всю Азию...

— Не понимаю,— резко сказал Зуфар. Он дал себе слово не терять самообладания. Но не сдержался.— Не понимаю, как Гитлер доберется до Ташкента. Не понимаю. Еще человек гуляет на свободе, а палачи уже пируют под виселицей и делят его одежду... Не понимаю... Идет битва за Советскую Родину... Все народы сражаются, а кто-то тянет руку к блюду с пловом...

Экспресс мчался в ночи. Колеса грохотали и скрежетали на стыках. Из-за шума, возможно, бритоголовый не расслышал всего, что высказал сгоряча Зуфар. Он чуть-чуть поднял предостерегающе руку и заговорил. Собственно, не говорил, а рассуждал без особой страсти. В светлом хорошо проветриваемом купе на мягком бархате дивана все предрасполагало к приятной беседе за чашечкой пахучего кофе. Бритоголовый рассказал о себе. Он — человек государственного размаха. Еще в семнадцатом году он, присяжный поверенный, был членом Туркестанского Комитета, созданного Временным правительством для управления Туркестанским краем. Он уже тогда делал революцию и в Казалинске и в Ташкенте. Да, у него опыт, знание обстановки... Туркестану надо выбирать. С большевиками покончено. Истинным патриотам Туркестана—он имеет в виду истинных мусульман — надо ставить на верную лошадку. Он знает такую лошадку. Еще тогда он создал правительство Кокандской Автономии и знал, на какого коня ставить. Но ему помешали. Трусы, заплесневелые фанатики, побоялись поставить на чистокровного рысака... А большевики нашли язык с чернью.

Он устало помахал рукой и принялся за кофе. Вдруг он встрепенулся:

— Молчите, мой горячий друг... нечего сказать... Да-с, не верьте немцам... Чертовски грубые люди. Нас не обманут. Очень предупредительны ко всем эмигрантам из Туркестана. Реверансы и прочее. Недавно даже выделили в Берлине тридцать богатых стипендий узбекам из взятых в плен, чтобы учились в университете... Ханжество! Очковтирательство! Победят, при-

дут в Ташкент, Самарканд, Бухару, затопчут своими сапожищами в пыль все, все, все!

Он покраснел. Краска залила не только щеки, поползла по гладкому блестящему черепу.

— Слепо верить Гитлеру нельзя...— и тут же тихо, вкрадчиво замямлил:—Настоящая демократия истинных мусульман Туркестана, конечно, будет нуждаться в сильных и богатых покровителях. Дадут и под нефть, и под хлопок, и под недра... дадут, много дадут, миллионы, миллиарды...

Он отхлебывал из чашечки кофе и мечтательно смотрел на Зуфара. Бритоголового не беспокоило, что лицо у его «горячего друга» было неприязненным. Лишь неопределенность положения, желание добраться до Анкары, до советского посольства заставляли Зуфара молчать. Зуфар и понятия не имел, что с ним случится, когда экспресс остановится у перрона Анкарского вокзала: повезут ли его в гостиницу или прямо в одиночку. Жандарм наверняка торчит в коридоре. Лучше не спорить.

— Итак, мой горячий друг, я нарисовал картину. А для картины нужны люди. Ох, как нужны. Смелые, энергичные, непредубежденные, преданные великим идеалам. Вы грамотны, вы образованны, вы специалист, вы мусульманин... О, не беспокойтесь, вы хотите сказать, что вы член партии большевиков... Пустяки. Мы сами состояли в партиях... в кадетской... и... в других. Оболочка, всего лишь оболочка. Нутро нам нужно. Вы нам подходите. Советский офицер, говорите. Еще лучше. Прекрасно, пусть военные дерутся, сражаются, погибают... Вы счастливчик. Вас не убили, вы в тепле и холе, на бархате попиваете кофеек... Беседуете мирно с нами — государственным деятелем... О, что только мы не сделаем вместе! Реорганизуем школы... Политграмоту долой, русский шрифт долой, введем арабский. Ученики будут изучать коран, моральные устои, так сказать, крепить... Еще лучше, отдадим образование истинным мусульманам. Но, конечно, специалистов будем готовить... Много понадобится специалистов. Русские понастроили много фабрик, заводов... Продадим их частным предпринимателям... Да,— и вдруг он закипятился,— великие принципы частного предпринимательства... никаких колхозов!

Зуфар не выдержал и, по возможности спокойно, выдавил из себя:

— А вот колхозники, пожалуй, пошлют нас к чертям собачьим. И всех истинных мусульман в придачу.

Несколько секунд бритоголовый таращил свои черные глазки на Зуфара и вдруг расхохотался:

— Честное слово, горячий мужик, но молодец. Вы мне нравитесь. Мы вас берем к себе.

— Но... но... Я не давал согласия.

Даже простаку стало бы ясно, что Зуфар хочет выиграть

время. Но бритоголовый или не замечал этого, или делал вид, что не замечает.

— Вы еще узнаете. Подождите немного. А в отношении истинных мусульман не спешите с заключениями. Смешно воображать, что мы, например, усядемся на молитвенный коврик или попугайски начнем твердить коранические суры, всякий мистический бред. Лишь полнейшие идиоты могут провозглашать коран конституцией своего государства. Но мы, казахи, узбеки и прочие туркестанцы — тюрки... А ислам является для всех тюрок национальной верой... Для русских — православие, для итальянцев и всего Запада — католицизм... Простому народу нужна религия, нашему народу нужен ислам... Мы поняли, что единственный способ сплотить Туркестан — сохранить мусульманство. До поры до времени простому народу нужен бог, аллах...

И он устало забормотал, по-видимому цитируя что-то наизусть: «Я восточный, я тюрок, тебя, западный, не люблю, моя вражда к тебе наследственная. Она от моих дедов... Ты — Запад, земля твоя дрожала под копытами тюркских коней... Первый потоп — монголы, второй потоп — тюрки... Третий потоп скоро начнется... Тюрок насытится местью...»

Бормотание его затихло. Зуфар подумал даже, что бритоголовый задремал, но нет, он, оказывается, смотрел в темное окно, где изредка мелькали светлячками далекие огоньки пастушьих костров Анатолийской степи. Он мечтал.

Потом он повернулся к Зуфару и воскликнул:

— Мы, тюрки, сплотимся вокруг исламской идеи! Создадим что-нибудь вроде халифата... только не оттоманского, не турецкого. Нет, турок мы не пустим в Туркестан... Турки могли задирать нос в начале века, тогда они были выше нас... Теперь иное. Мы, туркестанцы, и образованнее и культурнее турок. И богаче... Обойдемся без турок... А вот ислам нам еще понадобится... Как вы думаете, мой горячий друг?

ГЛАВА V

> Можно простить убийцу, но не того, кто вносит раздор между сыном и матерью, между человеком и Родиной.
>
> *Ли Фу*

> Если услышишь секретное слово, да умрет оно в твоей душе. Не открывай тайны, чтобы она не стала в твоем рту пылающим углем, не обожги язык!
>
> *Ахикар*

Зуфара ввели в длинный, узкий кабинет. Громко в тишине тикали старинные часы. Солнечные лучи тихо падали из высоких, тоже узких окон на корешки бесчисленных книг, теснившихся на

застекленных полках. Густо пахло кожей и еще чем-то приятным, вроде сандала.

Деловая обстановка располагала к деловым разговорам. Тюлеген Поэт переводил вопросы и ответы. Зуфар поразился. Видно, Тюлеген долго жил в Германии.

С Зуфаром разговаривал, очевидно, очень важный немец. Неужели консул или даже посол? Тюлеген объяснил:

— С вами разговаривает министр германского рейха, их превосходительство эксцеленц фон Папен. Отвечайте коротко, но ясно. Не вздумайте скандалить. Здесь ваши фокусы не пройдут.

Совсем белая, седая голова человека, сидевшего в глубоком кресле, шевельнулась. На Зуфара глянули выразительные голубые глаза. Сердце у него замерло. Начинается...

Довольно глухо прозвучал негромкий голос:

— Вы тюрок? Туркестанец?

— Я узбек.

— Узбек? Не слышал.

— Узбеки — народ. Восемь миллионов.

— Не слышал. Вы?.. гм?.. Самарканд? Ташкент?

— Я из Хорезма.

— А-а! Хорезм... Древняя культура. Чингисхан... Тамерлан...

Зуфар промолчал.

— Офицер? Капитан?

— Да.

— Бежали в Турцию?

— Нет.

Скорчив гримасу, Тюлеген быстро проговорил:

— Ваши слова записываются.— Он кивнул на открытую дверь.—Их превосходительство хочет помочь вам...

— Мне нужно одно—чтоб меня отпустили.

— Что он сказал?— спросил эксцеленц.

Тюлеген перевел.

— Хотите служить делу великого рейха? Многие ваши, из Туркестана, сдались добровольно и...

— Я коммунист... Фашизм—злейший враг советских людей.

С интересом фон Папен поглядел на Зуфара. Тюлеген воззрился на него почти с испугом.

— Член партии?

— Да.

— Пустяки. Вы не можете быть в партии большевиков, вы не русский. Большевизм—выдумка славян, русских...

Помолчав, он спросил:

— Вы мусульманин?

— Нет.

Эксцеленц пожал плечами:

— Однако его натаскали! Но ничего. Все это наносное. При-

ступим к делу. Переводите не торопясь. Объясните нашему молодому другу все толком.

Фон Папен быстро заговорил:

— Великая Германия покончила с Россией. Скоро покончит.

Заметив подергивание руки Зуфара, он поспешил добавить:

— Мы от вас не требуем ни измены, ни предательства. Не нужны и скоропалительные решения. Мы вас не бросим сражаться на фронт, на фронт против своих. Мы найдем вам дело в тылу.

Кровь прилила к лицу Зуфара. Он едва сдерживался.

Румяные щеки Гельмута фон Папена прямо сияли добродушием. Седая щетина на черепе топорщилась. Кофе распространял аромат. В таких удобных креслах Зуфар давненько уже не сиживал.

Темой приятной беседы Зуфара с немцем были ковры... Да, да, ковры.

Странно, конечно, что тебя, интернированного советского офицера, участника боев в Севастополе, приводят в фашистское посольство, чтобы в течение двух часов их превосходительство эксцеленц разговаривал с тобой о туркестанских коврах.

Очень живо, очень экспансивно фон Папен расспрашивал Зуфара о ковровых мастерских, о сортах шерсти, о растительных несмываемых красках, об орнаменте и традициях. Он совсем не касался политики. Никакой политики! Он только с лихорадочной живостью, со стыдливой улыбочкой, открывавшей превосходные зубы, еще более молодившие его, воскликнул раз:

— Милейший, простите, но я считаю большевистский режим самым ужасным несчастьем в мире.— И тут же, решительно отмежевавшись от политики, фон Папен вернулся к коврам.

Он сам исколесил Восток. Чудесное занятие — коллекционерство. Кто поймет душу страстного путешественника и коллекционера! Сам он коллекционирует ковры. Сирийские, японские, сингалезские. Разнообразие расцветок, красок, рисунка. Не правда ли, господин офицер имел удовольствие путешествовать? Какие же ковры больше ему нравятся? Текинские или персидские? Какой к тому же бизнес? Торговлю коврами пора вырвать из лап американских бизнесменов. Давно надо прогнать английских торгашей с мирового коврового рынка. Англичане и американцы убивают ковровое ремесло, уничтожают древнее искусство.

Он восторгался туркменскими коврами, но глаза его оставались холодными, жестокими. Не правда ли, номуды живут и в Хиве? Ткут ли номуды ковры сейчас? Кочуют ли иомуды? Далеко ли уходят в пустыню? Много ли кочевых аулов? Колодцев?

Фон Папен был в восхищении от Зуфара. Коренной хорезмиец! Наверно, прекрасно разбирается в коврах! С такими деловыми задатками можно возглавить фирму с миллионными обо-

ротамн. Стать миллнонером. Обзавестись дворцами, виллой на лазурном берегу, гаремом... Не правда ли, господнн Зуфар, мусульманнн имеет право иметь много жен...

Появнлся блокиот, карандаш. Не правда ли, господнн Зуфар зиает Каракумы? Вот еслн ехать на запад от Хивы,—небрежио эксцеленц набросал схему.— Где тут попадаются аулы... с хорошимн ковровыми мастерицамн? Можио ли доехать на автомобиле, на форде, напрнмер? Илн надо ехать верхом? На верблюде? Сколько же времени займет путешествне? И неужели юрты ковровщнц прямо так н ставят на холмах песка? Ай-ай, песок может повредить шерсть. Не может? Как прнятио. А вот говорят, что юрты свои номуды ставят на таких ровных площадках — такырами называются. Покрыты твердой вроде асфальтовой коркой, выдерживающей аэроплаи? Разве господину Зуфару не прнходнлось летать на аэроплаие н саднться иа.. такыр?

Разговор увяз. Тюлеген Поэт не столько переводил, сколько рассказывал сам. Зуфар ограиичнвался сухнми «да» илн «нет». От иего потребовали уточинть местоположенне населенных пуиктов на схеме, провести лннни дорог. Эксцеленц держался простецки, ио бордовые щеки его горели. Едва караидаш Зуфара помечал что-нибудь, глаза эксцелеица впивались в лицо Тюлегена Поэта. Так лн? Осторожно, не спеша Зуфар переиес на схеме местоположенне крупного иаселеииого пункта в масштабе примерно кнлометров иа сто к северу. Все в ием иапряглось. Глаза эксцелеица буравнли лицо Тюлегена Поэта. Он лншь утвердительно прищурнлся. Зуфар осмелел. Автомобильиую дорогу он бесцеремонно увел в самую глубь сыпучих барханов и топких солончаков. Тюлегеи Поэт молчал. Тогда словио иехотя Зуфар разрисовал схему весьма пронзвольно. Где полагалось быть ровиым пространствам — возинклн болота. На месте соленых хнвинскнх озер оказалнсь благоустроенные селеиня. В безводных урочищах Зуфар указал колодцы. В памятн его храинлось бесчислеииое количество назваиий. Ему легче всего было устронть на бумаге путаницу. Одни н те же колодцы, урочища имели названня н туркменские, и иомудскне, н узбекскне, н даже казахскне. Топографы часто к тому же нскажалн нх. Тюлеген Поэт, торгаш, горожаиин, человек ленивых привычек н леннвых мозгов, нмел самое смутиое представлеине о Хорезме. Тюлеген Поэт не выезжал в Каракумы. Ленивый, беспечный, сам иаполовнну иомуд, Тюлегеи Поэт отроду не езднл к свонм родственникам кочевникам. Его отцом был полковннк царской армии Шейх Алн, захватнвшнй в плеи молодеиькую номудку во время разгрома аула около Ташауза. Тюлеген не знал иомудов, а номуды знать не желали его. Воспнтанный в семье горожан, он остался чужим для номудов. С чувством огромного облегчения Зуфар понял это, когда Тюлеген Поэт с готовностью подтверждал все, что Зуфар успел набросать на географнческой схеме.

И в то же время Зуфар испытал чувство радости. Подавленность исчезла. Даже в плену он может принести пользу. Он, человек пустыни, знающий каждый колодец, каждую караванную тропу, каждый кустик саксаула, он, офицер Красной Армии, превосходно разбирающийся по карте в местности, оказывается, может спутать фашистские планы.

Хорезм лежит в стороне от больших путей современности. Кого он может интересовать здесь, в далекой Анкаре?

Зуфар мысленно представил себе географическую карту СССР. Сделалось жарко. Вон оно что кроется за коллекционированием ковров! Хорезм в центре Средней Азии. Фашисты наступают на Сталинград. Между Волгой и Хорезмом безводная пустыня. Между Хорезмом и Ташкентом тоже пустыня. Хорезм — единственный населенный островок среди огромных пространств... удобный для...

Эксцеленц с бордовыми щеками остался доволен. Он с интересом приглядывался к Зуфару и потирал руки.

В одном вопросе Зуфар поспорил с Тюлегеном. Урочище Исми Махмуд Ата, резиденцию достопочтенного Каракумишана, Тюлеген отнес к Хиве, а Зуфар к Хазараспу. Впрочем, Зуфар утверждал, что сам Каракумишан уже много лет назад исчез, пропал. А Тюлеген настаивал, что Каракумишан, духовный наставник и религиозный глава всех хорезмских и туркменских мусульман, живет в своем мазаре Исми Махмуд Ата на границе пустыни и пользуется благоговейным почитанием своих последователей. В запальчивости Тюлеген Поэт даже назвал имя Каракумишана, господина ишана, и выразил сожаление, что столь чтимое и достойное лицо, прямой потомок самаркандского Шейха Ходжа Ахрара, отпрыск Шейха Джуибари, подвергается притеснениям советских властей.

— Светоч истины, господин Каракумишан верховный наиб всех ишанов!—восклицал Тюлеген Поэт.—Вопреки всем бедам и преследованиям, он, волею аллаха, прошел благочестиво все четыре ступени духовной жизни и ныне достиг степени «хакикат», то есть «истины». В Хорезме он проживает инкогнито, и в Хорезме не знают настоящего его имени...

Бордовый румянец на щеках эксцеленца посинел. Прозвучало резкое замечание по-немецки. Тюлеген Поэт осекся и так и не назвал подлинного имени светоча истины.

Эксцеленц вдруг впился в глаза Зуфару и сухо приказал:

— Подписаться под схемой! Только настоящим именем.

— Зачем? Это ведь небрежный карандашный набросок, эскиз.

— Вам нечего волноваться,— с усмешечкой сказал эксцеленц,— мы, немцы, любим точность. Ваша схема очень ценна для... торговли коврами.

— Ах, для торговли коврами,— и Зуфар широко и размашисто сделал росчерк.

— А теперь припишите ваш воинский чин.

— Разве торговцу нужен чин?—наивно удивился Зуфар, но проставил свое звание.

— А теперь, эффенди Тюлеген, засвидетельствуйте подпись и личность господина,—приказал эксцеленц.

Схема, украшенная подписями и пометками, тут же попала в особую папку.

С неизменной своей мягкой, почти ласковой манерой фон Папен поздравил Зуфара.

— С чем?!

— Вы отныне — служащий германского абвера — разведки.

Зуфар заявил протест. Он потребовал, чтобы его отпустили, чтобы ему дали возможность встретиться с кем-нибудь из советского посольства.

— Я коммунист и фашистам служить не буду.

Взрыв чувств Зуфара не удивил бордоволикого эксцеленца. Он даже остался доволен. Большевик возмутился. Очень хорошо. Значит, большевик понял, что он попался, подписав схему.

Издалека эксцеленц повел разговор. Недвусмысленно предупредил.

— Мы от вас не требуем ни предательства, ни измены. Вы вернетесь на родину. Мы обеспечим ваше возвращение. Ваше ранение,— он посмотрел на ногу Зуфара,— позволит вам с полгода не возвращаться в армию. Живите спокойно в своей Хаз... Хар... или как там он называется, лечитесь... и ждите. Мы от вас ничего не потребуем. Через полгода все изменится в мире. Вот тогда вы и пригодитесь для... торговли коврами.

Эксцеленц поглядел на часы и оживленно заметил:

— Завтрак, господа! Клянусь, ковры вызывают аппетит.

Он направился к двери и поманил за собой Тюлегена Поэта:

— А сейчас мы прервем разговор. Вечером мы еще побеседуем.

Тюлеген отвел Зуфара в приемную, где стояли канцелярские столы и дежурил жандарм. Зуфару предложили посидеть на диване.

Почти тотчас же Зуфар задремал.

ГЛАВА VI

> Видел отшельника с отросшими ногтями, йога, распростертого в пыли, храбреца, смотревшего прямо в лицо гибели, глупца, мудреца, разбогатевшего подлеца... лишь людей, лишенных жадности, не видел.
>
> *Мир Амман*

Из состояния дремоты Зуфара вывела удивительная встреча. Его разбудили голоса, и буквально подхлестнул взгляд человека, стоявшего в группе изысканно одетых господ в прием-

ной. Когда они вошли, Зуфар не слышал. На темных, цвета красного дерева лицах их лежал вековой загар пустыни. Выразительные, резкие, даже грубые черты говорили, что они сыны Востока. А отдельные детали одежды выдавали их национальную принадлежность.

Таких Зуфар встречал когда-то в Хорасане. Он даже мог сказать: вон тот с башлыком на длинных кудрях, ниспадающих на воротник дорогого шевиотового пиджака, самый подлинный курд. А другой, длинноволосый с черными тонкими усиками под громоздким носом, кашкайский кочевой вождь.

Но больше всего поразил Зуфара третий собеседник — величественный, с длинными дервишескими кудрями, великолепной бородой, явно не вязавшейся с отлично сшитым поистине дипломатическим смокингом. Поразился Зуфар, увидев этого человека здесь, в Анкаре, здесь, в здании германского посольства, здесь, в тысяче фарсангов от имения Багебагу в Хорасане. Именно там Зуфар встречал лет десять назад этого неистового дервиша, сыгравшего такую роль в судьбе его и его друзей.

Но дервиш почти не изменился за эти годы. А взгляд его серо-стальных глаз — и на память пришло прозвище «цветноглазый» — стал еще острее.

Память человеческая несовершенна, но Зуфар не мог ошибиться. Он невольно подался вперед... Но вовремя обуздал порыв, вовремя перехватил останавливающий, предостерегающий взгляд серо-стальных глаз. Дервиш изучающе посмотрел на Зуфара, отвел медленно глаза в сторону и сказал своим собеседникам, как ни удивительно, по-узбекски:

— Осторожность, господа,— мать успеха. Болтливость — яд змеи.

Надо полагать, он обращался к вождям. Но Зуфар мог поклясться, что дервиш узнал его и лишь потому произнес фразу по-узбекски, чтобы предостеречь его, потому что дальше дервиш заговорил уже с мягким турецким акцентом.

— Прошу, пожалуйте в кабинет,— распахнув двери, сказал жандарм. Он тоже замешкался. Вполне естественное любопытство. Не каждый день в Анкаре можно увидеть столь могущественных вождей из Ирана.

С жандарма даже слетела сонливость. Он весь горел желанием поделиться впечатлениями и, за отсутствием другого собеседника, обратился к Зуфару:

— Важные персы! В курдской чалме — вождь племени Диарбекира — двадцать пять тысяч винтовок. Тот, с большим носом, сам ильхан кашкайский — тридцать тысяч винтовок. Тот, бородатый, из Луристана — тридцать тысяч винтовок.

— А как их зовут?— спросил Зуфар. Он не решился спросить прямо про дервиша лура.

Жандарм не знал имен ни кашкайца, ни курда, но слышал, что бородатого лура именовали шейхом.

— Святой человек, ненавистник англичан. Не терпит ничего, что имеет запах англичан.

Жандарм нарочно не закрыл плотно дверь в кабинет. Голоса разговаривающих доносились в приемную отчетливо.

— Вам, господа, ничего не стоит вышвырнуть господ британцев и господ большевиков,— говорил фон Папен, удобно раскинувшийся в монументальном кресле. Желтые солнечные блики тихо скользили по пылинкам в полосах света, падавших из узких окон. Корешки книг сумрачно теснились за стеклом полок.

Солидная обстановка длинного, узкого кабинета располагала к солидным разговорам.

Племенные князья ехали к фон Папену за тысячу фарсангов через горы и пустыни потому, что он представлял на Востоке воинственную силу фашистского рейха. Они знали, что фон Папена зовут «сатаной в цилиндре» и что с ним надо держать ухо востро.

Однако прозвище «сатана» для людей Востока звучит с несколько иной тональностью. Сатана-шайтан на Востоке не столь страшен, сколько хитер. Это не сатана дантовского ада, а хромой бес Лесажа.

Шайтан Востока — пройдоха и ловкач. Воевать с ним надо ловкостью, хитроумием.

Племенные вожди сидели в кожаных креслах прочно, солидно, внушительно. «Сатана в цилиндре» не наводил на них священного трепета. Вожди знали себе цену. Вожди понимали, что они нужны германскому рейху, иначе «сатана в цилиндре» не пригласил бы их в далекую Анкару, до которой им пришлось добираться и верхом, и пешком, и на аэроплане, и на поезде, и на пароходе. И они поехали не из страха, а потому, что поездка сулила выгоды. Вожди ничего не боялись: ни Гитлера, ни тегеранского правительства, ни даже Англии. У Англии сейчас слишком много забот у себя дома. Господин Уинстон Черчилль озабочен тем, что бомбы падают на Лондон. Черчиллю не хватает времени заниматься делами в Южном Иране.

Солнечные блики прыгали в пылинках, пахло кожей и затхлостью, краснолицый седовласый господин, «сатана в цилиндре», вел переговоры с могущественными вождями могущественных племен. Совершенно секретные переговоры.

Предполагалось, что турецкие власти не осведомлены о визите вождей к фон Папену. Турция имела пакт о дружбе и ненападении с союзниками. Иран взял на себя мирные обязательства перед Англией и Советским Союзом. Одно появление вождей в стенах германского посольства на территории Турции

приобретало весьма подозрительный характер и затрагивало жизненные интересы союзников на Среднем Востоке.

Переговоры велись на уровне наибольшего благоприятствования. Так подчеркивал все время фон Папен.

Переговоры — понятие растяжимое. Говорил «сатана в цилиндре». Вожди величественно кивали головами. Они не выдавали своих мыслей. Но все трое зашевелились и помрачнели, когда в узкий кабинет господина посла вошел без предупреждения суетливый, походивший чем-то на коммивояжера человек. Седые волосы странно не соответствовали юношеской розовости свежих гладких щек. Он потирал белые аристократические руки и с подкупающим доброжелательством разглядывал вождей. Он не вмешивался в разговор. Изредка белыми длинными пальцами, очевидно машинально, поправлял неряшливо повязанный галстук.

Фон Папен не реагировал на появление суетливого человека и продолжал речь.

Беседа шла через переводчика. Надо полагать, фон Папен не владел восточными языками. Но Тюлеген Поэт в совершенстве знал персидский, турецкий, молниеносно схватывал каждое слово, так что слушатели не замечали даже, не чувствовали его присутствия, хотя наружность Тюлегена была запоминающаяся. Грузный, с большим обрюзгшим лицом, с красивыми черными глазами, он казался громоздким и неуместным в узком, тесном кабинете. Прозвище Поэт никак не оправдывало присутствия грубого, крикливого шашлычника из Хазараспа среди дорогой обстановки и сотен книг, мерцавших золотом и бронзой своих корешков, за которыми таились сокровища человеческого разума.

Уже скоро беседа вызвала выражение нетерпеливости, особенно на лице лура. Курд сохранял ленивую неподвижность мускулов лица, но начал угрожающе багроветь. А что касается кашкайского ильхана, его дыхание сделалось неприлично громким и фыркающим.

А фон Папен ничего не замечал. Речь его текла гладко, логично, но в одном он допустил просчет,— все, что он говорил, имело, конечно, значение для племен Ирана, решающее значение. В свете мировых событий. Речь шла о жизни и смерти кочевых племен Курдистана и Луристана, о судьбах самого Иранского и частично Турецкого и Иракского государств, о судьбах всего Среднего Востока. Очень важно! Колоссально важно! Но почему этот бордовощекий господин, небрежно развалившийся на своем кожаном троне, позволяет вести себя с ними, могущественными вождями племен, неуважительно и вызывающе? Словно учитель-домулла задался целью разъяснить простейшие истины сопливым ученикам, не умеющим отличить первой буквы арабского алфавита «алифа» от последней буквы «хэ». Почему он взира-

ет на инх — на курда, лура и кашкайца — сннсходнтельно, как на невежд, тупиц, дикарей, с которыми ои, европеец, может.., смеет разговаривать свысока.

Сатаиа хитроумня и дипломатических тонкостей, фон Папен сам ничего не замечал. Он не почувствовал, что излагает свои мысли сугубо упрощенно, примитивно. Он не замечал или не счел нужиым замечать и того, как меняются каменные лица его гордых собеседников. Или произошло то, что порой случается с умиыми дипломатами, вынужденными защищать слишком узкие, удивительно растяиутые идеалы, какие и надлежит защищать и проводить, заседая в таком узком, длинном кабинете, какнм был кабинет германского посла в Анкаре. Да и какие другие идеалы могли зародиться здесь, на островке гитлеровского рейха, в самом центре Турции? Бредовые идеи бесноватого фюрера загоняли здесь, в узком, длинном кабинете, Гельмута фон Папена в логическнй тупик.

Прежде всего «сатана в цилиндре» поздравил господ вождей с важной, очевидно не известной еще им, но «глобальной» новостью или скорее откровеннем. Фон Папен нарочио сделал паузу, и за ннм ее сделал предупредительный Тюлеген Поэт.

Новость-откровение заключалась в следующем:

— Фюрер провозгласнл себя покровителем мусульман. Он — духовный преемник германского императора Вильгельма II, в котором ученне пророка Мухаммеда нашло поистине правоверного хранителя и защнтника. Гнтлер — продолжатель дела, фундамент которого заложнл нмператор Вильгельм, вступнв на белом коне и в арабском бурнусе в священный Дамаск н прочитав иа языке святого корана хутбу — славословие пророку Мухаммеду н исламской религии у гробннцы египетского султана Салахутдина Эйюба: «Пусть его велнчество султан и триста миллионов правоверных мусульман, рассеянных по всему свету и почитающих его своим халифом, будут отныне уверены, что германский нмператор и Германская империя — их друзья на вечные времена». И фюрер Гнтлер ваш друг, господа!

Новость не произвела действия, на которое рассчнтывал «сатана в цилиндре». Возможно, он сам испортил все впечатленне тем, что против его воли в тоне, какнм он произнес всю тираду о Гитлере, прозвучала ирония. Фон Папен отлнчно понимал, что Гнтлер в роли покровителя ислама выглядит не слишком серьезно. Сказка для простаков и невежественных фанатнков.

Если бы он преподнес это откровенне реалистично, например, в виде плана Гнтлера, решившего использовать многовековые и очень устойчивые исламские религиозные взгляды, фанатизм десятков миллионов слепо верующнх в целях борьбы за сверженне колоннального нга. Тогда бы практнчно настроенные вожди, возможно, н приняли разговор всерьез.

А вместо того «дьявол в цилиндре» менторским тоном, да еще заглядывая в лежащую перед ним справку, принялся излагать общеизвестные исторические истины о том, что Кемаль Ататюрк, пошедший на упразднение халифата третьего марта тысяча девятьсот двадцать четвертого года, не доучел значения ислама, а вот фюрер пылает уважением к чувствам мусульман и готов восстановить халифат, принять на себя звание халифа. Вернуть прекрасные богоугодные времена, когда турецкий султан, будучи главой всех мусульман, считался непогрешимым.

А дальше пошло что-то уж совсем нелепое. Получалось, что Гитлер принял сам ислам и под именем Гейдар совершает ежедневно пять намазов в своей имперской канцелярии, молясь о благоденствии и процветании мусульман всего мира.

Последние фразы фон Папен произнес скороговоркой. Но то, о чем он заговорил дальше, было уже вполне в стиле «сатаны в цилиндре». Он сделал быстро и кратко обзор политики фюрера в школярской доступной форме.

— Вожди племен всецело предаются фюреру третьего рейха. Вместе с воинами племен господа вожди немедленно и безоговорочно идут на службу к Гитлеру. За этим вождей и пригласили в Анкару. Речь идет даже не о добровольном желании курдов, луров, бахтиаров, кашкайцев, мамасени и прочих племен,— тут фон Папен заглянул в справку и добавил еще несколько названий.— Речь идет о необходимости иного выбора.

— К тому же,— он показал глазами на скромно сидевшего коммивояжера с юношески розовыми щеками,— наступил час расчетов по старым долгам. Или они поступают на службу к немцам, или... не поступают... Решать надо сейчас.

Существуют безумцы, не верящие в могущество фюрера. Безумцы поглядывают на север, рассчитывают на Россию. С Россией покончено. Ресурсы России в руках Гитлера. Они захвачены и захватываются. Пусть гибнут миллионы. Создается мировая гитлеровская империя, по крайней мере, на ближайшую тысячу лет.— Тут фон Папен пришлепнул раскрытой ладонью по настольному стеклу:— И предусмотрительные, дальновидные, а таковыми позвольте считать вас, многоуважаемые господа племенные вожди, сочтут за лучшее не мешать, а помогать тысячелетней Германской империи. Становиться на ее пути — безумие. Берите в пример Восток, Турцию, гостеприимством которой они пользуются. В содержательной беседе с господином президентом Турецкой Республики проскальзывали заверения, что Турция заинтересована в уничтожении русского колосса. Сейчас, когда германские войска совершают победоносный марш по Северному Кавказу и к Волге, и племена не остаются в стороне. Их задача — поднять восстание и вышибить русских с господами британцами из Тегерана, а вместе с ними раздавить и центральное

столь ненавистное всем племенам правительство. Операция не сложна. В Тегеране, Исфагане, Ширазе, Тавризе много друзей великой Германии среди депутатов меджлиса, высших офицеров армии, крупных чиновников, духовных вельмож. Перед глазами пример, с какой легкостью произошел переворот в Ираке, когда свергли проанглийское правительство Таха Паши аль Хашими. Турция, Иран, Ирак, а за ними Афганистан нанесут удары в двух направлениях. Первое: захватят Кавказ и Туркестан, а затем Урал и соединятся с доблестными армиями немцев. Второе: обрушатся на Индию и выломают эту жемчужину из ржавой британской короны. Какие перспективы! И он, фон Папен, не сомневается, что храбрые, благородные воины кочевых племен Ирана изберут правильный жребий. Лучше оказаться в боевой колеснице вместе с победителями, нежели плестись в цепях по пыли поражения...

Здесь «сатана в цилиндре» счел выгодным сделать некоторую паузу и распорядился подать кофе.

ГЛАВА VII

Если бесталанный человек хвалится
своими деньгами, он — ослиный зад.

Саади

Беседа явно затянулась, и фон Папен понимал это. Надо сказать, что вожди давно уже проявляли явные признаки утомления и даже нетерпения. По живости и непосредственности натуры курд не мог усидеть на месте, порывался встать, но тотчас же плюхался в кресло, заглядывая в окно, пытался пересчитывать красочные корешки книг в шкафу, причем губы у него смешно шевелились. Вождь кашкайцев, напротив, сидел неподвижно, развалясь, закрыв глаза и оттопырив нижнюю губу и, казалось, дремал. Дервиш сидел прямой, строгий и остановившимся суровым взглядом изучал лицо «сатаны в цилиндре». А коммивояжер присутствовал с отсутствующим видом.

В свою очередь фон Папен из-под полуопущенных век наблюдал за лицами гостей. Он отлично видел, что никто — ни шейх Музаффар, ни господин Кашкаи, ни воинственный курд — не проявили ни малейшего интереса ко всему, что он здесь говорил. Обзор планов фюрера расхолодил вождей.

Лишь появление лакея с подносом внесло в длинный чопорный посольский кабинет небольшое оживление, но ненадолго. Кофе из крохотных чашечек гости прихлебывали лениво, неохотно, хотя фон Папен отлично знал, что они не завтракали и понастоящему голодны.

Никакого изменения в лицах. Ни малейшего огонька в глазах. Трудно, черт побери, расшевелить бамианских истуканов. Трудно начинать сначала.

Тогда в июле — августе сорок первого фюрер в Иране недотянул. Столько людей и средств! И все нерешительность, восточные церемонии.

Сотни опытных офицеров Германия направила в Тегеран, тысячи агентов, миллионы денег. Роли были распределены, министры обойдены, руководство армии подкуплено. В расходах не стеснялись. Доллары, фунты стерлингов раздавались, нет, расшвыривались пачками из изящного несессера. Завезли через Турцию одиннадцать тысяч новеньких, скорострельных винтовок, пистолеты, пулеметы, патроны. Не забыли даже значки со свастикой и новые государственные флаги Ирана, сохраняющие прежний цвет, но со свастикой в центре... Все было готово. Ждали сигнала из Берлина.

И вот плоды нерешительности! Фон Папен лишился несравненных помощников! Где теперь Густав Бор, Генрих Келингер, Раданович, Траппе и еще многие прекрасные специалисты по Востоку?

А по улицам персидской столицы маршируют не штурмовики Гитлера, а роты советских пехотинцев и шотландских стрелков. И все потому, что фюрер ради какого-то вящего эффекта отложил разгром советского посольства с двадцать второго августа на двадцать восьмое и тем самым дал возможность русским с севера и англичанам с юга вступить в Иран и сделаться хозяевами положения. Проклятое фанфаронство Гитлера все испортило.

Фон Папен явно грешил против истины. Он явно недооценил осведомленность советской разведки, которая в подробностях знала, что делается в Тегеране и на вилле «Терапия» близ Стамбула, где варились острые блюда для Ирана. На Востоке говорят: «Нет тайны, которой нельзя разгадать».

«Сатана в цилиндре» понимал настроение вождей, все еще попивавших кофе и молчавших. Тюлеген Поэт уныло пересчитывал солнечные зайчики на рукаве своего пиджака...

Тогда «сатана в цилиндре» встал и, подойдя к сейфу, вынул из кармана сафьяновый кошелечек, а из него ключи и принялся возиться с замками. Прежде чем распахнуть стальную дверь сейфа, он обернулся и посмотрел на вождей. Ни один из них не шевельнулся, не поднял головы.

«Сатана в цилиндре» перевел взгляд на переводчика. Лицо Тюлегена Поэта напряглось от любопытства.

— Господин Тюлеген,— мягко проговорил фон Папен,— не откажите в любезности пройти в приемную.

Когда Тюлеген вышел, Папен жестом пригласил вождей встать и приблизиться к сейфу.

Он распахнул бронированную дверь и протянул, картаво растягивая персидские слова:

— Пожалуйста, смотрите.

Очевидно, всю сцену фон Папен продумал заранее. Он имел право рассчитывать на сильное впечатление, особенно у дикарей, какими представлял и курдов, и луров, и кашкайцев, считая жадность, дикость, алчность, чувственность основой их характера. Глубоко веровал в «тельца златого».

Он не спешил спрашивать, а любовался разложенными на полках сейфа стопками золотых монет, и ему казалось, что монеты слепят своим сиянием и что его длинный, узкий, несколько темноватый кабинет даже осветился.

Фон Папена пронизало сладостное удовлетворение. Он громко вздохнул Но тут же с удивлением обернулся: его не поддержали ни возгласом, ни вздохом. Ни дать ни взять эти дикари каждый день любуются такими богатствами.

Тогда заговорил молчавший все время коммивояжер:

— Эффенди посол имел привезти из Берлина это. Эффенди Папен должен был привезти десять сундуков с золотом. О! Эффенди Папен получает от нашего любимого фюрера десять сундуков с золотом. Битте мейн херрен эксцеленц Папен хозяин... Может платить, может подарки делать... Прошу, бросьте один взгляд. Восток любит золото... Вот золотые настоящие фунты стерлингов, английские соверены. Миллион соверенов. Вот десятидолларовик... вот французский луидор... вот нидерландский полновесный золотой гульден... О, вы можете забыть, что вы наш должник. Вы имеете возможность получить еще золото... Сверх того товар, который вы брали у нас в кредит.

Он морщил лоб, гримасничал, подыскивая слова. Он устал.

Тогда заговорил фон Папен, обращаясь к коммивояжеру:

— Мой дорогой друг, в одном вы ошибаетесь. Здесь в сейфе ничтожная часть золота, которым располагает посольство рейха. Здесь хранится меньше, чем влезает в сундук. Остальное находится в Стамбуле, в подвалах здания нашего бывшего посольства на Агас Паша Кадесси...

Замечание это выглядело сказанным невзначай. «Сатана в цилиндре» знал, что, по крайней мере, Кашкан, а возможно, и лур знают по-немецки. Что же касается курда, то он даже учился в военном училище в Германии.

Дверка сейфа закрылась с легким звоном, сияние погасло. И хозяева и гости уселись на свои места. Коммивояжер воскликнул:

— Ну-с! Хорош товар, а?

Он потирал руки, длинные холеные пальцы. Так потирает руки мелкий галантерейщик за прилавком своей лавчонки в предвкушении выгодной сделки.

Но вожди совсем сникли, заскучали.

Несмотря на то, что «сатана в цилиндре» и коммивояжер очень оживились и сделались словоохотливыми, даже, скажем, болтливыми, несмотря на то, что возвращенный в кабинет Тюлеген Поэт изощрялся в точности перевода, наблюдавшийся с самого начала свидания холодок усилился.

Очевидно, надлежало сделать перерыв.

— Прекрасно,— нарочито оживленно сказал «сатана в цилиндре»,— все идет успешно. Я доволен нашей беседой. Надеюсь, что ваше далекое и трудное путешествие окажется полезным. При всех обстоятельствах у вас, многоуважаемые эфенди, есть возможность увеличить богатства ваши и ваших благородных соплеменников.

И тогда шейх сказал:

— Если аллах пожелает увеличить малое, то он и увеличит. А если аллах пожелает умножить что-либо немногочисленное, то он его умножит...

Нет, явно блеск золота не так уж сильно поразил дикаря...

ГЛАВА VIII

Ты хочешь достичь желания? Тебе надлежит сделать два шага: один — прочь от мирской суеты, другой — прочь от желания. Послушай же доброе слово старого Бестани. Откажись от зерна, чтобы спастись от тенет.

Баязид Бестани

В полном соответствии с дипломатическим протоколом в большом мрачноватом конференц-зале тут же в здании посольства состоялся завтрак «а ля фуршет»: сэндвичи с маслом и зернистой икрой, салат-сельдерей, омары в майонезе, жареный фазан с брусничным вареньем, оранж, кофе по-турецки. Подавались и восточные кушанья, учитывая своеобразные вкусы полудикарей горцев: запеченный в духовом шкафу барашек, лаваш, кэбаб и прочее. Напитки были сугубо европейские — «арманьяк», «мадера».

Но лишь теперь «сатана в цилиндре» посетовал на себя. Получился просчет. Покормить гостей следовало до начала переговоров. Очевидно, холодок в длинном, узком кабинете объяснялся просто: жизнь на вольном воздухе порождает сверх меры у дикарских натур то, что вежливо называется на Востоке «эштеха», а у западноевропейских дипломатов «л'аппети». Фон Папен любил щегольнуть при случае языком международной дипломатии.

— Приятная беседа весьма развивает то, что мы называем

«л'аппети»,— разглагольствовал он, расправляя на манишке белоснежную, до хруста накрахмаленную салфетку,— позвольте представить вам моего друга, господина...

Но на то и был Гельмут фон Папен изощрен в тонкостях дипломатических комбинаций, что ни один из вождей не расслышал фамилии турка гостя, появившегося к завтраку. Холеные руки, надменная ухмылка аристократических губ, безукоризненный костюм — все говорило, что это высокопоставленное лицо, возможно даже — член правительства. Держался он приветливо, но чуть покровительственно. Беседовал подчеркнуто внимательно с господином послом, а гостей как бы и не замечал.

Экспансивный курд тотчас покраснел, и краснота его не проходила в течение всего завтрака. Он рассвирепел и, по-видимому, нарочно руками держал баранью кость, громко жевал и под конец даже зачавкал. Кашкаи, напротив, изысканнейшими манерами подчеркивал, что своим воспитанием он не уступит самому рафинированному европейцу. Полное равнодушие и к завтраку, и к поведению знатного турка выказал шейх Музаффар. Он не вступал в разговор, съел лишь крошечный кусочек лаваша, а из прекрасного и богатого набора напитков воспользовался чистой водой.

До завтрака шейх Музаффар удалился в холл посольства, где томилась в безделье челядь вождей. Отозвав двух великолепных своим ростом и своеобразием одежды кухгелуйе, он сказал им два слова. Оба кухгелуйе мгновенно исчезли.

А за столом говорилось о серьезных вещах. Все яснее делалось, что высокопоставленный турок приглашен не случайно. Очевидно, он должен был произвести на вождей впечатление особого рода.

Фон Папен и турок говорили обо всем, только не о вождях племен и не о целях их приезда в Анкару, будто они и не интересовали ни турка, ни «сатану в цилиндре», будто они и не сидели за столом, покрытым накрахмаленной скатертью и уставленным дорогим фарфором.

— События идут к своему логическому концу,— разглагольствовал фон Папен.— Советы в агонии. Дипломаты делят пирог. Северную Африку фюрер удержит за собой в качестве предполья для борьбы с Англией. Черчиллю в африканских его колониях не поздоровится. В России на очереди Баку и Сталинград. Русских загонят в тундру, в Сибирь. Там их с Тихого океана возьмут в штыки японцы. В итоге на Среднем Востоке Германии и не придется воевать. Турции, Ирану, арабам надо определить свои симпатии и антипатии, пока не поздно...

Здесь «сатана в цилиндре» заговорил о марках ликеров и усердно принялся потчевать гостей. Он сожалел, что шейх Музаффар не притрагивается ни к чему.

Незаметно снова Гельмут фон Папен перескочил от кулинарии, богато представленной на столе с крахмальной скатертью, к кулинарии политической.

Получалось, что Великой Турции и не кому иному надлежит объединить племена Востока — курдов, арабов, луров, белуджей, кашкайцев, всех правоверных мусульман и создать великую, сильную, могущественную коалицию, союз, конфедерацию. Против кого? Большевики издыхают, но сбросить их со счетов рано. Значит, и против большевиков... Но! Но прежде всего против жестокой, безжалостной нации торгашей и колонизаторов, против Британии, ненавидимой народами и племенами. Идеалы великой Германии извечно совпадали с идеалами свободолюбивых народов...

Здесь шейх Музаффар очень пристально и даже с интересом посмотрел на фон Папена и тихонько пробормотал:

— Особенно с идеалами народа, уничтоженного пулями немецких солдат, народа гереро...

Удивительно, что персидский дикарь, невежда слышал об истреблении свободолюбивого африканского народа гереро, о кровавых экспедициях немецких колонизаторов тысяча девятьсот четвёртого года. Все же «сатану в цилиндре» не особенно обескуражило замечание шейха Музаффара.

— Гереро — дикари... почти людоеды. А речь идет о народах древней культуры, об идеалах свободы, изложенных в коране пророком Мухаммедом. Речь о том, что победоносная Германия готова поддержать мусульманскую коалицию против Британии средствами и... присылкой отличнейших специалистов, военных специалистов.

Снова шейх Музаффар позволил себе вмешаться и перебил.

Шейха интересовало, перейдут ли немецкие офицеры в мусульманство? И не под зеленым ли знамением ислама поведет фюрер Гитлер войну? Если английские колонизаторы неверные собаки, то допустимо ли принять помощь от неверных собак немцев? Или Гитлер, который заявил, что он принял ислам и теперь не Гитлер, а Гейдар, прикажет всем своим подданым возгласить символ исламской веры и подвергнуться обряду «сунната»? Иначе священный коран, который поминался здесь господином эксцеленцем ни при чем. Да будет известно — в коране сказано: «О правоверные, вы всюду, где ни встретите неверных, истребляйте их как бешеных собак». Таковы идеалы правоверия.

Лицо Кашкаи оставалось невозмутимым, а курд бросил на скатерть обглоданную баранью косточку и осведомился:

— Сочтет ли нововявленный пророк Гейдар за лучшее перевешать бешеных собак, иракских солдат, сжигающих курдские села, сажающих на кол курдских стариков и насилующих курдских девушек? Или пророк Гейдар прикажет расстрелять иракских разбойников?

Любезно улыбнувшись, «сатана в цилиндре» сказал:

— Он имеет доверительно сообщить, что помимо уже имеющихся в сейфах германского посольства в Анкаре золотых фондах, он, фон Папен, получил непосредственно от министра иностранных дел еще пять миллионов рейхсмарок золотом, чтобы поддержать друзей Германии и Турции, пять миллионов золотых нуждающимся друзьям. Он, фон Папен, уже имел честь осведомить присутствующего здесь за столом его превосходительство господина пашу...— Здесь «сатана в цилиндре» замялся, и вожди не расслышали имени высокопоставленного их сотрапезника турка.— Его превосходительство ознакомлен с посланием министра иностранных дел Риббентропа и...

Надо полагать, ответ высокопоставленного турка оказался не совсем таким, какого ожидал «сатана в цилиндре».

— Эксцеленц,— медленно заговорил турок,— хочу, чтобы у вас не осталось ни малейших сомнений в нашем желании видеть большевиков побежденными. Русские — извечные враги турок. Мы используем все пути расширения германо-турецких отношений на основе взаимного доверия. Однако осложнения отношений с Советским Союзом и ухудшение отношений с союзниками не входят в наши планы. Ускорять события не выгодно... Зима в восточных провинциях Турции начинается в сентябре. Плохие пути сообщения парализовали бы действия против Закавказья...

Говорил доверительно, но фразы выходили у него вялые, мятые. Точно клещами тянул из себя. Отвечал не на все вопросы посла, а на свои собственные сомнения.

Едва заметно Гельмут фон Папен переглянулся с коммивояжером и, взяв бокал, решительно поднялся. Турок сделал вид, что не понял намека. Чуть пошевелив пальцами руки, лежавшей на прохладной крахмальной скатерти, он процедил:

— Могу заверить вас, эксцеленц и многоуважаемые господа: никакая пропаганда, никакое давление англо-американской стороны не побудят Турцию сделать самый ничтожный шаг в ущерб германских интересов.

Не раз уже фон Папен порывался прервать турка, но что-то его останавливало: то ли высокое положение гостя, то ли он еще не знал, как направить беседу. Все же он произнес тост за понимание и взаимопонимание.

— А теперь приглашаю в гостиную. Предоставим слово нашему другу, господину Шмидту.

Коммивояжер привстал и слегка поклонился.

В маленькой гостиной, убранной картинами и старинной мебелью, племенным вождям без обиняков высказали, чего от них ждут. Господин Шмидт был предельно откровенен.

Прежде всего курды. В курдских районах, пограничных с Арменией, хозяева — курды, а не турецкая администрация.

Поэтому курдскому хану предлагается взять под наблюдение: первое — маршрут «Копс» морской из Трабезона с выходом к Поти и Сухуми, второе — маршрут «Сьок» через Нахичевань, а также на Аджарию и Араратский вариант. Курды помогут перебрасывать людей через границу. Курды должны ловить всех, кто идет из-за границы. Наконец, курды подготовят весной удар в двух направлениях — на Закавказье и на юг в Ирак.

Большое место в планах господина Шмидта уделяется кашкайским племенам. В Берлине учатся студенты из Ирана. Среди них — брат господина Кашкаи — Мухаммед Насыр. Решено забросить парашютистов в район кочевий кашкайцев в Южном Иране. Они построят аэродромы, которые смогут принимать тяжелые транспортные самолеты с людьми и оружием. При посредстве руководителей «Миллиюне Иран» Навбахта и Кашани господин Кашкаи свяжется с германским резидентом Францем Майером и Шульцем. Они получают из Берлина инструкции. С помощью Шюнемана, живущего нелегально в Тегеране, господин Кашкаи подготовит из прикаспийских номадов и хорасанских курдов диверсионные группы для заброски в Туркестан. После двадцать пятого августа сорок первого года в разных пунктах Ирана уцелели склады. Оружие, амуницию надо тайно вывезти на юг, в кочевье кашкайцев. Кочевников в короткие сроки следует обучить обращатся с пулеметами и автоматами новых систем. Да, чтобы не забыть, на Кашкаи возлагается взрыв трехкилометрового туннеля под горой Фирюзкух, взрыв, который надолго парализует Трансперсидскую железную дорогу...

Трансперсидская дорога пересекает также горы Луристана. Там много мостов, выемов, туннелей. По дороге идут английские грузы в большевистскую Россию. Луры ненавидят дорогу, ненавидят англичан. Господин шейх Музаффар всю жизнь воюет с англичанами. Господин шейх Музаффар заслужил на всем Востоке славу «нигризкуш» — губителя англичан. Надо разрушить дорогу. Господин шейх Музаффар ненавидит англичан. Англичане ненавидят шейха Музаффара и захватывают нефтеносные поля луров, сгоняют их с пастбищ. А ведь гораздо выгоднее продавать нефть Германии. Надо захватить британские промыслы и разгромить английские гарнизоны. Англия увязла по уши на Западе. Египет под ударом армии Роммеля. Нет более удобного момента для разгрома британских нефтяных промыслов Англо-персидской компании и захвата Абадана.

Господин Шмидт перестал бормотать, он загорелся. Он обрел красноречие, заговорив о нефти.

Всем трем почтенным вождям надо готовиться и к завершающей операции. Падение Сталинграда явится сигналом для всеобщего восстания южных племен против слюнтяйского те-

геранского правительства. Подготовка переворота в Тегеране ведется. Ираном по поручению фюрера занимается лично фон Эпп, старый специалист по Востоку. Фон Эпп возглавляет Управление колониальной политики при центральном руководстве фашистской партии в Мюнхене. В управлении работают знатоки Ирана, например, араб Разуан. Господа вожди могут быть спокойны. Забота об их интересах неугасима. Фюрер — любящий отец, они — любимые дети.

В голосе господина Шмидта даже возникло нечто вроде дрожи. Он продолжал с некоторой напыщенностью.

Выходило даже так, что Германия совершенно бескорыстно помогает Ирану. Германия жаждет вырвать Иран из лап России и Британии, избавить персов от нещадной колониальной эксплуатации. Придется разделить Иран на два государства: северное и южное. Племена обретут независимость и свободу.

Доверительно он сообщил вождям важные обстоятельства. Он просил запомнить несколько названий: «Хезбе кабут», «Хезбе меллят», «Михан параст», «Иране бедар», «Сиях пушан»... Это тайные организации, возникшие после вынужденного отречения Резашаха. Организации эти хранят фашистские идеалы фюрера Гитлера. Их преследуют, их репрессируют, но они стойко борются. Долг вождей помогать им. В Тегеран приехал тайно господин Гаммота. Он держит радиосвязь с Берлином, с генералом фон Эпп. Служащий фирмы «Мерседес» и некий Шульц сейчас объединяют все фашистские союзы Ирана в общество «Миллиюне Иран», о котором здесь уже говорил эксцеленц фон Папен. Во главе «Миллиюне Иран»— депутат меджлиса Навбахт и видные духовные деятели Кашкаи и Кербелан. Военными делами «Миллиюне Иран» ведают генералы Захеди и Пурзанд. Успех переворота обеспечен! Возвышенные идеалы фашизма близки и понятны миллионам иранцев. Делу фюрера верно служат вожди племен и губернаторы провинций, помещики и коммерсанты, чиновники и студенты, инженеры и духовные лица...

ГЛАВА IX

Если не соблюдать умеренности, и мед превращается в яд!

Турецкая пословица

Завтрак затянулся. Вожди слушали Шмидта без оживления. Они понимали — их мнения не спрашивают. Им втолковывали не подлежащие сомнению истины. Так учитель втолковывает в школе ученикам аксиомы. Вопросов учитель не ждет.

Вопрос все же был задан. Фон Папен не сдержал нетерпения, и его бордовые щеки сделались еще более бордовыми. Его давно беспокоила брезгливая гримаса, все выразительнее обозначавшаяся на холодной и, сказал он сам себе, свирепой физиономии шейха Музаффара. Воистину этот шейх — загадка. Гаммота предупреждал, что прошлое шейха очень неясно и своеобразно. Шейх всегда проявлял слишком большую самостоятельность. Гаммота сообщил, что шейх не слишком поддается посулам руководителей «Миллионе Иран» и что до сих пор не дал еще ясного ответа на весьма заманчивые предложения. Но важно, что шейх Музаффар враг Британии. Шейх уже сорок лет воюет с англичанами...

Все это промелькнуло в голове фон Папена, когда он услышал вопрос шейха Музаффара.

— Волей всевышнего в Иранском государстве наступит фашизм?

Курдский вождь и Кашкаи с любопытством посмотрели на шейха.

— Господа власти Ирана,— ответил несколько напыщенно фон Папен,— сами решат после переворота...

Всегда опущенные углы плотно сжатого рта шейха опустились еще ниже.

— Волею всевышнего в Германском государстве ныне фашистское правление?

— Вы вполне правильно определили сущность великого третьего рейха.

— Волею всевышнего единоличным правителем Германского государства является господин Гитлер?

— Вы совершенно правы.

— Волею всевышнего пророком немецкого народа является господин Гитлер? — продолжал свои вопросы шейх Музаффар, причем лицо его делалось все строже, а нижняя губа выпячивалась все сильнее, придавая лицу презрительное выражение. Но дипломат остается дипломатом. «Сатана в цилиндре» самым любезным образом подтвердил мнение достопочтенного шейха, не совсем еще понимая, куда клонит хитроумный азиатский дикарь.

— Да, если вам угодно так назвать нашего фюрера в соответствии с восточными традициями. Адольф Гитлер — духовный вождь германской нации.

Гельмут фон Папен искоса взглянул на Шмидта, ловя на губах хоть намек на ироническую улыбку. В лице Шмидта можно было прочитать лишь почтительное внимание к высокому предмету беседы.

А неугомонный азиат задал новый вопрос:

— Волею всевышнего...— начал он медленно.

«Черт бы побрал твоего всевышнего»,— прошептал экс-

леиц. Он почуял ловушку и дорого бы дал, чтобы здесь не сидели прямодушный курд, утонченный Кашкан и уклончивый турок. Этот шейх при всей своей дикарской неотесанности, кажется, готовит какой-то подвох. Какой? Но фон Папен даже и приблизительно не мог представить, какую яму ему роет коварный лур.

— Волею всевышнего,— грозно повторил шейх Музаффар,— пророк вещает только истину, всегда истину, вечно истину! Так или не так?

Он обращался к курду и Кашкан.

— Конечно, конечно,— поспешил за них ответить фон Папен.

Положительно его начинали утомлять азиаты.

— Значит, каждое слово Гейдара — Гитлера-пророка — является истиной, является правилом поведения, приказом?

— Да! Да-да!

Тяжелый обрамленный великолепной бородой подбородок шейха выдвинулся энергично вперед. Всем своим массивным торсом,— его, говорят персы, хватило бы на двоих,— вдруг надвинулся вместе с тяжелым креслом прямо на самого «сатану в цилиндре».

Позже фон Папен признался:

— Он меня напугал. Этакая громадина!

Пророческий громовой голос шейха наполнил всю гостиную. В голосе шейха гудели и гремели грозы его гор и степей:

— Пророк германского народа сказал: «Живут ли восточные народы в благоденствии или они издыхают от голода, интересует меня лишь в той мере, в какой они нужны как... рабы для нашей германской культуры».

Ловушка захлопнулась.

Все молчали. Молчал и хозяин гостиной — посол третьего рейха в Турции эксцеленц Гельмут фон Папен.

Мысленно он проклинал Гаммоту, авантюриста и тупицу, подсунувшего ему этого шейха, хитроумного кухгелуйе. В своем письме Гаммота отозвался о шейхе: дикарь, самодовольный тупица, зажиревший мозгами деспот, отчаянный рубака, наивный... Вот тебе и тупица! Вот тебе и дурак! Да тут еще Гитлер болтает по поводу и без повода об исключительности германской нации. Чего смотрит рейхсминистр Геббельс, пропуская в печать подобные фюрерские откровения. Сейчас весь Восток взирает на Германию. А на Востоке отлично знают, что такое рабы. Восточный человек понимает, что рабство хуже смерти...

— Лур — свободный человек,— вспылил, резко поднявшись, шейх Музаффар.— Три тысячи лет живут в своих горах Загроса луры, кухгелуйе, мамасени; три тысячи лет сражаются против врагов. Никогда лур добровольно не терпел ярмо раба!

Что мог сказать «сатана в цилиндре» — цивилизованный европеец азиату, — фанатику? Ученически эксцеленц лепетал, что господин вождь не понял слов фюрера, что народы Востока найдут в тысячелетнем рейхе место, достойное их величия и истории, что...

Завтрак кончился не так, как хотелось эксцеленцу.

Вождь курдов ничего больше не сказал. Он выпил за завтраком сверх меры, и глаза его, темно-карие, мутные, не отрывались от лица шейха.

Курды издревле враждуют с лурами, но уважают друг друга за храбрость.

В Курдистане немало слышали про шейха Музаффара. Знали, что он в бою свирепый, живучий волк, что он справедлив. Крепость лура — седло, его душа — ружье. Шейх пренебрегает любой опасностью. В конной лаве Музаффар заносится в самую гущу неприятеля, безумеет от ожесточенной сабельной сечи.

Вождю курдов понравилась гордость, с какой шейх сказал в лицо зазнайке ференгу дерзкие слова правды и гордости. В гордости вождю курдов отказать никак было нельзя. Он не обходил прямой улицы, не сворачивал в кривой переулок.

Вождь кашкайцев лишь поджимал губы. Европейское образование, отличное знание немцев подсказывали ему осторожность. Он не высказал своего отношения к дерзким словам шейха Музаффара.

Свинцом в душе лежали старые счеты с шейхом. Кашкайцы, потомки завоевателей тюрков, презирали фарсигуев — персоязычных луров, но побаивались. Луры — барсы когтистые, зубастые. Они воинственны. Луры не расстаются с оружием. Предки кашкайцев держали под своей пятой весь Иран. С тех пор осталась вражда и недоверие к лурам, кухгелуйе, мамасени.

Вождь кашкайцев ничем не показал, что слова лурского шейха правильны. Кашкаи решил скрыть свои мысли. А вдруг немцы правы, а вдруг фашисты захватят Тегеран? Тогда шейху Музаффару не придется презрительно оттопыривать губу.

Но шейх лур прав. С немцами надо поосторожнее. Кашкаи лучше знает фашистов. Собственными ушами он слышал ту речь Гитлера. Вождя кашкайцев задели слова бесноватого фюрера: «Гигантские пространства предстоит замирить... Лучше всего этого можно достигнуть, мгновенно расстреляв каждого, кто бросит на немца хотя бы косой взгляд».

Сейчас немцы захватывают и замиряют гигантские пространства России. Ему, Кашкаи, дела нет, что немцы расстреливают русских, бросающих на немцев косые взгляды. Сколько расстреливают, за что расстреливают? Дело фашистов. Ну а вдруг наступит момент и немцы появятся в кочевьях кашкайцев. Немцы бесцеремонны. Кашкаи хорошо узнал фашист-

ских молодчиков в Тегеране в сорок первом году. А ведь кашкайцы не терпят спесивых. И вдруг начнут бросать косые взгляды на немцев, когда те придут в Южный Иран. А придут они скоро. Когда на пастбищах вырастет новая трава...

Теперь Кашкаи пожалел, что при встрече с шейхом Музаффаром не сказал ему слова привета. Иногда свою неприязнь надлежит прятать в карман. Надо уважать и врага.

Шейх Музаффар ушел сразу после своих дерзких слов. Уход его вызвал переполох. Эксцеленц и Шмидт провожали шейха.

Фон Папена очень огорчили слова шейха.

— Детишкам показывают халву,— говорил шейх.— Не шалите, детки! У подножия Памира жил конокрад, душегуб Ибрагимбек, храбрый воин с клыками барса и мозгами воробья.

Хвалясь богатством, он показывал гостям свое добро, вытряхивал из сундука старые, пыльные халаты и поясные платки. Десять халатов, двадцать халатов. Пять поясных платков, тридцать платков. Пять пар сапог, десять пар. Хвастался. «Смотрите, богатый я, сильный я». Удивить всех, напугать хотел. Дураки пугались, умные смеялись... Мы взрослые, нас манить халвой не надо! Мы знаем вкус халвы. Мы пробовали в жизни и сладкое, и горькое.

Шейх тяжело шагал по трескучему гравию дорожки. За ним семенил фон Папен, посол могущественного третьего рейха, и униженно, неумело уговаривал. Шейх Музаффар переоценивал свои силы и самого себя. Конечно, он сам дьявол, но куда ему до фон Папена! Что-то похожее думал и седой коммивояжер Шмидт. Он шел, несколько поотстав, и холодный, серостальной взгляд его, буравивший спину вождя, не сулил ничего доброго. Да, он — вождь племени луров, могущественного племени. Луры много веков потрясали основы Иранского государства. Луры путают карты политики Британской империи на Среднем Востоке. Да, луры заноза в лапе британского льва.

Но шейху следовало знать, что представляет из себя эксцеленц — посол гитлеровского рейха. Солидный, плотный, с серебряной шевелюрой, с ветчинной кожей лица, с бордовым румянцем щек, с виду туповатый немецкий бюргер, завсегдатай пивных, господин фон Папен, конечно, не имел в своей внешности ничего зловещего. И куда опаснее выглядели, к примеру говоря, хитроглазый, коварный Кашкаи, или мрачный, фанатично хмуривший брови шейх Музаффар, или оглушающе воинственный и грубый курд, не слишком ловко чувствовавший себя в европейской строгости посольского кабинета.

Простоватый с виду фон Папен, крупнейший воротила германской промышленности, глава и душа «клуба господ» в тридцать втором году правил Германией, был рейхсканцлером! Помог Гитлеру захватить власть. Фон Папен —«гран персона»

в абвере — фашистской разведке. Именно с помощью абвера Гельмут фон Папен провел аншлюс Австрии с Германией, ликвидировал австрийского канцлера Дольфуса и Австрийское государство. Фон Папен знает Ближний и Средний Восток. Еще в первую империалистическую войну, состоя при начальнике штаба Четвертой турецкой армии, фон Папен держал нити разведки в Ираке, Йемене, Египте, Палестине, Сирии, Аравии. Вряд ли стоило шейху рассказывать фон Папену наивные истории о конокраде Ибрагиме.

А может быть, он и нарочно прикинулся наивным дикарем, этот вождь племени, затерявшегося в глухих горах Азиатского материка. Может быть, он считал, что чем наивнее кажешься, тем легче удастся выяснить, какое место в планах Гитлера отводится лурам. Может быть, он придумывал сейчас способ, чтобы отвести от луристанских долин удар на тот случай, если моторизованные фашисты хлынут к Персидскому заливу, через Турцию, в Южный Иран, чтобы проложить гитлеризму путь в Индию. Может быть, он знал, что Гитлер вытащил из запыленных архивных папок авантюрный план Наполеона, готовившего целые армии для завоевательного индийского похода в тысяча восемьсот девятом году. Да, может быть, азиат гораздо лучше разбирался в вопросах мировой политики, чем хотелось бы господину послу третьего рейха...

ГЛАВА X

Сколько свинью ни мой в розовой воде, запаха свиньи не смоешь.

Лурская пословица

Гости шли по усыпанной желтым песочком дорожке мимо здания посольства, несколько громоздкого, в старом немецком стиле, мимо стоявших среди деревьев и клумб коттеджей «Алман Коя»— Немецкой деревни, как прозвали жители Анкары германское посольство.

В широкое окошко Зуфару видно было, что «сатана в цилиндре», оживленно жестикулируя, говорил что-то, семеня рядом с величественным, прямым шейхом Музаффаром.

Поразительны судьбы людей. Удивительно, как могут скреститься пути через столько лет! Когда шейх проходил через приемную, он снова посмотрел на Зуфара и значительно усмехнулся. Зуфар невольно сделал движение и, по-видимому, изменился в лице.

Как ни мимолетен был этот обмен взглядами, он не укрылся от Шмидта.

Зуфар слышал, что он в дверях быстро спросил посла:

— Кто это?

Погруженный в свои мысли и торопясь вслед за шейхом, «сатана в цилиндре» небрежно заметил:

— Советский офицер из Туркестана. Мусульманин. Вы им займетесь?

— Займусь.

Они вышли, и Зуфар опять остался наедине с жандармом размышлять обо всем, что он слышал. А слышал он через приоткрытую дверь из приемной весь разговор и в кабинете посла и в гостиной.

Шейх размашисто шагал, опустив голову и не слушая, что ему твердит господин посол германского рейха. Он удивлялся. И не потому, что встретил советского человека в приемной германского посольства. Шейх в своей жизни видел более удивительное. Положение Зуфара, которого он сразу вспомнил, несмотря на прошедшие годы, не вызывало сомнений. Присутствие в приемной сонного турецкого жандарма вносило во все ясность.

Шейха занимали другие дела. Его поразил господин с розовыми, юношески свежими щеками, которого фон Папен рекомендовал как Шмидта. Шейх знал его — коммивояжера солидной германской фирмы вязаных изделий, знал под именем Шмидта. Но почему мелкий коммивояжер так развязно восседает в кабинете полномочного посла и запросто его поучает? Или на самом деле Шмидт тоже сатана, но повыше чином? И почему он не соблаговолил признать шейха? Этой весной Шмидт гостил у Кербелан, духовного властелина Южного Ирана. Кербелан очень влиятелен, очень могуществен. До сих пор шейх считал Кербелан человеком Англии. Все в Южном Иране знали, что Кербелан агент англичан. Но что же делал в те времена розовощекий в подворье Кербелан? С ним приезжал некий Шюнеман, представитель германской авиационной фирмы «Юнкерс».

На всех базарах знали, что Шюнеман продавал по сходной цене винтовки и патроны в любом количестве любому желающему. Шейху Музаффару сообщили, что Шюнеман получил через Турцию одиннадцать тысяч новеньких винтовок, и Музаффар поехал к своему недругу Камалу Кербелан. Тогда шейх и познакомился с Шюнеманом, даже сидели вместе с ним за богато сервированной суфрой, пили «финьшампань» и закусывали жареной бараниной со всякими острыми травками и приправами. А теперь этот самый коммивояжер Шмидт, гость с розовыми щеками, — прикидывается непомнящим и не узнает...

Шейх Музаффар и следовавшие за ним Папен и Шмидт подошли по желтенькому скрипучему песочку к большим железным воротам Алман Коя, и заспанный привратник выпу-

стил господина шейха Музаффара после того, как он попрощался с двумя седыми господами.

У ворот восседали живописно одетые двое кухгелуйе. Они величественно, но сдержанно поклонились своему вождю. Шейх не сразу уселся в поданную легковую машину, а что-то долго и подробно объяснял им. Машина уехала, вздымая пыль скверной анкарийской мостовой. Кухгелуйе важно пошли в сторону базара, но за первым же углом задержались и уселись в крошечной кофейне. Они расположились всерьез и надолго. Отсюда открывался прекрасный вид на массивные железные ворота Алман Коя.

Злой, голодный Зуфар все еще сидел на посольском диване, разглядывая от нечего делать картины, мебель и надоевшее до тошноты заспанное лицо жандарма. Наверное, прошло не менее двух часов, когда, наконец, в приемную ворвался сияющий Тюлеген Поэт и почему-то шепотом сообщил:

— Обедать! Сейчас мы пообедаем.

Торжественное сияние на его лице могло означать, по меньшей мере, что именно он, Тюлеген Поэт, устраивает обед в честь счастливой встречи со старым другом Зуфаром.

Но обедал Зуфар в обществе розовощекого Шмидта. И хотя блюда и кушанья были изысканны, а Зуфар был голоден, обед не доставил ему удовольствия. Шмидт изображал из себя любезного хозяина. Пил он много и наливал в рюмку Зуфара не меньше.

Темы бесед были самые невинные. Розовощекий Шмидт также оказался любителем ковров и с поразительным энтузиазмом разглагольствовал об иомудских и вообще о туркменских орнаментах. Шмидт задавал вопрос за вопросом и ни разу не выразил неудовольствия неприязненной сдержанностью Зуфара, у которого создалось мнение, что розовощекий слышал его разговор с «сатаной в цилиндре». «Неужели за дверью сидела стенографистка,— думал Зуфар,— или сам Шмидт подслушивал в соседней комнате?» Обед закончился.

На вопрос Зуфара, когда его отпустят, Шмидт быстро бросил: «Мы еще побеседуем попозже» и, насвистывая бравурный марш, удалился.

Больше всех выпил за столом Тюлеген Поэт. Он пил зеленый жгучий «шартрез» и опьянел. Когда ушел Шмидт, Тюлеген разболтался.

Придвинув свое огромное, пышущее жаром и запахом ликера лицо к лицу Зуфара, он шептал:

— Не будь ишаком... Счастье тебе привалило.

Зуфар не сдержал зевка.

— Простофиля, пойми. Тебе с неба в рот пирожки падают. Сам начальник германского абвера тобой, дураком, интересуется. Не будь ишаком...

Шатаясь и спотыкаясь, он оттеснил плечом Зуфара из столовой в приемную.

— Посиди-ка здесь, умник. Подожди господина. Он любит допрашивать... то есть беседовать... то есть... а, черт... по ночам. Ты у него заговоришь как миленький...

Из приемной Тюлеген выбрался с трудом. Снаружи щелкнул замок.

— Дурак...— бормотал Зуфар.— Фашистский выродок...

Вот куда зашло дело! Значит, им заинтересовался сам таинственный начальник германской разведки Канарис, соратник фюрера.

Зуфар сжал виски ладонями. Он хотел спокойно подумать. Черт возьми, зачем он выпил так много? А если... Он тогда сможет вернуться домой к своим... Если, если сыграть... Ведь представляется случай. Поразительный случай...

Он стоял у окна.

Сад Алман Коя погрузился в темноту. Зуфар протянул руку и почти инстинктивно толкнул раму... Она подалась и беззвучно распахнулась...

ГЛАВА XI

Ожидающий беды уже в беде.
Аль Докахиз

Чувство скованности весь день угнетало Зуфара. Вроде он и свободен и волен распоряжаться собой. Вроде ему предоставлена свобода выбора. Но у него не проходило ощущение, что за каждым шагом его кто-то наблюдает.

И лишь теперь, когда Зуфар быстро шел по кочковатой панели темной улочки, он избавился от этого тягостного чувства. Он поступил по-мальчишески. Подошел к окну и посмотрел в скудно освещенный сад. Стволы редких деревьев бросали на землю колеблющиеся тени. В ветвях шумел сухой анатолийский ветер. На дворе было ветрено. В комнате тепло и даже уютно. С ним обращались вежливо, любезно. И все же не проходило состояние скованности.

Невольным, еще секунду назад непредусмотренным движением руки Зуфар толкнул створку высокого окна, и окно раскрылось.

В лицо пахнуло прохладой, свежестью, запахом пыли. Зуфар оглянулся. В комнате по-прежнему никого не было.

Перекинуть ногу через низкий подоконник, сесть на него, спустить ноги и спрыгнуть. Тихо спрыгнуть. Прикрыть обязательно без стука створки окна и уйти...

Легкой тенью скользнул по песчаным тропинкам между коттеджами. Вдруг закружилась голова. Этого еще не хватало! Проклятая слабость. Купание в «соленой купели» не прошло безнаказанно. Где-то друзья? Неунывающий Прокофьев, дядя Саша? Говорят, живы, и то хорошо. Зуфар присел на газон, чтобы все спокойно обдумать. Но нет. Он чувствует себя бодро. Оказывается, нельзя смотреть на землю. Ветер мотает ветки, и тени от них непрерывно кружатся по земле.

Зуфар зашагал мимо коттеджей. Ворота близко. В окошечке сторожки — свет. Привратник, видимо, бодрствует. Надо подойти тихо. Песок скрипит.

Ворота все ближе.

В посольстве его не хватились. Они сказали: пусть он подумает. Они ушли — и этот румянощекий и подлец Тюлеген. Когда они вздумают вернуться в кабинет? Темное здание посольства молчит. Всего в двух-трех окнах горит свет. Горит электричество и в окне, через которое он выбрался. Никого нет в саду, а то увидели бы, что он лезет из окна. И, к счастью, собак нет. Какой бы подняли лай!

И тут что-то с силой ударило сзади Зуфара по больной ноге. От боли у него вырвалось проклятие. С воем от него отпрыгнула черная собака.

Только порадовался, а тут подкралась мерзавка, да за ногу тяпнула, за больную ногу, где незажившая рана. Еще не хватает, чтобы подняла лай и разбудила весь Алман Кой...

Но собака не лаяла, турок из сторожки не вышел, калитка в воротах оказалась не на запоре...

Зуфар было заспешил. Но боль в ноге дала о себе знать.

Удивительно пустынна улица. Ни души. Где-то за черными силуэтами домов шум, движение, снопы света. Ругаясь от боли, Зуфар брел в темноту. Болела рана.

У кого спросить, где советское посольство? Спросишь — сразу навлечешь подозрение. Зуфар кружил по узким проулкам. тоскливо поглядывая на темные окна, глухие стены, плотно замкнутые двери и калитки. Раздражение росло.

По-мальчишески он себя ведет. По-мальчишески перелез через подоконник и бежал. Зачем? Сейчас в посольстве войдут в комнату, переполошатся, побегут, начнут искать, сообщат в полицию... Ведь предупреждал же его господин с бордовыми щеками. Полиция любит и уважает немцев. Надзиратель в тюрьме обстоятельно разъяснил положение Зуфару. Все начальники полиции разделяют взгляды фашистов. Полицейский комиссар Анкары эффенди Азиз изучал в берлинском гестапо опыт борьбы с большевиками, демократами. Все высшие полицейские чины Анкары проходили стажировку в гестапо. Инструкции в отношении большевиков точны и определенны. Люби-

мая шуточка эффенди Азиза: «Десять дохлых большевиков лучше одного живого осла». Ха-ха-ха! Кормить большевиков в тюрьме нечем. Пусть господин большевистский офицер учтет это. Ему лучше не встречаться с полицейскими Анкары. Рука у них тяжелая.

Удивительно пусты улицы Анкары. Ни души.

Лишь в маленьком кафе напротив шевелятся тени. Зуфар брел по неровным булыгам мимо освещенного кафе. Вот хорошо бы спросить у кахвэчи про дорогу к советскому посольству. Так просто подойти и спросить.

Но разве спросишь!

Зуфар брел, чертыхаясь, мимо плотно запертых калиток, мимо ставен, глухих стен. Он не видел, что из дверей кахвэханы выскользнули две тени и крадучись двинулись за ним.

Светлые пятна над силуэтами домов делались все ярче, сигналы автомобилей, голоса людей все громче.

Он постоял в тени у стены двухэтажного дома и решительно шагнул в свет, грохот, смятение большого, оживленного города, полного людей и мчащихся в сверкании цветных огней автомобилей.

И тогда сразу все началось. Над самым ухом заверещал полицейский свисток. Раздались вопли: «Стой!»

Он метнулся за первый угол и снова оказался в темном переулке.

ГЛАВА XII

Почему рок послал на меня столько
тысяч злобных и разъяренных?

Насыр Хосров

Отвратительно состояние зайца. Остается удирать, когда за тобой мчатся собаки. Дьявольски плохо вымощены улицы в Анкаре. Дьявольски больно в ступне и в лодыжке. Дьявольски темно в узких проулках.

Все-таки эксцеленц зашел в комнату, все-таки он обнаружил, что окно открыто. Эксцеленц не церемонится. Очевидно, полицейским дано строгое указание. Полицейские не кричат, не приказывают остановиться. Просто стреляют.

Неправдоподобно. Он, советский человек, мечется по улицам столицы государства, состоящего в мирных отношениях с Советским Союзом. Он, советский подданный, мечется, спасаясь от пуль. Дома — скалы. Асфальт — пустыня. Автомашины — звери. Он бежит хромой, обессилевший, задыхающийся, а в спину ему посылают пули из боевых парабеллумов. Он опасный зверь... Ведь даже бандиту кричат «стой!»

Методичные, непреклонные полицейские шли по его пятам и стреляли. Полицейские не обращали внимания на редких прохожих. Прохожие жались в подворотнях и хрипло стонали «иншалла». Они даже не возмущались. Они знали, что ночью на улицах Анкары стреляют.

Зуфар решил прикинуться прохожим. Едва стрельба, удаляясь, приутихла, он пошел прямо навстречу полицейским. Он даже засвистал турецкий мотив. И его трюк удался...

Полицейский фонарик брызнул в лицо ему светом. И Зуфар, зажмурившись, воскликнул совсем как турок: «Иншалла!» Все в Турции к слову и не к слову восклицают «иншалла!» И полицейский увел лучик света в сторону. Хохотнув добродушно, он ринулся в темноту. Но сейчас же за углом прозвучал вопль:

— Хромой! Вон он хромой!

В лицо Зуфару брызнула штукатурка. Совсем близко затрещали выстрелы.

— Хромой! Хромой!

И это «о-о-ой!» слилось в лабиринте с выстрелами.

Пришлось снова бежать, петлять, со стоном припадая на больную ногу.

Близко за ним кто-то бежал. Обернуться, посмотреть Зуфар не мог. Все равно в темноте не увидишь, кто.

Кто-то бежал теперь совсем рядом и громко сопел.

Зуфар метнулся в сторону, в другую, в правый проулок, в левый. Преследователь не отставал.

«Сейчас, собака, выстрелит и...»

Движимый яростью, он вдруг отпрыгнул в сторону и ударил. Преследователь грохнулся на мостовую и жалобно взвизгнул.

— Не бей! Не надо! Ох и кулак!

Голос Тюлегена Поэта! И он тут!

А Тюлеген тихо заверещал:

— Слушай меня! Спрячься вон сюда!

Он уже стоял на ногах и подталкивал Зуфара в глубокую дверную нишу.

Топот ног послышался совсем рядом.

Вжавшись в нишу и совсем придавив Зуфара к двери, Тюлеген Поэт высунул руку с фонариком, посигналил и закричал:

— Не стреляйте... Это я!

Лихорадочно Зуфар пытался оттолкнуть от себя громоздкую сопящую тушу.

— Да я свой, не вертись! — прошептал Тюлеген Поэт, и вдруг Зуфару сделалось легко и свободно. Шашлычник выдвинулся на мостовую и, все еще задыхаясь, проговорил:

— Эй вы, гончие собаки, так вы прозеваете хромого!

Видимо, полицейские Анкары знали Тюлегена Поэта, переводчика германского посольства. Луч света фонарика лишь

скользнул по его обвислым щекам, и полицейский почтительно воскликнул:

— Эффенди, вы?

— Не пяльте глаза! Бегите вниз. Хромой где-то близко.

— А кто это там? На пороге.

Полицейский пытался осветить Зуфара, но тщетно. Туша Тюлегена Поэта совсем заслонила его.

И вдруг из темноты надвинулись огромные тени и громкие голоса забубнили: «Оставьте их. Это наши люди».

Луч света повернулся и озарил темные от загара лица, длинные жгуты усов, живописные одеяния кухгелуйе.

— Кто вы?— воскликнул полицейский.

— Гости,— вторили ему горцы.— Не трогай наших.

В руках кухгелуйе поблескивало оружие.

— Предъявите документы,— приказал полицейский.

Но тут вмешался Тюлеген Поэт. Он вертел перед глазами полицейского паспортом.

— Гости германского посольства из Ирана,— громким значительным шепотом шипел он,— не трогайте их. Иначе ответите.

Полицейский заколебался. На мгновение он задумался, вскинул руку к козырьку:

— Извините, эффенди, за беспокойство.

Кованые сапоги загрохотали по булыгам. Тюлеген Поэт крикнул вдогонку:

— И тратьте поменьше патронов.

Все еще задыхаясь, он обратился шепотом к нише:

— Вот так-то, господин большевик! Благодарите аллаха, что ваши друзья послали меня. Благодарите аллаха, что Тюлеген, подставляя голову под пули болванов полицейских, вывел тебя, большевика, на путь спасения.

Тюлеген тащил за руку Зуфара, который так устал и обессилел, что не мог даже спросить, куда его ведут.

Тюлеген Поэт крался через ночной город и, стискивая руку Зуфара, прислушивался к удалявшейся стрельбе.

Шли они недолго... Побренчало дверное кольцо. Их впустили в освещенную, изысканно убранную прихожую. Ошеломленный Зуфар бессильно сел на что-то вроде табуретки. Моргая, он смотрел на... Он мог поклясться, что видит Рыженькую, да, телеграфистку из Полатлы, если бы волосы ее не были черными, иссиня-черными.

Зябко кутая обнаженные, ослепительно белые плечи в шаль, молодая женщина смотрела на Зуфара пристально и иронически своими большими совиными глазами.

— Как только я увидела вас, Зуфар, мне, клянусь любимой женой пророка Айшей, словно мир подарили. Так я поразилась,— сказала она. Но тусклый тон ее ничуть не говорил о том,

что она беспокоилась или взволнована. Никакого участия не заметно было и в ее вопросе:

— Вы не ранены?

И клятва уже не звучала странно и неуместно в устах этой молодой, красивой, но такой другой и просто чужой женщины.

Почему полатлинская телеграфистка оказалась в Анкаре, в этой богатой квартире? И почему она ведет себя здесь полновластной хозяйкой?

Сефиет и не думала объясняться. Так же тускло смотрели ее совиные глаза на Тюлегена, который путано рассказывал, сколько он пережил, скольким опасностям подвергал свою драгоценную особу, выполняя приказ высокой госпожи...

«Ого,— успел подумать Зуфар,— она еще и высокая госпожа».

— Ничего с вашей драгоценной особой не могло приключиться,— на полуслове оборвала разглагольствования Тюлегена Сефиет.— У барана и курдюк бараний. Отведите господина офицера, покажите его комнату. Да вот что — не болтать! После я все сама объясню.

— Все сделаю!— поклонился Тюлеген и вывел Зуфара из прихожей. Пока они шли по чуть освещенному дворику, Тюлеген бормотал:

— Ну и женщина! Ну и умница! Только с ней надо осторожнее, хоть, видно, вы, Зуфар, и взысканы ее милостями. Где вы успели? Но бьет она так, что крови не бывает видно.

— В чем дело?— наконец смог спросить Зуфар своего избавителя.— Откуда ты взялся? Зачем привел сюда?

Он не задал вопроса про Сефиет. Он пытался разобраться в своих чувствах.

— А ты хочешь, чтобы я тебя в полицейский участок отвел? Ну, здешняя полиция вся на выучке была в Берлине у фашистов. Наши полицейские отлично управляются с большевиками почище тебя. «Пиф-паф»— и будь здоров, дорогой. А в чем дело, тебе высокая госпожа объяснит.

— Значит, она Сефиет!— вырвалось у Зуфара.

— А-а, ты ее знаешь?— удивился Тюлеген Поэт.

Зуфар не ответил.

Он долго не мог заснуть. Болела нога. Следовало промыть рану. Там, в Полатлы, нежная, преданная Рыженькая своими нежными руками мыла ему в тазу ноги, лечила и перевязывала его рану. Но то была не Сефиет — Рыженькая. Его Рыженькая.

Он заснул под утро.

И во сне за ним гнались по плохо вымощенным улочкам. Темноту озаряли вспышки выстрелов и всплески огоньков фонарей. А он бежал по острым булыжникам, с трудом переставляя свинцовые больные ноги... И не мог уйти от черных упорных преследователей.

ГЛАВА XIII

Даже могущественные джины трепещут перед женщиной, потому что сам Иблис уступает ей в хитрости, кознях и коварстве.

Самарканди

— Условимся, дорогой,— сказала Сефиет своим тусклым голосом,— наша встреча не имеет никаких... никакой подоплеки. И прошу... Для посторонних мы с вами... как бы сказать... Мы не знакомы.

Она неопределенно и жестко улыбнулась своими чувственными губами и жестом пригласила присесть на суфу.

— Вы, видно, решили, что вас будут вербовать, соблазнять... Я вам налью кофе? Не волнуйтесь, дорогой. Клянусь любимой женой пророка Айшей, совращать вас не собираюсь. Да и глупо было бы после Полатлы.— Пухлые губы состроили пренебрежительную мину.— Я совсем не женщина «вамп». И не демоническая Мата Хари. И я не собираюсь вас очаровывать, дорогой.

«Высокая госпожа» Сефиет оказалась гостеприимной и умелой хозяйкой. Убранная коврами и гобеленами, со вкусом, но без крикливости, крошечная гостиная была уютна и бешено дорога.

— Было бы справедливо, чтобы вы теперь расплачивались по полатлинским счетам за вздохи, восторги, негу, луну и прочее. Но... Я не такая... Совсем не такая... Женщинам импонирует нежность чувств, а я лишь женщина. Так вот, сейчас явится Муслим, я вам говорила о нем. Он очень... как сказать... безвольный, словом, не очень приятный, тряпка... Клянусь Айшей, вы его встретите спокойно, вежливо. Вам надо найти с ним общий язык. Но пейте кофе. Или вы предпочитаете чай? Узбеки любят чай. Я так люблю узбеков! Вы не поверите: я не турчанка. Мой отец узбек. А знаете, я была в Хиве... у вас. В каком году я была? Два года назад. Расскажите, что там произошло? Что изменилось... Да, два года назад... Ах, меня поразили барашки... каракулевые барашки... Вы, дорогой, и теперь пасете барашков?

Вопрос вызвал у Зуфара невольную усмешку.

Не своей нарочитой наивностью. Нет. Сефиет была так мила, так мило ворковала!

Скованность Зуфара исчезла, мышцы лица расслабли. Он не чувствовал напряжения, настороженности в маленькой гостиной у милой, приятной хозяйки.

Вообще же поведение Сефиет после всего, что произошло в Полатлы, вызывало подозрения.

Господин Вкрадчивый Лис, как в душе Зуфар назвал круглоголового пассажира экспресса Анкара — Стамбул, откровенничал: «Турки хотят, чтобы вы, домулла, просили политического убежища. Узбек... большевик... И просить, как бы сказать... пристанища в родственной Турции... Эффектно... Но не подумайте, что я советую... Вы не мальчик. Сами разберетесь».

В уютной гостиной его, советского офицера, не вербовали. Нажима на него не оказывали.

Он не узнавал наивную телеграфисточку, милую Рыженькую в самоуверенной, властной Сефиет, которая даже и цвет волос успела сменить вместе с характером.

Она сказала Зуфару, что она узбечка. По разговору ее этого нельзя было сказать. Произношение у нее явно турецкое.

Внешностью Сефиет, пожалуй, узбечка. Косой кунгратский разрез глаз. Густые брови почти сошлись на переносице, округлый овал лица.

И вдруг, к своему собственному удивлению, Зуфар поймал себя на мысли: «Очаровательное создание. И какой у нее голос».

Голосок у Сефиет не отличался ни певучестью, ни гармоничностью. Но своим щебетаньем она могла кого угодно умиротворить. Сам того не замечая, Зуфар смягчился.

Сказать, что Зуфар был наивным человеком? Нет, он даже подумал: «А не приемчик ли? Не способ ли разнежить, расслюнить... А потом и клюнуть».

Теперь он вспомнил: Сефиет приезжала два года назад в Советский Союз, и он видел ее в Хазараспе. Как он мог не вспомнить ее в Полатлы?

Он внимательно смотрел на Сефиет.

Ну, конечно, она. Очаровательное скуластое лицо. Красивое даже лицо, какое-то странно голое лицо, и от этого вся Сефиет показалась ему на мгновение голой, обнаженной. Какая чепуха! На ней очень строгое, закрывающее шею и руки до кончиков ногтей, даже не облегающее платье... А вспомнить ее не смог из-за волос. Крашеные волосы слишком изменили ее внешность.

Узкие кунгратские глаза Сефиет тоже изучали Зуфара.

— Ого, вы не разучились краснеть, дорогой. Что вы так меня изучаете, клянусь любимой женой пророка Айшей, вы все еще мне не верите! Напрасно...

«Она притворяется».— подумал Зуфар.

«Он умнее, чем казалось сначала»,— подумала Сефиет.

Они потягивали горячий ароматный кофе из чашечек и молчали.

Когда Сефиет приезжала к ним в Хазарасп, она была так же очаровательна. Весь Хазарасп — речь идет о женщинах — охал и ахал: «Смотрите, мусульманка и так одевается! Тур-

чаика, а какая модница». Тогда Сефиет была одета по моде. Юбка выше колен, французские каблуки. Обнаженные руки. Ее надолго запомнил и Зуфар. Она жила в его памяти как видение из другого мира.

Теоретически Зуфар, попав в Турцию, мог ждать, что встретит Сефиет. Но он не допускал такой возможности.

Несомненно, Сефиет в Полатлы оказалась не случайно. Скромная телеграфистка — лишь искусно сыгранная роль. Для кого и для чего? Едва ли для Зуфара. Он — случайный эпизод в жизни Сефиет. Значит, идет большая игра.

Очарование Сефиет разрушилось. На подбородке молодой женщины имелась чуть заметная звездочка из синих точечек. Татуировка, очевидно, наколотая, когда Сефиет была маленькой девочкой.

У обаятельной красавицы, образованной женщины — украшение дикарки. Ясно, бесхитростная телеграфистка Сефиет не та, за кого себя выдает.

К такому выводу Зуфар пришел не за чашечкой кофе, а позднее, к концу путешествия, которое ему пришлось предпринять в обществе Сефиет.

Сейчас он разомлел от сладкого кофе, от сладких улыбок, от сладких разговоров. В извинение Зуфару можно сказать, что всякий раз, как взгляд его встречался с темными совиными глазами Сефиет, он в глубине души вздрагивал. Так не соответствовало их пронизывающее, хладнокровно-изучающее выражение обнаженному, полному внутреннего покоя лицу...

— Скоро придет мой любезный муж и вы побеседуете душевно с ним о вашем Узбекистане, всласть побеседуете, клянусь Айшей, мой муж настоящий узбек...

«Что, здесь все узбеки?»— подумал Зуфар.

Открытие, что муж Сефиет из Узбекистана, неприятно поразило. Он рассеянно отвечал на вопросы и пытался решить задачу: «Зачем турчанка — пусть даже из узбеков — приезжала тогда, в сороковом году, в Узбекистан? Что ей могло понадобиться в Узбекистане?»

— Зачем я приезжала к вам в Хазарасп? Вы об этом думаете?— без тени улыбки спросила Сефиет.— Не беспокойтесь. Я Мата Хари, я шпионка... О, у вас в Хазараспе тайные военные объекты! Так важно подсчитать, сколько у вас в Хазараспе ослов и баранов...

Она лениво хихикнула и закурила сигарету.

Про себя Зуфар чертыхнулся. Может быть, прелестная турчанка не шпионка Мата Хари, но она читает чужие мысли. Зачем же она приезжала в Хорезм? Почему? Тогда на овцеводческой ферме, где он проводил отпуск, она ничего не спрашивала, она ладошкой гладила шелковистый мех каракулевых шкурок и болтала со своими спутниками немцами, ехавшими из Москвы в Ташкент.

И еще сохранилось в памяти: Сефиет курила. Запах ее сигарет до сих пор не вытравился из памяти, душистый запах, мешавшийся с грубым запахом сигар марки «Мемфис», который курили мужчины немцы, представители фирмы, кажется, не то тракторной, не то автомобильной. Немцы еще шумно возмущались плохими хорезмскими дорогами. Один из них, кажется, муж Сефиет, хлопал еще Зуфара по плечу и восклицал: «Гудрон! Надо есть гудрон!» Но он был немец, а только что Сефиет сказала, что муж у нее узбек.

— Вы все думаете, кто я?— нетерпеливо сказала Сефиет.— Конечно, я не шпионка, я обыкновенная женщина. И чем мрачно хмурить брови, просто бы спросили. Между друзьями, а мы ведь друзья, нужна ясность...

Зуфар вспомнил:

«Так ведь она встречалась там с колхозницами... Как жаль, что он тогда слушал невнимательно. Все удивлялись, какая немка приветливая, разговорчивая. И что она говорила по-узбекски... Немка много болтала с их знакомой теткой, которую все в кишлаке прозвали Паибархутхон... Немка кому-то проговорилась, что она приехала искать наследие своих предков... Какое наследие?..

На память пришли слова Исхакхаджи о законных наследниках бекских земель в Хорезме. Круг постепенно замыкался.

— Зачем же приезжала в Россию турчанка Сефиет, как не за тем, чтобы шпионить?— снова заговорила Сефиет.— Внесем ясность. Да, мне надо было в Россию. Да, мне надо в Туркестане... много надо...

И вдруг она положила тонкую, нежную, всю в кольцах руку на руку Зуфара.

— Смотрите, у вас сильная рука мужчины... Не отнимайте. Вы скромник... У меня слабая женская рука. Разве я могу?.. Кошка хочет рыбки, да боится замочить лапки...

Зуфар ничего не понимал. Сефиет вздохнула:

— Сейчас поймете, дорогой. Клянусь Айшей, поймете. Но сначала откровенность на откровенность. Вы любите деньги?

— Деньги?— удивился Зуфар.

— Ну, любите тратить деньги? О, вы подумали... что я покупаю вас, ха-ха-ха...

Нетерпеливо убрав руку, Зуфар молчал.

Повеселившись от души, Сефиет заговорила серьезно:

— Поймите, дорогой. Хотите, оставайтесь у нас. Хотите, вернетесь на родину. Насчет денег... И вы, советские, без денег не живете. Хочу предложить вам сделку. По совести, я приезжала в Туркестан и в ваш Хорезм вот почему. Я говорила вам, у меня отец узбек. Он всю жизнь прожил в Турции, но все имения его остались в Туркестане. У нас в Туркестане такие имения... миллионные... И все у большевиков. Все большевики забрали...

Рассказывала Сефиет не торопясь.

Отец Сефиет принадлежал к самым знатным кругам Анкары. Беглец, студент духовной академии в Стамбуле, он вращался благодаря знанию русского языка среди белой эмиграции и нажил большое состояние, перекупая валюту, драгоценности. Он не брезговал и «устройством» обнищавших генеральских дочерей в гаремы турецких вельмож. Широкие связи разбогатевшего отпрыска рода Джурабеков открыли его дочери доступ в светские гостиные. Она вышла за Муслима Турсунбаева, чиновника, которого ждала блестящая карьера. Откуда молодой девушке было знать, что Муслим не столько чиновник таможенного ведомства, сколько агент германской разведки. Это привело Сефиет в кабинет Канариса.

В сороковом году Сефиет приезжала в Туркестан неспроста. Она все рассчитала, продумала. Через мужа Муслима она устроилась на службу в представительство германской фирмы «Даймлер и К°». Ей пригодилось знание немецкого языка. Она изучала его в женском колледже в Бруссе. Вместе с группой торговых работников Сефиет поехала в Москву, оттуда в Ташкент и Хиву. Всюду она находила знакомых и родственников. Каких знакомых, каких родственников? Ее дед был бек шахрисябзский Джурабек — генерал русской службы. Сефиет нашла всех, кого нужно. Она даже побывала в Куйлюкском имении своего деда. Там теперь государственное хозяйство... называется совхоз... Она побывала в Ахангаране на конном заводе, он тоже принадлежал ей... то есть по праву наследства. Какие кони! Она ходила по улицам Ташкента, осматривала дома... Запущены, давно не делается ремонт, но доходные дома, очень доходные. Она побывала в Самарканде, в Бухаре, в Карши, в Китабе, Шахрисябзе. Ей всюду показали ее имения. Огромные земли... целые латифундии. Она владетельная госпожа, она наследница китабского владетеля. О, она посмотрела в Кассане... этот, как ее... совхоз, каракулеводческий совхоз... Тысячи голов баранов... Золотое дно! Тогда-то она и приехала в Хорезм, уговорила немцев съездить...

Тогда она в Хорезме напоролась на ту женщину... Покчи... Почи... что ли... Она остановила выбор на ней, большая ошибка. Жадная баба. Забрала золото, ничего не сделала. Сефиет не решилась открыться... Не такая была обстановка... Теперь другое дело, теперь скоро большевикам конец, и тогда она приедет в Туркестан... Богатая, молодая, красивая... ханша... Кокандская ханша... Туркестанская царица. Имелись же царицы в Туркестане... Алайская царица...

Совиные глаза Сефиет сияли на разгоревшемся румянцем лице.

Какова! Куда замахнулась. С большевиками одним взмахом пальца покончила. В ханши захотелось...

Но Сефиет не замечала настроения Зуфара.

— Я все продумала. Я добьюсь, чтобы вас отправили в Советский Союз. Я устрою, у меня знакомые. Вы никого больше не слушайте. Вы вернетесь к себе в Туркестан и ждите. Спокойно сидите на месте в Хазараспе... Нет, я вам дам адреса. Вы съездите в Ташкент, Китаб, еще кое-куда. Когда все кончится, тогда... Что вы так смотрите?.. Я дело говорю, клянусь Айшей, ваши большевики не продержатся и до весны. Не смотрите так, я не терплю, когда спорят со мной.

Она неприятно бледнела, когда с ней не соглашались. Она смотрела своими кунгратскими глазами так зло, что собеседник терял охоту спорить. Зуфар и не думал спорить. Он понимал, что здесь не место для споров. Он раскусил Сефиет: она алчная женщина, ради денег, ради богатства не пощадит никого.

Птичье щебетанье не обманет Зуфара. Сефиет играла в простодушие и откровенность, а маской голого очаровательного лица обнажала всю себя. Но она, сама не понимая и не желая, обнажила и свою душу, и свои замыслы. В тонком разговоре и мед есть и жало. Из меда вылезало жало, сколько его ни прятала красавица турчанка.

Честолюбивая, жадная до денег, Сефиет не казалась теперь Зуфару очаровательным созданием. «Где Рыженькая? Где нежная телеграфистка из Полатлы? Не всякий конь скакун, не всякая птица сокол»,— думал он, глядя прямо в злые круглые зрачки Сефиет.

Говорил и даже думал Зуфар очень цветисто. Не сказывалось ли, что он воспитывался у бабушки персиянки, которая посвятила его во все азиатские хитрости. Нет, он не так прост.

— Я пила во сне яд — значит мне гневаться. Не злите меня,— медленно протянула Сефиет.— Я не люблю, когда в моем присутствии думают. Большой ум яд... он укорачивает жизнь.

Задумчиво она повторила:

— Яд укорачивает жизнь..,

И вдруг воскликнула почти весело:

— Деньги и мудрый, и глупый любят!

На этот раз Зуфар ответил почти сразу:

— От эмирского плова бедняку и кость хороша.

— Вот-вот,— захлопала в ладоши Сефиет.— И, подбежав к портьере, позвала:— Муслим-ага, зайдите!

И, обернувшись к Зуфару, доверительно, почти нежно сказала:

— Не бойтесь. Мой супруг и повелитель совсем не ревнив! И у него нет никаких поводов к ревности. Вы такой воспитанный большевик... Ну, даже не мужчина. Разве я осталась бы с глазу на глаз с нашими... хамами... Дорогой, вы очаровательны... клянусь супругой пророка Айшей.

Она быстро повернулась к портьере.

— А вот и мои дорогие! Все прекрасно! Все хорошо. Знакомьтесь!

Миогому пришлось Зуфару удивляться сегодия, ио тут он не мог не поразиться. У этой холеной, очаровательиой, изящной дамы такой муж! Если бы Сефиет ие предупредила, он, честно говоря, приинял бы господина чиновника и юриста Муслима-агу Турсуибаева за базариого шашлычника.

Первое, что бросилось в глаза,— голые, толстые, все в красных чирьях щиколотки Муслима, торчащие из широких, грубой иекаэнстой ткани кальсон, болтающихся иад грязными чувяками...

Послышался скрипящий фальцет. Это заговорил Муслим.

— Ассалом алейкум, молодой друг мой, поздравляю с прибытием из священиых земель предков иаших, из Туркестаиа.

Глазки, рот, губы, уши Муслима заплыли желтым студием нездорового отека, и красная феска чудом держалась иа макушке лысой до блеска головы. Короткие толстые ручки едва сходились на огромиом брюхе, распиравшем серую грязнейшую жилетку. Из-под тройного подбородка ниспадал такой же грязный, запятнанный шарф.

— Супруг мой,— без малейшего иеудовольствия сказала Сефиет,— мы обо всем договорились. Таксыр,— она нарочно подчеркнула узбекское слово,— таксыр Зуфар горит преданностью и желанием оказать мне услугу в известном вам деле.

Резкое протестующее движение руки Зуфара Сефиет сочла за лучшее ие заметить.

Скрипящие звуки, издававшиеся расплывшейся тушей, очевидно, означали, что супруг Сефиет удовлетворен. Он схватил Зуфара за руки, прижал животом к стенке и доверительно зашептал:

— Прекрасно, прекрасно... Полная тайна, никто не должен знать. Сефиет — единственная наследница. Надо доказать, что она законная наследница... Я юрист... Знаю. Большевики отобрали. Большевики все вернут. В проклятый семнадцатый захватили ее земельные владения. Советская власть — чирей на шее!— лишила бедную девочку наследства... Защитите ее права... На основе шариата... Гитлер сам мусульманин... Вы что, не знаете... Гитлер принял мусульманство... Его зовут теперь... Как его зовут, милочка?

— Дорогой, ты повторяешься... Все я сказала. Сейчас важно, чтобы никто не болтал и ты в том числе. Не надо, чтобы посторонние уши знали о нашем богатстве.

— Что ты! Что ты!

— Дорогой, у тебя страсть болтать. Попроси нашего гостя отобедать с нами... Не возражайте, таксыр Зуфар, никого не будет. Мы в скромном семейном кругу.

Столовая семейства Турсуибаевых была богато убрана, но невелика. В Анкаре жилищная теснота, «ужасная теснота»,— жаловался Муслим. Он нетерпеливо подпрыгивал на своем диванчике — кресло его не вмещало — и поглядывал на дверь. Он

накинулся на первое же блюдо с жадностью. С удивлением Зуфар установил, что и Сефнет, при всей своей изящности и даже воздушности, ела жадно и много, пила крепчайший коньяк.

Супруг ее поглощал пищу даже как-то хищно и успевал с полным ртом бранить Сефнет за то, что она нарушает исламский закон, употребляя алкогольные напитки. Это дало ему повод после обеда в течение почти часа одолевать Зуфара разговорами о величии ислама. Несколько минут Сефнет помогала мужу «просвещать», по ее выражению, отступника-большевика. Она просто убивала собеседника великолепным знанием коранических догм. Но вдруг зевнула и заявила:

— И охота тебе, Муслим, мусолить всякое мусульманское старье. Уж я-то знаю. Разве кто-нибудь вернулся с того света и объявил: «Рай существует на самом деле».

Она ушла.

— Серьезная женщина,— шепнул Муслим, закатывая глазки,— не перечьте ей. Змея — по изворотливости. Слушайтесь ее, иначе... Не перечьте ей. Тут перечили один. Она угостила их. Они покушали, пострадали желудочными болями и... хэ-хэ, отправились в... Ну, а моей госпоже пришлось пожить вдали от столицы... в Полатлы.

В словах его звучал восторг.

— Не бледнейте... Я пошутил. Да, очень рад за вас. Вы умно поступили. Я ваш доброжелатель. Будем друзьями. Вам не по пути с русскими. «У неверных покровитель сатана». Коран, глава шестнадцатая, строфа сто вторая,— он многозначительно поднял свой толстый палец-обрубок.— Скоро немцы возьмут Москву... Тогда и мы двинемся...

— Куда двинемся?

— Тебе не к лицу... Тебе нечего там делать... Мы двинемся. Мы будем располагать вооружением. Наше наступление пойдет через Иран... Тебриз в направлении на Баку... Мы умные... прямо на позиции не пойдем. Не может быть и речи о штурме кавказских позиций... А так победа обеспечена. Тюрки Азербайджана встретят нас криками «ура!»

Он помолчал и добавил:

— Те же турки... А большевики всем надоели... Армян мы ликвидируем. Грузин тоже... Англичане в Ираке не шевельнутся... А если полезут, устроим им Кут-эль-Амарию. Русские опаснее... Но ничего... одновременно с севера пойдут немцы... Мы прорвемся в Туркестан... Там будет военная прогулка. Мы поведем полки.

Он расстегнул жилетку и самодовольно поглаживал живот. Отекшие ноги он вытащил из чувяков и блаженно подогнул их под себя на кушетку.

Зуфар не смог удержаться от усмешки, хотя ему и было не до смеха. Забавно выглядел полководец.

ГЛАВА XIV

Где бы ни лежал камень — хромого по ноге ударит.

Абдаллах Казвини

Я — вол на мельнице, вращающий жернов беды, израненный плетью времени... Все кружу и кружу.

Низами

Проснулся Зуфар на рассвете. Его трясли за плечо.

Рядом с диваном стояла Сефиет.

— Скорее вставайте! — говорила Сефиет, позевывая. — Вам надо уезжать. Сейчас же уезжать.

Ошеломленный внезапным пробуждением, Зуфар ничего не мог сообразить. Куда ехать? Что происходит?

— Вопросы потом. Одевайтесь без церемоний. Ну и сон у вас!

Она закрыла рот крашеной ладошкой и снова зевнула.

— Не церемоньтесь! Нет времени. Вас хотят увезти в Берлин.

— В Берлин? Но я не поеду в Берлин.

Зуфар быстро одевался.

— Какой-то болван разболтал, что вы у меня. Господин посол фон Папен по телефону интересовался, в чем дело. Мне ни к чему неприятности с господином фон Папеном. Я извинилась. Сказала, что вы мой каприз... может же молодая, красивая...— она потянулась,— иметь каприз...

Сефиет беспечно щебетала, но ее выдавал все тот же свойственный ей тусклый тон.

— Вы нам нужны,— говорила она быстро.— Вы хорохоритесь, но придете рано или поздно к нам. Не позволяйте увезти себя в Берлин. Там вы погибнете. С вашим характером вам конец. И фашисты и ваши узбеки вас не потерпят. И этот ваш президент Туркестана. Есть там такой. И ваши прочие претенденты вас не потерпят. Вы окончите свой путь в печи Освенцима или еще где-нибудь... Терплю я... Почему?.. Не знаю. Ну, вы готовы, наконец?

Она схватила его за руку и повела через амфиладу комнат. Ее маленькие ноги громко шлепали красными с золотом туфлями на высоких каблуках.

Перед входом в столовую Сефиет посторонилась и пропустила вперед Зуфара, и он очутился лицом к лицу с Тюлегеном Поэтом.

— Он вас отвезет,— прозвучал голос Сефиет за спиной.— Садитесь в его автомобиль.

— Куда вы меня увозите? — раздраженно спросил Зуфар.

— Он отвезет вас в... советское посольство... Тюлеген, отвезите господина большевика. И помните, головой ответите! Чтобы никакой полиции.

Тюлеген поклонился чуть ли не до земли и попятился к дверям.

Сефиет показала Зуфару глазами на дверь.

— Разве ему можно верить?— спросил быстро Зуфар.— Он же лакей Папена?..

Сефиет высоко вздернула свои стрелки-брови:

— Тюлеген — мой раб. Тюфяк, байбак вообразил, что я... что мы... Одним словом, он мой человек... Доверьтесь ему.

И тут же она жестко добавила:

— А у вас, дорогой, другого выбора нет. Отправляйтесь. И... не огорчайтесь. Мы еще встретимся.

Посольский «мерседес» мчался в ночи через город. Зуфар сидел на заднем сидении между Тюлегеном и неизвестным в шубе. На переднем сидении рядом с шофером поместился низенький толстый человек в шляпе.

Почему-то Зуфар чувствовал себя спокойно. Он только не понимал, каким образом турчанка сумела выручить его. Простенькая, милая барышня телеграфистка и «сатана в цилиндре»? Славненькая Рыженькая и бритоголовый деятель пантюркизма в экспрессе? Сложно и неправдоподобно. Но теплое чувство не проходило.

Они ехали по улицам предрассветной Анкары, и Зуфар подумал, а что же он скажет советскому послу. Где, спросит посол, он столько месяцев находился и не давал о себе знать?

— А где советское посольство?— спросил Зуфар Тюлегена, но Тюлеген не ответил, а лишь засопел. Сосед в шубе тоже ничего не сказал. Молчал и толстяк.

Шофер переспросил:

— Какое посольство?

— Мы едем в советское посольство?

— Зачем нам советское посольство?— пробормотал шофер.

Тюлеген Поэт ткнул Зуфара в бок:

— Хорошая женщина, чувствительная женщина, госпожа Сефиет, а? Замечательная женщина, умная. Ее уважать надо. Большой ум! У самого премьера Турецкой республики Сараджоглу такого ума нет. Красавица, и ум министра. И не думай, что она только кофе разливает, гугнявому супругу ноги моет да служанку на рынок посылает, э, нет. Госпожа Сефиет большими делами занимается, очень большими. Госпожа Сефиет во всех посольствах великих держав известна. Ее все послы уважают, все послы у нее кофе пьют. Из ее белых ручек. Все бен, эффенди, все паши Стамбула и Анкары ее уважают, к ней на селямлик приезжают. Ой-ой... В такие дни автомобили у нее перед домом в проулке не помещаются. Госпожа Сефиет большие

дела ведет, золотом торгует, драгоценными камнями. Все коммерсанты ее уважают. Госпожа Сефнет за границу ездит. Уважать госпожу Сефнет надо. Если госпожа человека одарила вниманием, понимать надо. Во всей республике нет сильнее дамы, чем госпожа Сефнет. Но неблагодарных госпожа Сефнет не любит. Ой, как не любит! Ох, тех, кого она не любит... Те мало живут...

Он поцокал языком и даже похныкал.

— Куда мы едем?— спросил Зуфар.

Он уже понял, что его опять обманули. Машина мчалась по шоссе навстречу яично-желтому небу. Над могучей пилой гор взошло солнце и озарило унылую каменистую равнину с разбросанными там и тут низенькими белесыми домиками. Над ними тянулись белые прозрачные столбики, и даже в закрытый автомобиль проник запашок кизячного дыма.

Плотно зажатый между Тюлегеном и человеком в шубе, Зуфар не в состоянии был даже шевельнуться. Он понял, что его везут прочь от города. Ему не сказали, куда его везут, чтобы он не попытался вырваться, выскочить из машины, наделать шума, привлечь внимание.

— Молодец, госпожа!— хихикал Тюлеген Поэт.— Опять бы ты кричать начал, опять брыкаться бы начал. Опять бы полиция стреляла. Очень не любит Тюлеген, когда стреляют...

Они ехали по пустынной равнине. Медленно проплывала под кирпичным солнцем кирпичная выжженная земля. Изредка попадавшиеся селения напоминали кубики игральных костей, брошенных на доску нардов. Осевшие, приземистые домишки выпятились к миру оплывшими глинобитными слепыми без окон стенами. Пустынные чахлые поля, одинокие фигуры крестьян. Зуфар мог думать сколько угодно и о чем угодно. Одно было ясно, что все его надежды опять рухнули. Он мог ждать самого худшего.

ГЛАВА XV

> Когда не хватает быков, пашут на собаках.
>
> *Персидская пословица*

> Счастлив человек, держащий уста сомкнутыми. Ведь всегда высунут язык лишь у бешеной собаки.
>
> *Низами*

Они вывернулись наизнанку, и нутро их вылезло наружу. Еще в Анкаре они «рядились в бурнус благородства» и «повязывали чалму высоких побуждений». Здесь в пансионате

«Сьюисс» в городе Трабезоне почтенные, спесивые господа превратились в сварливых базарных торговок.

От нетерпения и жадности они не говорили даже, а пищали и сипели. С севера шли вести одна потрясающей другой. Победоносные полки фюрера ворвались в Пятигорск. Бои шли в излучине Дона. Немецкие танки мчатся через калмыцкую степь к Волге...

Скорее, скорее, только бы не опоздать. Еще вчера все казалось миражем. Сейчас Туркестан лежал перед ними, господами, собравшимися в пансионате «Сьюисс» на блюде золотым сочным плодом.

Отель «Пансион Сьюисс»—«Пансион Швейцарня», что на горе, жужжал рассерженным ульем. В темных грязноватых номерах плавали синие табачные дымы. Единственная служанка, закутанная с головы до пят не то в покрывало, не то в старую дверную портьеру, не успевала выколачивать видавший виды, потертый ковер вестибюля. Во дворике среди темной листвы олеандров и вечнозеленых листьев фиговых деревьев мелькали искаженные яростными спорами физиономии бородатые, усатые, а то и вовсе бритые. Спорили ужасно. Спорили, интриговали, завидовали, копали друг другу яму.

Запущенный, ветхий трабезонский отель «Пансион Сьюисс» превратился в маленький дворец Лиги Наций,

— И там Швейцария — Сьюисс, и здесь Швейцарня... И там решают мировые проблемы, и здесь... мировые проблемы,— говорила Сефнет, восседая в потертом с вываливающейся ручкой кресле в вестибюле. Ее окружали космополитические постояльцы отеля «Пансион Сьюисс», обрюзгшие, желтые не то греки, не то армяне, не то левантинцы. Все они одинаково плохо говорили и по-турецки, и по-английски, но всех их одинаково распирали жадность, азарт. Столько нового, необыкновенного свалилось на захудалый трабезонский караван-сарай, широковещательно именуемый «Пансион Сьюисс»... Такие важные господа приезжают и уезжают. Нет, «Пансион Сьюисс» действительно центр мировых событий. «Пансион Сьюисс»— резиденция правительства. Какого? Какой страны? Потертых джентльменов мало интересовало. Где-то в Азии. В дебрях за Памиром или около Памира. Неважно, и, может быть, даже не правительства, но во всяком случае здесь проживают не то министры, не то назиры или вазиры какого-то сказочного, из «Тысяча и одной ночи», халифата или государства. Пахло жареным. И все бородатые, усатые и просто бритые, космополитически выглядевшие господа топтались около кресла, в котором восседала блистательная, пленительная, элегантная Сефнет.

Она восседала в потертом кресле, но держалась шахиней на троне — повелевала и распоряжалась. Тюлеген Поэт сбился с ног, бегая вверх-вниз по горбатым улочкам Трабезона в порт из

отеля «Пансион Сьюисс» и в отель «Пансион Сьюисс» из порта. Отвислые щеки его всегда тряслись. Из астматически открытого рта вырывались жалобные хрипы: «Я — министр! Я «югурдак» на побегушках. Я министр Сбегай туда-то». И снова он бежал.

Сефиет приказывала Зуфару:

— А вы сходите в полицейское управление. Именно вы. Тюлегена послать не могу. При первой встрече в Анкаре сатана припрет его к стенке и он завиляет хвостом. Пойдите вы...

Многого Сефиет не договаривала. Она не верила Зуфару, хоть и делала вид, что доверяет ему во всем. Она не верила, не понимала, что такие люди бывают, что такие люди вообще могут быть. В своем окружении, в своей среде таких людей она не знала.

— Не верю,— говорила она, глядя в глаза Зуфару,— не верю, что вы не хотите. Не верю... Все чего-то хотят. Все тянут руки к кускам пожирнее, все бьют друг друга по рукам. Вы молчите, не интересуетесь. Не верю. Вы просто хитры. Набиваете себе цену... Знаете, вы мне такой нравитесь.

Она изучала его длинными, подозрительными взглядами из-под неимоверно длинных ресниц, настоящих или искусственных, не понять. Ее душа без страстей, без чувств дрогнула. Она испугалась. Не хватает, чтобы большевик вызвал смятение в ней. Она не говорила —«в сердце». В свои девятнадцать лет Сефиет давно уже вытравила даже и понятие о сердце.

И она отсылала Зуфара. Приказывала заниматься делами.

Он спускался по крутым улочкам мимо высоких белых домов, гнездившихся на высоких скалах. Чайки с криком метались над портом. Белоснежная пена беспокойных волн взлетала до мокрых верхушек черных скал. Море беспокойно ревело. Свое, родное, Черное море буйствовало. Буйные беспокойные мысли вызывало море. За ним совсем близко грохотала битва на Кавказе. Там сражались советские люди. Неведомыми путями в Трабзон просочился слушок, что дорогу на Туапсе, на Черное море, защищает, отбивает от фашистских танков дивизия, которой командует полковник Сабир Рахимов. А ведь Сабир Рахимов — свояк Зуфару. Они же знают друг друга. Сабир Рахимов воюет, а он, Зуфар, даже не может перебраться через море. Сколько по водам гавани прыгает лодок. Вся гавань просто кишит лодками, пляшущими на гребнях волн. Сколько здесь храбрых моряков. Да и что там. Ведь переплыл Зуфар вместе с майором Прокофьевым Черное море. Где сейчас балагур майор и сердитый дядя Саша? Конечно, из них не делают мусульман, турок. Живут где-нибудь в лагере для интернированных. Или уже их отправили домой. Зуфар слышал, что Турция отсылает советских военнослужащих на Родину.

С завистью смотрел Зуфар на лодчонки-скорлупки, которым

жизнь страшно доверить. Но наплевать. Он и не в таких скорлупках бороздил буйный Арал.

По каменному молу, наполовину скрытому набегающими волнами, бродил таможенник, тот самый, который на молу молился, когда их плот прибило к берегу. Сонный вид чиновника не обманывал Зуфара. Несколько раз таможенник грубо кричал на него, не дал даже перекинуться словом с рыбаками. Сонные глаза таможенника отлично видели все, что делается на молу и в гавани.

— А, эффенди большевик,— встретил его начальник полиции в своем феодальных времен кабинете,— все еще на море поглядываете? Ничего не разглядите. Там вашим большевикам капут. Пора вам, эффенди большевик, менять партийный билет на фетву верховного мударриса.

Начальник трабезонской полиции имел немалый чин, любил, чтобы его по старине величали «господин паша», и не прочь был подшутить над посетителями. Он многое знал. Он приходился родней ханум Сефиет, и, очевидно, она посвятила его в свои честолюбивые планы. Сефиет вертела господином пашой и так и эдак. По-видимому, так Зуфар понял из одного разговора, господин паша имел через Сефиет изрядные доходы, связанные с германским посольством в Анкаре. Однажды, не стесняясь присутствия Зуфара, Сефиет откровенно выговаривала паше полицейскому за путаницу в его донесениях. Германское посольство очень интересовалось всем, что происходит в Трабезоне, от которого рукой подать до Батуми.

В своем затхлом кабинете паша полицейский держался за письменным столом времен феодализма нагло и покровительственно. Он иронизировал. Он посмеивался над Зуфаром, но благожелательно. Паша не совсем понимал, какую роль играет при Сефиет Зуфар и почему Сефиет не считает нужным скрывать, что он, скажем, большевистский офицер. Вернее всего, тут какая-то тонкая интрига. А господин паша сам до того запутался в своих отношениях с германской разведкой, что предпочитал не думать.

Подтрунивая над большевистскими взглядами Зуфара, паша снисходительно успокаивал его. Зуфар рассвирепел. Уже не один день он ходит по улицам Трабезона из одного участка полиции в другой, заполняет для всей компании пансионата опросные листы с несчетным количеством вопросов, слушает, как полицейские чиновники мямлят: «Вы не по тому адресу» или «Мы не причастны к этому». Чтобы попасть к паше, ему пришлось дважды-трижды записываться в книгу просителей. И это, когда госпожа Сефиет требует полной конспирации. Госпоже Сефиет не понравится...

Имя госпожи Сефиет сразу же настроило пашу на деловой лад.

Проклятые бюрократы всегда тянут. Но упрекать служащих нельзя тоже. Работы много, жалованье мизерное, у всех дети. Всем жить надо. А в Турции дорогу всему прокладывает всесильный «бахшиш»... Но госпожа Сефиет... О! Здесь обойдется без бахшиша.

Паша распорядился. Все документы мгновенно принесли в кабинет, из ящика феодального стола появилась огромная поистине феодальная печать. Паша прихлопывал печатью все, что полагалось прихлопнуть. И каждый раз с наслаждением восклицал: «И к этой васике приложимся, госпожа Сефиет, иншалла! И к этой...»

Снова Зуфар шел по неровно замощенным улочкам, снова любовался черными с белыми кружевами пены валами, снова вдыхал запахи и ветры Черного моря. И снова изобретал способ, который помог бы ему избавиться от всех этих пашей, «иншалла» и всевидящего взгляда чуть раскосых глаз Сефиет.

— Все они в полиции взяточники,— заметила Сефиет, когда Зуфар вручил ей документы на весь кабинет министров некоего несуществующего государства.— Но господин паша трабезонской полиции у меня вон где.

Она повертела в воздухе крепко сжатым кулачком и тут же сказала:

— А теперь, дорогушечка Хуршид, составьте список и всем выдайте паспорта под расписку.

Первая же встреча с Хуршид ошеломила Зуфара. Такой редкой красоты он еще не видел. Все в Хуршид было не так, как у красавиц, и все же равных ей не было. Цвет волос бронзовый, неправдоподобный какой-то. Да и стояли волосы такой огромной копной, что изуродовали бы любую женскую голову, а тем более такую небольшую головку с хрупкими нежными чертами. Впрочем, губы у Хуршид чересчур полные и вроде брезгливо оттопыренные. И красит она их чересчур ярко. И при таких нежных губках белый подбородок слишком энергичный, а нос слишком длинный. Но какой чудесный персиковый румянец на щеках и какие невероятные ресницы. И ястребиный взгляд совсем не подходящий красивой девушке. Цвета глаз Зуфар разглядеть не успел, потому что девушка улыбнулась и показала ряд восхитительных зубов. Такую, как Хуршид, не разглядывают, а просто восхищаются ею. Только потом он вдруг понял, что Хуршид не носила никаких украшений, что в нежных ее ушах нет серег, хотя женщины на Востоке носят их чуть ли не обязательно, и что Хуршид одета в очень простое, почти монашеское темного цвета платье с закрывающим шею до подбородка воротником и с длинными до пальцев рукавами. «Как подобает правоверной мусульманке»,— чуть иронически подумал Зуфар. И вспомнил свою Ольгу. Нет, Ольга не так вызывающе красива, но лучше.

Бронзоволосая Хуршид, оказывается, секретарь-стенографистка Туркестанского правительства. Все канцелярские дела возложены на нее. Так объяснила своим властным, не терпящим возражения тоном Сефиет. От нее не ускользнуло впечатление, произведенное на Зуфара красотой Хуршид. Покачав головой, Сефиет презрительно поджала губы.

Она не верила Зуфару. Она не хотела считаться с его убежденностью, с его открыто высказываемой ненавистью к врагам Советов, к его сочувствию трудящимся, с его ненавистью к фашистам, с его верой в высокие идеалы. По-видимому, у Сефиет не было своего идеала, по крайне мере возвышенного. Для нее идеал — звук пустой. Она не могла поверить, чтобы кто-то руководствовался в своих поступках какими-то отвлеченными представлениями о счастье народа, свободе, прекрасном будущем. Счастье — это когда удовлетворено твое себялюбие. Свобода — это когда ты можешь делать все, что тебе угодно. Прекрасное будущее? О, в будущем она видела себя всесильной помещицей. Известное место в будущем с некоторых пор занимал Зуфар, правда, еще очень неопределенное, очень расплывчатое. Сефиет приглядывалась к нему. Она считала его фанатиком. Но фанатиком не большевистских взглядов, фанатиком не Советов. Сильный, смелый, он сливался в ее сумбурных мыслях с героями турецкого эпоса — не то с родоначальником сельджуков Боз Куртом — Серым волком, не то с Тимуром или Али Тегином. Хорошо держать рядом с собой железного человека, приручить его. Но воли Зуфару она не давала, боясь, что ее доверие он использует против нее. Дай ему силу над собой, покажи, что ты слаба, и он же тебя подомнет. Пусть поймет, что он и существует только благодаря ей. Интригами и мелкими хитростями с большевиком не справишься. В большевика надо стрелять. Вдруг в мысли Сефиет вошло понятие большевик как нечто положительное. Если в Туркестане среди узбеков есть такие большевики, мусульмане по воспитанию, тогда Сефиет сумеет им найти дело, конечно, если они отрекутся от большевистских взглядов.

— Кем это вы при госпоже состоите? — язвительно спросила бронзоволосая Хуршид.— И какое применение вам нашли?

Она держалась в «Пансионе Сьюисс» самостоятельно. Кого-кого, а подмять ее Сефиет не смогла. Все эти странные тени, бродившие по двору среди олеандров и фиг, трепетали перед Сефиет, смотрели в рот Сефиет. А Хуршид держалась самостоятельно и заносчиво.

Хуршид частенько дерзила.

— Великолепно,— говорила она, уничтожая Зуфара своими ястребиными глазами,— советский человек, большевик,— она растягивала это слово «большевик».— Какую роль играет

большевик? Каким подонкам чистит сапоги? Или, большевик, тоже в министры метите? Вы что же молчите, не требуете, не вопите? Все тут пресмыкаются с самыми сладенькими надеждами. Целую страну делят, людей, скотину, земли... Всем кое-что достается. Прожорливые господа собрались. Все делят. Всем достается по кусочку овечьего курдюка... Все урвать хотят по куску богатства. Один вы тихий, нечестолюбивый. Или хитрите? Если у вас есть мозги, пошевелите ими, если у вас есть хвост, повертите им.

Ястребиный взгляд жить не давал Зуфару. Он не понимал, что нужно от него бронзоволосой.

По-видимому, бронзоволосая — авантюристка, проходимец в юбке. Держится со всеми нагло, вызывающе. Среди господ «министров» все почтенны, все седовласы, все уважаемы. По внешности. Но со всеми бронзоволосая обращается как с мальчиками на побегушках. Она ни во что не ставила торжественность обстановки «Пансиона Сьюисс». А он как-никак играл роль дворца Лиги Наций. В нем правительство целого государства создавалось. Историческое событие! Почтенные люди ходили по потертым коврам и половикам осторожно, боясь расплескать достоинство министерских званий.

— Этот прилизанный блудливый кот,— говорила Хуршид презрительно, испепеляя своими ястребиными глазами очень внушительного, с дергающимся лицом пожилого господина,— вообразил, что он уже имеет возможность превратить сотрудниц несуществующего министерства в одалисок своего будущего гарема. Вы, господин, сначала вылейте на себя флакон одеколона, а то от вас пахнет... котом.

Сконфуженный министр пятился и прятал малиновое лицо за облупленную колонну вестибюля. Сколько выдержки требовалось околачивающимся в вестибюле благообразным господам, чтобы не рассмеяться. Ведь господин с дергающимся лицом получил из нежных ручек ханум Сефиет пост председателя Чрезвычайной Комиссии по расследованию настроений инакомыслящих. Да, да! В будущем государстве будет своя ЧК и во главе ЧК будет поставлен Муслим Турсунбаев, внук Фулатбека, потомок владетелей Коканда. Что из того, что он вялый, расслабленный, что у него отвислые дергающиеся щеки, синие веки и морщинистые мешочки наркомана под мертвенными глазами. Пост председателя ЧК многое извиняет.

Взгляд Хуршид расхолаживает самых пылких министров. Они даже начинают жаловаться друг другу, конечно шепотом, по пыльным закоулкам темного грязноватого «Пансиона Сьюисс». Зачем брать в секретарши особу с такой вызывающей красотой? Здесь все мусульмане. И будущее государство, несомненно, должно опираться на некоторые исламские незыбле-

мые установления. А разнузданное нескромное поведение противоречит кораническим представлениям.

По вопросу положения женщин в новом Туркестане позволил себе высказать министр юстиции, он же и главный судья Моаззам Акрами. Он великолепно образован. Сам из Ташкента, из шейхантаурских аглямов, знатоков мусульманской юриспруденции. В области юридических наук Акрами самых передовых взглядов. У него ходуном ходит кадык над белоснежным воротничком, когда он сглатывает слюну, нехотя отводя взгляд от вызывающе обтянутого бюста Хуршид.

Да, паранджа и чачван варварство, но что-то на счет женской одежды придумать придется... Турчанки и египтянки, хоть и мусульманки, но позволяют себе оголять руки... шею... Позволяют, хо-хо...

И он отвел в сторону своих слушателей подальше от женских ушей, чтобы посмаковать, что себе позволяют распущенные мусульманки в Турции и Египте.

Иного мнения его собеседник, высохший, с лицом фараоновой мумии, господин в зеленой бархатной ермолке. Все его почтительно именуют Осман-беем. Говорят, он занимал в Средней Азии, в Советах, высокое положение. Был вроде президентом Бухары или Председателем народных представителей. Во время войны в Восточной Бухаре рассорился с Энвером-пашой и с диким вождем местных повстанцев Ибрагим-беком и бежал в Афганистан. Долго жил там, а потом перебрался в Турцию. У него здесь оказались большие связи. Осман-бей стал даже правителем санджака, беем. Сейчас он не у дел, но живет богатым помещиком около Сиваса. Осман-бей хочет вернуться в Туркестан министром. Просил портфель Внутренних Дел, но Сефиет предложила ему губернаторство в Ташкенте. Осман-бей совсем высох от волнений в «Пансионе Сьюисс». Конкуренция очень велика. Эта госпожа Сефиет много позволяет себе. Разве годится в министры юстиции Акрами? Какой из него блюститель нравов? Все знают, что Акрами привез в эмиграцию жену не мусульманку, русскую базарную бабу, которая рожает ему ежегодно сыновей и пикнуть ему дома не дает. Вот почему он против паранджи и чачвана.

Обнаружив в «Пансионе Сьюисс» Зуфара, Осман-бей сначала счел за лучшее не узнать его. Но разобравшись в обстановке, принялся униженно просить похлопотать за него перед Сефиет. Хорош будет министр юстиции в Ташкенте с русской женой, когда предстоит выкинуть из Туркестана русских, всех до единого. Министерство юстиции, новенький «кадиллак» и вилла под Ташкентом очень подошли бы ему, Осман-бею.

Осман-бей на своем веку имел не одну жену. Про его семейную жизнь ходят не совсем красивые слухи. Его лицо странно

дергается, когда он смотрит на чистый овал нежного лица Хуршид, на низкий ослепительно белый лоб в мерцающем ореоле бронзы, на удлиненные ресницами глаза, на пышный выпуклый рот. Осман-бей вздыхает. Потрясающая девушка! Цветок для министерской виллы.

Резко, почти грубо, Хуршид сказала Зуфару:

— Все они тут пакостники... Осман-бей — самый скверный. Очень опасный. Он такое сказал...

Прелестное лицо девушки сделалось вдруг жестоким, почти отталкивающим. Хуршид покраснела, и глаза ее заблестели от выступивших слез.

— Все они дикари и звери. Воображаю их в Туркестане, если они дорвуться до власти... Вот уж натешатся над нами, бабами.

Сефиет не беспокоили такие пустяки. Она дергала за ниточки, и марионетки кукольного театра «Пансиона Сьюисс» прыгали по ее желаниям и капризам.

Ее ли?

Толстый, равнодушный господин с бритой головой, Мустафа Чокай,— Зуфар узнал его имя из полицейской анкеты,— со скучающим видом вдыхал пыль коридоров, бесстрастно слушал самые наэлектризованные жадностью и завистью диалоги. Интриги, закулисные комбинации его не касались. Он и не всматривался в лица постояльцев, опустошенные пороками, дешевеньким честолюбием. Мустафа Чокай держал свою бритую голову несколько набок. Он как бы прислушивался.

И вскоре Зуфар не без подсказки язвительной Хуршид понял, что происходит под бритым круглым черепом Чокая.

Чокай не вступал в беседы по поводу нового порядка в стране, которую он собирался осчастливить новым правительством. Он не отвечал на вопросы. Склонив голову и рыская монгольскими умными глазками, Чокай прислушивался ко всему, что происходит на севере, на фронте, на западе в Европе, в мире. Он выжидал. Он еще не мог решиться.

— А железной дороги в Хиве все еще нет?— вдруг спросил Мустафа Чокай Зуфара наедине.

Зуфар удивился: такой делец, конечно, знал, что дорога Чарджоу —Александров Гай не строилась еще. Зуфар так и ответил.

Но Чокай уже находился во власти своих раздумий.

— Значит, Гитлеру идти через пустыню... У Гитлера техника, у нас аллах.

Эти несколько загадочные слова могли значить только одно: Чокай не слишком хотел, чтобы танки Гитлера прошли в Туркестан.

Заговорил Чокай о пустыне и аллахе, когда фашисты раструбили по всему свету о выходе войск на берег Волги к севе-

ру от Сталинграда. Чокай взбудоражился. Сефнет сделалась требовательна и груба. Именно тогда Зуфару пришлось день и ночь бегать по поводу документов. Взволновались и обитатели отеля «Пансион Сьюнсс». В каждом пыльном углу вестибюля собирались группы шепчущихся. Появились чемоданы. Отвислощекий желтолицый Муслим Турсунбаев сопел еще больше и сжимал большой рот. Те, кто узнал поближе Зуфара, довольно добродушно посмеивались: «Ну, вашим большевикам недолго прыгать. Как-то вы без своих проживете? Придется из сталинской веры в мусульманскую переходить».

Правительство нового государства сидело на чемоданах.

ГЛАВА XVI

Всякий священнослужитель молится только за себя и о себе.

Мукими

Задумал воробей вышагивать куропаткой — ножки поломал.

Феридэддин Аттар

Лето подошло к концу. Потянуло откуда-то в коридорах «Пансиона Сьюнсс» плесенью. Запахло мокрыми половыми тряпками. «Губернатор» Ташкента появился в вестибюле в лисьей рыжей шапке, чем вызвал всеобщий интерес и оживление. Кто-то поставил на столе в вестибюле портрет Гитлера в золоченой рамке. Тюлеген, здороваясь, приветствовал всех гитлеровским «хайль».

Вечером дождливого дня Зуфара позвали в номер Мустафы Чокая. Там сидела Сефнет.

— Вы назначаетесь комендантом эшелона,— сказал Чокай.

— Куда мы едем? В Батуми?— сдавленным голосом спросил Зуфар. От волнения ему перехватило горло.

— Нет,— возразила Сефнет,— в Эрзерум.

Зуфар пожал плечами. Он пытался скрыть свое разочарование.

Поняли его и Чокай и Сефнет по-своему:

— В Эрзерум!— заметила Сефнет.— Маршрут изменился.

— Значит, немцы застряли. Красная Армия дала гитлеровцам на Кавказе по зубам!— воскликнул Зуфар.

— Милый мой, Гитлер развеял большевиков, как сухую мякину,— в словах Сефнет зазвучала злоба.— Большевиков в Сталинграде и на Кавказе растоптали, уничтожили.

— То-то гитлеровцы никак не перелезут через перевалы. Высоко забрались — падать больнее.

Растирая бритый череп платком, Чокай сказал примирительно:

— Молодой друг мой, все обстоит несколько иначе. Именно потому, что немцы одержали такую победу, надлежит подумать... изменить планы. Слишком много побед. Забрались высоко. Правильно говорите — как бы не свалиться.

Помолчав, он доверительно продолжал:

— Мы очень рады. Ныне наш путь и ваш путь — один. Мы поняли, что нам идти с Гитлером не обязательно. Мы вели переговоры. Мы говорили. Только мы здесь, в Трабезоне,— настоящее законное правительство Туркестана. Только мы! В Берлине — самозванцы, проходимцы. Лишь мы, борцы за новый порядок, мы, Мустафа Чокай, мы...

Он говорил в легком трансе, все повышая голос.

Нет, Чокай казался совсем не извергом, каким представлял его себе Зуфар.

Обаятельный деятель в меховой шапке бронзового каракуля, с бронзовым лицом и бронзовыми усиками, Чокай напоминал сейчас изваяние из старинной бронзы. Он напоминал памятник самому себе.

— Зовите меня, мой друг, Мустафа-ака, просто Мустафа-ака. Без всяких там «эффенди» или «господин». Демократизм — мой принцип. В Туркестане мы насаждали демократию. Мы в восторге от всего, что источает аромат демократии.

Мустафа Чокай не улыбался в общепринятом смысле слова. Губы его всегда были сложены очень строго. Он улыбался не губами, не ртом. Белая полоска зубов не освещала его благородное бронзовое лицо. Памятники не улыбаются. И все же он улыбался внутренней странной улыбкой. В ней Зуфар искал злобу, иронию, двуличие, наконец. И не находил.

«Сейчас начнутся разглагольствования о великом Туране. Примется поносить большевиков». И Зуфар посмотрел Чокаю прямо в глаза, в его странно пустые глаза. Но ничего в них не увидел. У Чокая были глаза безмерно уставшего, чем-то убитого человека.

— Родина,— тихо сказал Чокай.— Не знаю, что думаете вы, но, поверьте, человек без родины — не человек. Человек, не приносящий пользу родине,— не человек.

Говорил он мечтательно. В голосе его звучали слезы.

И тут Зуфар почувствовал фальшь. Именно когда он готов был пожалеть этого благообразного, благопристойного старичка, так любящего свой родной Туркестан, свой народ, вылезла фальшь. В голосе Чокая звучало слишком много задумчивости, слишком много слез. Он переиграл. И сам понял, что переиграл.

Он замолчал и испуганно поглядел на Зуфара.

На помощь ему пришла Сефиет:

— Чем больше успехов, тем больше у Гитлера заскоков, спеси. После неудач под Москвой он обещал Туркестану самостоятельность. Даже признал президента узбека. Сейчас Гитлер в упоении от побед на юге и на Кавказе. Сейчас он заявил: никакого самоуправления в завоеванных областях с мусульманским населением. Гитлер — тиран. Гитлер сказал: «Можно допустить местных деятелей консультантами по делам оккупированных областей».

— Все ясно. Нам не по пути с Гитлером,— медленно выговорил Чокай.

Взгляд Чокая остановился на лице Зуфара. Зуфар не скрывал своего ликования. У одного хищника из-под носа урывает жирные куски другой. Зуфар не допускал, что гитлеровцы ворвутся в Туркестан. У него болело сердце, у него сжималось горло от всех вестей с фронтов. Но он не верил, что Сталинград пал. Зуфар понимал, что Чокай и Сефиет чего-то не договаривают. Теперь ему сделалось ясно: у фашистов произошла заминка. Разве турки сидели бы сложа руки? Фон Папен и розовощекий Шмидт обстоятельно просветили его в длинном узком кабинете. Едва альпийские дивизии захватят перевалы Кавказа, турецкая армия перейдет границу. Но турецкая армия неподвижна... Трабезон у самой границы Советского Союза. В Трабезоне никакого движения. Город дремлет. В порту тихо. Лишь в «Пансионе Сьюисс» идет мелкая суета среди господ министров несуществующего правительства несуществующего государства.

А Чокай снова заговорил. Зуфар так задумался, что не слышал начала...

Говорил Чокай теперь о... союзниках, о традиционной дружбе тюркских и британских народов.

— ...Принять протянутую руку англичан и Соединенных штатов. Важный шаг. Решающий момент...— Он неожиданно по-собачьи заглянул в глаза Зуфару и скороговоркой продолжал:— Большевики в союзе с ними...

— В Батуми мы не поедем. Слишком близко к немцам. Мы едем в Эрзерум, а оттуда в Тегеран,— процедила нехотя Сефиет.

— И войдем в контакт с британским посольством...— подхватил Мустафа Чокай.— Но только в контакт... И посмотрим. Время покажет.

Они говорили наперебой, пытаясь казаться оживленными, довольными.

Не ясно было лишь, довольны ли они на самом деле. Но, судя по всему, и Чокай был в смятении. Опытный игрок — он метался в выборе. Он растерялся.

Чокай не знал, на какую лошадь ставить.

Не совсем понимал еще Зуфар, почему Чокай и Сефиет разоткровенничались с ним. Он давно задумывался, чего они вообще так церемонятся с ним, так нянчатся. Конечно, они не думают о нем всерьез.

Страх, неверие в свои силы и планы, растерянность, полная опустошенность царили в этих душах. Чокай не знал, не понимал советских людей, советских узбеков. Два десятилетия социалистического строя так изменили узбеков, что они превратились для Чокая и ему подобных в таинственное, неведомое.

Чокай буквально вцепился в Зуфара, узбека, мусульманина с той, большевистской, стороны. При всем рационалистическом складе ума русского интеллигента — а Мустафа Чокай был и по образованию и по воспитанию именно русским интеллигентом начала XX века — он имел уклон в мистику. И он счел появление молодого большевика узбека неким таинственным, мистическим знаком откуда-то из потустороннего мира. Зуфар предвозвещал нечто. Зуфар стал символом, посланцем свыше. Тут мысли господина премьера путались и становились уже совсем неопределенными, во всяком случае Зуфар представлял собой нечто многозначительное.

А для смятенной, опустошенной Сефиет Зуфар стал просто оракулом. Чего здесь было больше: фантазии, физического влечения, мистики или пробудившегося внезапно неподдельного чувства, трудно сказать. Убежденный, прямой, бескорыстный, совершенно непохожий на тех, с кем она обычно сталкивалась. Сефиет поражалась его упрямству и прямолинейности, с какими он, вопреки ее предостережениям, отстаивал свою точку зрения.

Отлично зная свою среду, Сефиет сама была порождением этой среды — среды интриганства, темных политических комбинаций, обнаженного, безудержного стяжательства. Люди в окружении Сефиет исчезали легко и бесследно и не за такие высказывания.

Что с ней творится, турчанка и сама не понимала. И она пыталась убедить себя, что Зуфар нужен не лично ей, что он нужен делу, что она сумеет, используя свое женское обаяние, обратить его в свою веру, сделает его, советского офицера, тем, кем хочет.

Получалось так, что Зуфар и для самого Чокая превратился в тот оселок, на котором он оттачивал свои замыслы. Порой в минуты сомнений и колебаний дальновидный и хитроумный политик прибегал к Зуфару, к его мыслям. Конечно, Чокай, выслушав его, делал и поступал по-своему. Но что-то в гладко бритом круглом черепе Чокая откладывалось и влияло на решения и планы. Внешне же при всех случаях Чокай ничем не выдавал, что нуждается в советах большевика.

И сейчас Чокай высказывал сомнения и предположения в присутствии Зуфара не потому, что на него напала откровенность, а за тем, чтобы посмотреть, как он будет реагировать, что скажет.

Нельзя сказать, что Чокаю понравился на этот раз господин большевик. Зуфар прямо бросил:

— И те и другие империалисты, в случае чего, с удовольствием слопают и вас и ваше государство с потрохами. Но Советы не пустят в Туркестан ни тех, ни других, и ваш карточный домик просто развалится. От ваших замыслов и дыма не останется.

Скрип гнилых половиц в коридорах «Пансиона Сьюнсс» стал надоедливым, непереносимым. День и ночь министры сновали взад и вперед. Появился некий Оганов. Он представлялся всем как «Аарон Оганов, еврей, жертва Освенцима». Об Освенциме тогда мало кто слышал, но слово настораживало. Успехи гитлеровцев и... вдруг еврей в правительстве Нового Туркестана. Но Чокай твердо объявил:

— Господин Оганов — финансист. Господин Оганов известен во всем Иране и на Востоке ссудными операциями.

Раскладывая свои анкеты и пачки писем на засаленной, некогда роскошной скатерти в вестибюле «Пансиона Сьюисс», Хуршид невзначай бросила Зуфару:

— Ветер подул в английскую сторону. Еврей — министр в профашистском правительстве — вещь немыслимая, а?

Зуфар предпочел смолчать. Он знал, что загоревшиеся красные угольки в очах Хуршид приятного ему не сулят.

Делая вид, что она целиком занята расшифровкой стенограммы, девушка язвительно шептала:

— Еще одну щуку пустили в воду. Еще одного кормить будут ваши освобожденные от ига большевизма узбеки. В плохой воде и вошь заведется. Кстати, скажите, вы ведь из Хорезма? Не знаете ли там Кабани? Пира Исаака Кабани?

Зуфар не знал.

— А не мешало бы знать. Пир Исаак Шейх Али Кабани — персона. Назначен министром Внутренних Дел. Написано в карточке. Миллионер. Коммерсант. Придворный хана хивинского Исфендиара. Торговые операции с Китаем. Завозил опиум, шелк, вывозил каракуль. Надо знать, перед кем придется пресмыкаться.

«Кабани?» — смутно что-то говорило Зуфару это имя.

Бронзоволосая продолжала:

— А Кабани и сейчас проживает в Узбекистане. И благоденствует. Разве у вас миллионеры живут? Кабани деятель панисламизма. Состоял здесь, в Турции, в обществе «Каракол». За антиправительственную деятельность это общество распустили. Нет, а жаль, сидите в своем Хорезме в самой глубине лягу-

шачьего болота, у самого вашего носа вонючие пузыри всплывают, а вы и не чуете. А они с треском лопаются.

Хуршид хищно зыркнула своими желтыми зрачками по сторонам и шепнула:

— Живет он припеваючи. Не знаю, что ваше ЧК смотрит. Не таращьте на меня глаза, а вот загляните сюда. Читайте! Видите — преподаватель. Проповедует вашей молодежи высокую истину. А истина — лампа. При свете ее Навои бессмертные поэмы писал, а его эмир и покровитель шах Хусейн Байкара смертные приговоры подписывал.

Не понимал Зуфар одного: бронзоволосая была то язвительна, то добродушна, то снисходительно ласкова... Что она от него хотела, рассказывая ему о таких вещах? Почему Хуршид говорила так смело? Или она была уверена в нем?

Она не постеснялась изобразить своего отца в довольно неприглядных красках. Да, среди министров оказался и отец Хуршид. Этим объяснялось и присутствие здесь молоденькой девушки.

Она показала Зуфару на своего отца, когда он, прямой, очень высокий, с вьющейся халдейской бородой, прошел через вестибюль. В Хуршид были какие-то черточки сходства с отцом. Возможно, глаза! У Юсуфа Зюлели были тоже ястребиные глаза, но мрачные, дикие. Юсуф Зюлели держался сурово, неприступно. Он ни в чем не проявил на людях своих родственных чувств к Хуршид. А она вполне заслуживала родственной ласки. Каждый мог гордиться такой дочерью. Так думал Зуфар.

— Бойтесь его. Он мой отец, и я его знаю,— сказала Зуфару девушка, и вдруг продекламировала: «Настанет день, когда мы по стопам Тимура пройдем из Анатолии в Индию, взойдем на Гималаи и создадим союз Дагестана, Крыма, Казани, Ирана, Туркестана. Все враги Турции будут повержены».

— Что это?— удивился Зуфар.

— Стихи папеньки. Он известный поэт. Увы, он несчастный человек. Он не сошелся с Ататюрком и его честолюбие уязвлено. Он живет в родовом замке в Курдистане, ворчит на правительство и всех презирает.

Хуршид рассказала, что Юсуф Зюлели известен своими мусульманскими песнопениями и произведениями, восхваляющими фашизм. Зюлели очень влиятелен в Восточной Турции. С его помощью фашистские взгляды быстро расползаются среди бывших чиновников и помещиков, у которых кемалистская революция отняла власть и поместья.

— Такой министр из феодалов ой как нужен узбекам, колхозникам и рабочим, избалованным советской властью,— добавила, лицемерно вздохнув, Хуршид.

С некоторым недоумением Зуфар сказал:
— Даже про плохого отца не говорят так. Зачем вы?
— Просвещать тупиц доставляет удовольствие.
И она показала ему язык.

ГЛАВА XVII

Друг тот, кто зеркало, говорящее в лицо о недостатках, а не гребенка с тысячью языков, разбирающих меня за глаза по волоску.

Хафиз

Умом он — осел, изяществом — слон, клыками — кабан, а мордой — медведь, губами — верблюд, привычками — див, душой — носорог.

Иноятулла Канбу

«На всякий случай!» Зуфар не понимал, в чем дело. Но Сефиет любезно объяснила.

Создано «правительство» в Трабезоне «на всякий случай!».

Такое же «правительство» организовано в Берлине, из посдававшихся в плен. Напялили на себя немецкую форму и объявились властителями Туркестана. Плетутся в обозе Гитлера. Воображают на арбе доехать до Ташкента. Гитлер их держит для вывески. Да, она точно знает, что Гитлер заявил: никаких национальных правительств не должно быть. На Северный Кавказ — немцев. Баку — немцам. Туркестан — рейхспровинция Германии. В обозе привезут господина президента Узбекистана, а в президентское кресло не пустят...

Но кто в Турции желает, чтобы Туркестан захватили немцы? Турки сейчас затаились в притоне и выжидают. Помогают Германии, не ухудшают отношений с Англией, поглядывают осторожно на Москву. С русским медведем в драку наобум не полезешь. Печальный опыт войны 1914 года еще свеж в памяти. Саракамышский разгром, гибель семидесяти тысяч из девяноста тысяч отборных солдат — урок на века. Умеренность и осторожность! Турция ждет, когда гитлеровцы увязнут в войне. Тогда можно из Туркестана сделать провинцию. Кое-кто из турецких деятелей все еще носится с идеалами Бозкурта! — Серого волка! Но какое дело узбекам до Бозкурта! Узбекам нечего восторгаться Турцией... Узбекам ходить в лакеях у турецких пашей и эффенди?.. Бегать на побегушках?.. Пусть обозный президент из приемной Гитлера едет себе в обозе фашистской армии и мечтает о турецком пилаве в ташкентской чайхане...

— Есть в Трабезоне правительство «на всякий случай»,— тихо заговорила Сефнет.— Правительство из сильных людей, умных, жестоких, хитрых. Да, да, хитрых... Такое правительство есть. Едва фашисты вторгнутся в Туркестан, правительство сядет за стол и стукнет кулаком: «Мы, скажет, требуем!.. Мы считаем!..» Ничего не останется, как согласиться. Кому согласиться? Немцам, англичанам, американцам? Будет видно.

Кажется, Сефнет действительно вообразила, что такое правительство есть и что она душа правительства.

Чокай молчал. Он растирал череп носовым платком. От платка шел сильный запах духов. Чокай не смотрел на Сефнет и, кажется, даже не слушал ее.

— Никакого Гитлера...— продолжала турчанка.— Гитлера после войны не будет, выйдут из войны слабые. Они и сейчас прощупывают почву, нельзя ли заключить сепаратный мир. Может быть... Британия, старый друг... Добрые традиции! Старые традиции. Вернее всего, Гитлера они побьют. Англия не пустит Гитлера в Индию. Но и Британия дышит тяжело... Вот Америка?

Сефнет, служа немцам,— как понял Зуфар,— уже поглядывала по сторонам. В дальновидности Сефнет не откажешь.

Рука, растиравшая череп, остановилась. Из-под густых бровей на Сефнет смотрели карие умные глаза Чокая. Так смотрели, что болтовня турчанки оборвалась.

— А знаете, мадам,— сказал Чокай устало,— в политике без идеалов тоже нельзя. И очень трудно, когда взамен идеалов остаются... только золотые кругляшки.

Еще до этого разговора чуть-чуть приоткрылось Зуфару одно обстоятельство. Оказывается, у Сефнет знакомство с Нетчбуллом, послом Великобритании в Анкаре. Оказывается, Сефнет часто посещала аристократический ресторан «Карпича», что на бульваре Ата Тюрка, где Нетчбулл Хьюссет обедал ежедневно в определенный час. И уж не играла ли Сефнет роль той самой ниточки, которая, по слухам, тянулась от фон Папена к Нетчбуллу. Существовала же версия, что Гитлер послал фон Папена в Турцию разузнать настроение Британии. Фон Папен обедал в том же ресторане, что и Нетчбулл. Получалось, что Сефнет иногда обедает с Нетчбуллом, а иногда с фон Папеном.

И еще одно.

Вполне естественно, что элегантная женщина украшает своим присутствием любое общество. В те дни в Анкаре много говорили по поводу приезда видного духовного сановника католического мира, американского кардинала Спелмана. Что делал католический духовный вельможа в стране, населенной исповедниками ислама? Говорили, кардинал Спелман инспектирует американские благотворительные учреждения и американские женские колледжи в Турции. Но просочился слушок, что его пре-

освящеиство господин кардинал не прочь встретиться с господином Гельмутом фон Папеном. Но мало ли какие слухи бродят в столице Турции.

Вполне естествеино, что иа приемах по случаю приезда Спелмаиа присутствовали зиатные турецкие дамы и среди них обаятельиая Сефиет. Не раз ее замечали. Она бойко говорит по-аиглийски даже с американским акцентом. Госпожа Сефиет всестороиие образованна. Сефиет — светская женщина. В тех случаях, когда у иее не хватало знания языка, ей помогала переводить постояиио сопровождавшая ее юная воспитанница Парижского колледжа бронзоволосая Хуршид, дочь эффенди-помещика из восточной Турции.

Естествеино, Сефиет не спешила по возвращеиии из Аикары трубить о своих встречах с кардиналом Спелманом, фон Папеном, Нетчбуллом. В «Пансион Сьюисс» миогое доходило в искаженном свете. Зуфар понимал одно. От деятельности Сефиет во миогом зависели планы иового правительства. Зуфара злили эти плаиы. В нем все время бурлил протест. Но он себя сдерживал. Опыт подсказывал, что надо держаться в высшей степеии осторожно. Визг полицейских пуль еще и сейчас звенел в ушах. Неприятный холодок пробегал по спине при упоминании фамилии Папена. Любопытствующая физиономия Тюлегена Поэта слишком часто возникала в самых неподходящих местах, и выпуклые его глаза пристально, воровато ловили каждое движение Зуфара. Беспокоил Зуфара пытливый взгляд бронзоволосой Хуршид. В глазах Хуршид он читал любопытство, но какое? Как-то Хуршид иачала расспрашивать его об Узбекистане. В ее вопросах он чувствовал интерес. Зуфар оживился. Он заволновался. Он очень соскучился по зелени родных тополей, по воде прохладных мутных каиалов, по запахам барханов. Но живая, полная интереса, непосредственная в симпатиях и антипатиях Хуршид расхолодила Зуфара. И когда ои особеиио горячо рассказывал о своем Хазараспе, о колхозах, о новых школах, о здоровых веселых детях, об устремленной советской молодежи, бронзоволосая красавица вдруг сказала:

— Странно. У вас, у большевиков, так все прекрасно, так хорошо, а вы оставили все, ушли... Ваши сражаются, борются, а вы?..

Ее пухлые губы состроили брезгливую гримаску.

— Или блеск золота и вас, идейных, слепит...

Зуфар вспылил:

— Мы, узбеки, знаем: даже если в чужой стране идет золотой дождь, а в своей — каменный, лучше жить на своей земле...

Сразу Хуршид осеклась и пробормотала что-то вроде извинений.

Ему пришлось замолчать. Со своего кресла Сефиет угрожающе смотрела на него. Ему показалось, что красный рот ее вдруг

приобрел зловещее выражение, и он вспомнил, что турчанка предупреждала его:

— На вас еще ржавчина большевизма... Следите за собой... Длинный язык укорачивает жизнь... Не все так терпеливы, как я. Берегитесь!

Зуфар ничего не ответил бронзоволосой Хуршид. Но он задумался. Неужели девушка не просто избалованная богатством особа, изнеженная дочь турецкого вельможи? Что-то в ней кроется... Что?

На такую мысль навел его один случай.

Как-то он шел через вестибюль пансионата. За столиком, по обыкновению, сидела Хуршид. Около нее, спиной к Зуфару, стоял невысокий, очень плотный человек в визитке и что-то живо ей говорил. Он обернулся, и Зуфар увидел знакомую черную круглую бородку, карие глаза и бледное расплывчатое лицо.

При виде Зуфара человек ухмыльнулся и приветствовал его легким поклоном.

«Где я его видел?» — думал Зуфар. И вспомнил: он, как две капли воды, похож на того странного прохожего, который уклонял от встречи с ним по дороге в Хазараси... «Тот самый ишан с мазара, о котором рассказывала Оля».

Сердце сразу защемило. Зуфар вспомнил голубые глаза Оли, тихий ее смех, золото кос, и ему сделалось безмерно тоскливо. Он даже не хотел сейчас думать, а каким образом этот бородач, отшельник пустыни мог очутиться в Трабезоне. Он молча разглядывал его и удивлялся, до чего мало европейский костюм изменил внешность этого человека. И в щегольской визитке, в отутюженных брюках и лаковых туфлях он оставался ишаном захудалого полуразрушенного мазара. Брезгливость явно выразилась на лице командира. Ишан озорно блеснул глазами, оттопырил свои расшлепанные губы и заговорил. Он сказал такое, что заставило Зуфара вздрогнуть.

— А сеньор Прокофио,— обратился ишан к бронзоволосой Хуршид,— просил передать вам, мадемуазель, что он благополучен и здоров.

Сеньор Прокофио! Майор! Откуда его знает ишан? И почему он должен передавать что-то бронзоволосой Хуршид? Нелепость какая-то.

Девушка смотрелась в зеркальце и без всякого оживления заметила:

— Рада, что сеньор Прокофио вспомнил о нас. У сеньора много дел.

— Сеньор Прокофио отбыл в Иран.

Искоса ишан поглядел на Зуфара. «Он проверяет...» — думал командир, старается, чтобы я как следует расслышал имя сеньора Прокофио. Он особенно подчеркнуто и громко повторяет это имя».

— Благополучно доехал?— В вопросе Хуршид был явный интерес и даже оживление.

— У сеньора Прокофио,— ишан снова глянул на Зуфара,— нашлись друзья во Французской миссии. Военный атташе сражался в Испании под командой сеньора Прокофио под Гвадалахарой и Барселоной. Сеньор Прокофио получил в миссии паспорт и деньги.

Ишан хитровато посмотрел на Хуршид, на Зуфара, внезапно огляделся и вполголоса добавил:

— Сеньор Прокофио почтительно целует ручки мадемуазель Хуршид. Сеньор Прокофио надеется поцеловать ручку мадемуазель в недалеком будущем в городе роз и куполов Исфагане.

Бросилось в глаза, что щеки Хуршид залил нежнейший румянец.

Она послала воздушный поцелуй важно удалившемуся ишану. С солидной и медлительной походкой не совсем вязалось, что рука у него подергивалась.

Хуршид счастливо засмеялась, когда ишан ушел, и принялась подкрашивать губы. Она ни малейшего внимания не обращала на стоявшего около стола Зуфара... вроде его и не было.

Похоже было на то, что разговор касался лишь Хуршид и широколицего ишана. Очевидно, командира он не касался. Так оставить это нельзя. Зуфар решительно направился к двери. Надо догнать ишана, выяснить, в чем дело.

— Вы спешите?— остановил его вкрадчивый голосок бронзоволосой Хуршид.

Резко, на одних каблуках, Зуфар повернулся и спросил:

— Что все это значит?

— А что вы имеете в виду?

— Где Петр Кузьмич? Майор?

— О чем вы говорите, господин большевик?

— Но... этот тип говорил сейчас...

— Этого типа госпожа Сефиет прочит в министры... кажется вакуфов. Он... его зовут Бекмурзаев.

— Он ишан из развалин в Каракумах. Я его видел там.

— Ну и на здоровье. Но, Зуфар, вы хотите слишком много знать. Сколько вопросов!

— Может, этот превосходительный ишан и про дядю Сашу знает?

— Моряк, о котором вы говорите, умер в госпитале.

С сочувствием Хуршид посмотрела на потемневшего лицом Зуфара. Помолчав, она добавила:

— И я хочу сказать — совсем необязательно вам разговаривать с Бекмурзаевым. Он ничего больше не скажет. А вам вообще лучше забыть обо всем, что здесь говорилось... Забудьте до Исфагана...

Больше Хуршид не пожелала ничего говорить. Она предоставила Зуфару возможность гадать, сколько ему угодно. Какое имеет отношение ишан Бекмурзаев к Петру Кузьмичу? Почему понадобилось Хуршид и Бекмурзаеву осведомить в такой форме Зуфара о том, что Кузьмич уехал из Турции. Что, наконец, из себя представляет Хуршид?

Словно раздумывая вслух, Хуршид проговорила:

— Ну что ж, Хуршид подождет до Исфагана...

Они действительно уезжают в Иран. Наступила пора действовать. Так заявила Сефиет на следующий день.

Она вызвала всех к Чокаю.

Равнодушным, гугнивым тоном Муслим Турсунбаев объявил состав временного правительства. Премьер-министром он назвал достоуважаемого господина Мустафу Чокая...

Скромно сидевший в кресле и вытиравший фуляровым платком свой бритый череп, Чокай слегка приподнялся и чуть поклонился. Послышались разрозненные хлопки.

В списке министров Зуфар снова услышал фамилию Кабани.

И вдруг мелькнула искорка где-то в самых глубинах сознания. Кабани! Ведь еще отец ему говорил про какого-то Кабани. Ведь отец спас его из рук разъяренных дехкан... А! Вот оно в чем дело. Ведь это вельможа хивинского двора Ташхаули господин Исхакхаджи, а фамилия его Кабани. Вот, значит, кто такой Исхакхаджи, мудрец, ученый, философ, почтенный пенсионер, уважаемый гражданин Хазараспа.

Открытие ошеломило и озадачило Зуфара. Он пропустил мимо ушей перечень имен в списке, который читал гугнивый Муслим.

Несколько министров сидели здесь в гостиной. Они очень скромно приняли поздравления. Слово взял Чокай. Он говорил немного. Две-три фразы он уделил великим идеалам Турана и оценке международного положения. Час пробил. Вернее, скоро пробьет. Необходимо всему правительству отправиться за границу. Ехать придется группами. Сбор в северном Иране, в Мешхеде. Там ждать указаний.

Кто-то скрипучим голосом спросил о средствах.

Быстро заговорила Сефиет. Ее выразительное лицо так и дышало значительностью. Она твердо сказала, что средства, и притом большие средства, есть.

— Из фашистских источников?

— Нет, с фашизмом новое правительство ничего общего не имеет. Сундуки фашистов покрылись плесенью, ключи ржавые, ничего не отворят без скрежетов. Источники финансирования очень верные, но секретные. Достаточно, что они знают министра финансов Аарона Оганова.

Министр финансов Оганов привстал и поклонился.

— И просьба, уважаемые господа,— все держать в абсолют-

ной тайне,— голос турчанки зазвучал жестко, резко,— неосторожное слово, намек могут все испортить. Мы — члены «Лиги Серого волка», разрешенной турецким правительством. Наши идеалы — Великий Туран.

Мустафа Чокай официально познакомил присутствующих с комендантом экспедиции.

— Господин Зуфар — узбек, мусульманин,— сказал снисходительно Мустафа Чокай, воспитан в советском духе, он, так сказать, большевик.

В гостиной произошло даже некоторое тревожное движение. Все лица повернулись к Зуфару.

Но Чокай продолжал:

— Не беда... Нам убежденные люди нужны. Господин Зуфар неподкупен... Господин Зуфар офицер, военный человек. Он воевал с Гитлером. Он ненавидит фашизм. Фашизм претит и нам. Сейчас Зуфар еще думает о Советах, о Сталине. Но скоро ни Советов, ни Сталина, ни большевизма не будет. Но жизнь сохранится... Мы не требуем от господина Зуфара, чтобы он менял убеждения. Он изменится сам собой... Господин Зуфар узбек и мусульманин... Этим все сказано...

Он жестом остановил Зуфара, не позволив ему заговорить, и разъяснил:

— Группа членов правительств выедет через восточные провинции во вторник. Через Эрзерум в Тебриз. Паспорта и документы заготовлены. Денежные средства имеются...

— Откуда средства?— спросил все тот скрипучий голос.

— Я уже сказал,— нетерпеливо ответил Мустафа Чокай.— Денег у нас достаточно,— и он улыбнулся,— деньги не пахнут.

Кто-то спросил, едет ли с ними Мустафа Чокай. Сефиет вмешалась:

— Господин премьер нездоров. Даже если муха летит мимо, она причиняет ему боль... Господин Чокай задержится в Турции проконсультироваться с докторами, но час пробьет — и господин Чокай будет с нами.

Тогда снова спросил скрипучий голос:

— Какими же средствами располагает наше правительство?

С досадой Сефиет назвала шестизначную цифру.

— В долларах?— спросил все тот же голос. Все обернулись. Скрипучий голос принадлежал Юсуфу Зюлели.

— Нет, в персидских туманах. Я понимаю, от шелеста долларов у некоторых сердцебиение, приятная истома. Но мы едем в Мешхед. Там персидская валюта...

Юсуф Зюлели сказал:

— Не густо... Меня назначили министром, и я вправе сказать свое слово. Не густо... Наши хозяева походят на того мешеди, который приказал жене на обед сварить отвар из отрубей, а пообедав, обрадовался: «Превосходное кушанье! Вынь, дорогая

супруга, отруби из котла, высуши, и они станут опять такими же, как раньше!»

Поднялся шум. Но Юсуф Зюлели проворчал:

— Кричите о высоких идеалах. Идеалы идеалами, деньги деньгами. Пророк говорил: твой дирхем для сей жизни — твоя вера для потустороннего мира. И пророк еще говорил: не вверяй женщине дел государства, ибо она и в эти дела внесет похоть и разврат.

— Пусть в раю, где нас все равно не будет, хоть ослы кричат,— грубо парировала Сефиет,— но стоит ли так много говорить о деньгах.

Очень хотелось Зуфару поглядеть на Юсуфа Зюлели. Но он сидел в самом уголке гостиной в тени и к тому же все время прикрывал лицо ладонью, точно он не хотел, чтобы видели его взгляд.

Все замолчали, и Сефиет начала что-то записывать в серебряную записную книжечку. Всем сделалось не по себе. Книжечку Сефиет не выпускала из рук. И с книжечкой были связаны кое-какие слухи, очень неопределенные, неприятные. Почему-то синяя звездочка на подбородке молодой женщины вдруг стала резко заметной. Может быть, потому, что Сефиет неприятно побледнела. Говорили, что нельзя доводить Сефиет до того, чтобы она бледнела.

Давно уже Зуфар приметил, что Чокай любит порисоваться. Казалось, все решено, казалось, каждый знал свою роль, а Чокай принялся оправдываться. Перед кем? В чем?

Очевидно, когда Чокай говорил, перед глазами он видел некое бесплотно символическое существо — самое ханум Историю. Господин Мустафа Чокай уже сыграл в истории Туркестана известную роль и мнил себя исторической личностью. Видите ли, правителями вселенной выступали извечно представители великой нации. Турки... От Туниса в Африке до Йемена, Ирана, Китая, Индии, Крыма, Афганистана, Белуджистана, Бухары на Востоке и Дальнем Востоке. Полмира!

Он помолчал и снова потер череп платком.

— Мы переживаем историческую эпоху! Снова судьбы мира в наших руках. Казалось бы, именно сейчас надо рука об руку... Но... Оказывается, есть «но». Большое «но». Конечно, народы Туркестана — тюрки. Обратите внимание на это «ю»! «Ю», но не «у». Столетиями руководили турки. Столетия народы Туркестана уважали турка как старшего брата... Шли в одной упряжке с османами... Стамбул был светочем, прибежищем наших горестей и печалей, пока Туркестан был под пятой России. Сейчас, когда германцы подавили Россию, когда тяжелый груз свалился с плеч народов Туркестана, народы Туркестана воспрянут и... Парадокс истории! Помните Энвера-пашу, вице генералиссимуса, зятя халифа. Он принес в Туркестан великие

идеи. Он нам импонировал! Он нес идеи оттоманизма, пантюркизма. Энвер-паша держал в руках судьбы тюрок, но он, Энвер, своей рукой убил идею. Он, извините, зарвался. Совершил непростительную ошибку. Он дал себя убить. Он, собственноручно убивший Военного министра Казим-пашу на пороге его кабинета, не имел права подставлять голову под пулю большевика... Энвер-паша, полководец, завоеватель, не смел позволить затоптать себя копытами вражеских коней... На Энвере закончился тысячелетний период, когда сменяются пророки. С его гибелью родилась идея туркестанизма... без турок, без опеки. Мы созрели и можем управлять собой без турок.

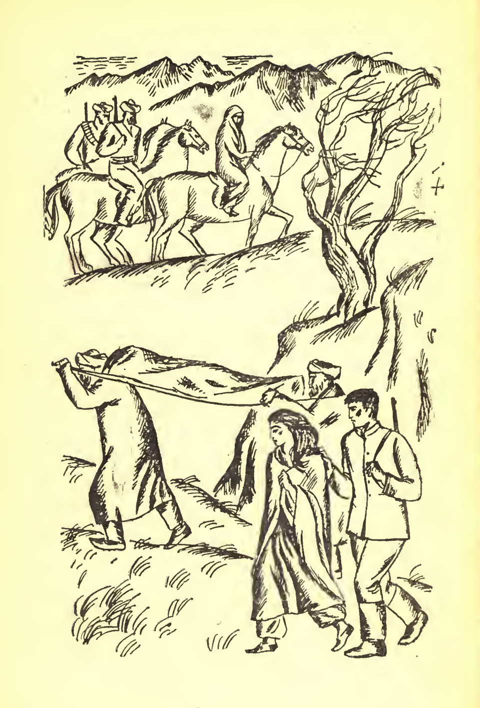
Круглый череп подвергся вновь усиленному растиранию.

— Теперь ведущая роль среди тюркских народов перешла к туркестанцам. Теперь туркестанцы поведут Азию. И роль руководителей Азии перешла к нам.

Своими карими пустыми глазами он обвел сидевших в маленькой гостиной.

Всем сделалось скучно и неловко. Похоже было, что все принюхиваются к запахам, доносившимся из столовой.

III ПРИНЦЕССА КУРДОВ



ГЛАВА I

Пустился я в степь странствований
на дохлой кляче стремления моего.

Низами

Путешествие сквозь сон.

В мутной мари вырастающие серые великаны в шапках из снега. Пропасти с обледенелыми спусками. Туманы, космами окутывающие остроконечные скалы. Шум водопадов в небесах и где-то под землей, далеко внизу.

Шли, ехали, ползли на перевалы машинально. Путешественников толкнули в спину, и они шагнули в хаос Курдских гор. Их путь через Курдистан казался Зуфару слишком поспешным. Он походил на бегство.

Оно и было бегством. Хуршид со злорадством сказала Зуфару:

— Хи! Властители в Анкаре осторожны. Подпалили, что ли, хвост петуху Гитлеру под Сталинградом. Вдруг Исмет Иненю «заметил» трабезонскую компанию и заявил, что господа вроде квартирантов «Пансиона Сьюисс» не могут оказать никакой услуги турецкому народу. Идея Великого Турана грозит бедами и несчастьями Турецкому государству. Полезна только иностранцам. И нашим приказали не дымить и убираться вон. Мадам рвет и мечет. Господин Мустафа тихонько отстранился, вероятнее всего удалился за пределы Турции, а нам порекомендовали упаковывать чемоданы. Вот тараканы и кинулись в щели.

Сефиет молчала. Она плохо переносила тяготы пути. Взгляд ее потух.

Шли потому, что некуда было деваться.

Все в тумане, в плохом сне. Внизу и вверху цепочка всадников. Кони робко, с дрожью щупают копытами обледенелые камни. Кони сами заледенели. Верблюды скользят, страдальчески вздыхают. Страдание в красивых их глазах под мохнатой, побелевшей от изморози шерстью. Верблюды, все белые, шагают в молчании. Длинные, бесконечные вереницы верблюдов,

груженных ящиками с надписями по-немецки: «машинное оборудование», «медикаменты».

Курды ворчат. Шагают, скользят по льду и ворчат. Их злит господин Тюлеген. Болтун он. В такой холод, туман приказал — сгори его отец! — завязать колокольцы на шеях верблюдов тряпицами. В тумане, в ночной тьме долго ли растерять верблюдов на такой трудной дороге. А толстый высокомерный эффенди Тюлеген грубо командует, приказывает завязать колокольцы, чтобы звон колокольцев не отпугивал ангелов. Каких ангелов? Ангелы тоже, наверно, замерзли. Ангелы парят в голубизне семи небес. Там тепло. А курды заледенели. Или Тюлеген боится турок пограничников? Курды прямо говорили Зуфару, что по здешним тропам честные купцы не путешествуют. Едут те, кто контрабанду везут.

Сегодня утром во дворе караван-сарая замерзли курица и ягненок. Кони едва передвигают застывшие ноги. Всадники вмерзли в седла. Иней побелил бороды, усы, оружие.

Верблюды скользят бархатными лапами по щебенке. Тяжкий груз толкает их в пропасти. Целые пирамиды ящиков на их спинах. Тяжелые ящики.

С вершин дует леденящий ветер. Бросает в лицо песок, снег. Тюлеген Поэт весь закопался в шерсти. Он закутался в бараний полушубок, напялил на нос меховую лисью шапку, залез в меховые сапоги выше колен. Он не говорит, а сипит с присвистом. Он ужасно не любит путешествовать, да еще по горам. Молчит министр Юсуф Зюлейи. Прямой, черный, в черной курдской чухе, на вороном коне, он всегда в одиночестве едет впереди. За всю дорогу он и слова не сказал приветливого дочери своей Хуршид, но он не может скрыть, да и не скрывает своей заботы о ней. Во всех трудных местах, на опасных карнизах, на переправах через потоки он стоит наготове и рука его приходит на помощь ей. И все делает безмолвно. Без улыбки.

Совсем застыла турчанка. Она не раскрывает рта, не отдает приказаний. Курды и не смотрят на нее. Они не привыкли подчиняться женщине. Они смотрят на Зуфара. Курды чутьем понимают, что он пленник, но он военный. Пусть он приказывает.

Дорога все хуже. Лошадь сорвалась с обледенелой тропы, покалечилась. Господина Тюлегена спасла шуба: отделался ушибами. Сняли седло, сбрую, но лошадь так и не поднялась. Пришлось одному из курдов спешиться, отдать большому толстому Тюлегену своего коня. Большое брюхо — большой человек!

Холодный порывистый ветер относит голоса людей в ущелье. Никак не объяснишь курду, что господин Тюлеген, толстый, рыхлый, не дойдет пешком. Перевал очень крутой. У господина Тюлегена по щекам текут слезы. Не то от ветра, не то от страха. Господин Тюлеген пыхтит, сипит. У него одышка

Курд бьет лошадь плетью. Тюлеген вздрагивает. Плеть случайно задела его бедро. От боли у него еще больше слез.

По обледенелому каризу Зуфар пробирается к вождю. Кричит сквозь льдистый ветер, объясняет. Все без толку. Наконец под скалой, над пропастью удается договориться. Курд превыше всего ценит деньги. Надо «подковать ишака Карима». Просто дать курду взятку, бахшиш. Толстяк долго торгуется. Ветер толкает в пропасть, а он торгуется. Копеечник. Не понимает, что из-за копейки можно оказаться на дне пропасти.

Темнеет. Ветер усиливается. Тюлеген раскошеливается. Руки не двигаются. Тело застыло. Удивительно, Хуршид еще может смеяться над Тюлегеном. Подтрунивает: «Скаред! Ростовщик!»

Выносливость в пути, прекрасное настроение не оставляют бронзоволосую и на стоянке. Смех ее звучит колокольчиком.

А чего тут смеяться, веселиться? Песок, щебенка. Сухой камыш шелестит в низине. Кучи навоза, колдобины в замерзшей глине. Полуразвалившиеся мазанки, полные дыма и чада. Над всем небо серое, тучи серые.

В жестяном чайнике на костре кипит вода. И Тюлеген оттаивает первым. Под ржание лошадей, стоны верблюдов он разглагольствует. Скучно, не к месту он просвещает безбожников курдов.

Он, Тюлеген, терпит лишения пути со священной целью. Муки усталости, холод, опасная дорога — все это испытания стойкости и мужества мусульманина, предопределение свыше. Он совершает вторичный хадж, а кто был два раза в хадже, удостоится места в раю. Незаметно для себя он принимается рассказывать о трудностях путешествия в Африку, в Камерун, к негритянскому шейху.

— Неужели вы забирались в Африку? А в Америке вы не были? — заговорила Хуршид. Ее щеки раскраснелись и волосы распушились. Хуршид выглядела так, будто и не ехала в тряском седле всю ночь и день. Она была способна еще подтрунивать. Чего никак нельзя было сказать о Сефиет. Совершенно разбитая, подавленная, она дремала, завернувшись в одеяло, у костра, ожидая ужина.

Хуршид продолжала с лукавой улыбкой:

— Не подобает такому важному лицу, как вы, Тюлеген, обманывать наивных горцев. Увы, никто из них не ездил даже в близкий Багдад.

— Всякая истина есть ложь, а ложь есть истина, о предел красоты! — галантно воскликнул Тюлеген.

— То, что вы лжец и лицемер, я давно приметила...

Тюлеген мог бы обидеться, но подали еду. Жареное козье мясо было жестко, пахло дымом.

Тюлеген выразил неудовольствие и начал вслух мечтать о плове.

Хуршид воскликнула: «Лучше сегодня яйцо, чем завтра петух!»— и принялась уплетать мясо с завидным аппетитом. Ветер хлопал ветхой дверкой. Снег вился над мисками, в темной низкой пещере веяло льдом от каменных заиндевевших стен. Но путники радовались приюту. Даже курд, отдавший коня Тюлегену, после ужина принялся петь боевые курдские песни.

А наутро — опять в бесконечный путь по горам с серыми боками и облаками, ползущими через перевалы.

Внезапно возгласы и говор заставили Зуфара подогнать своего конька. Толпа курдов сгрудилась около бодрой, оживленной Хуршид. Ее жемчужные зубки поблескивали даже в сером тумане и влекли рыцарственных горцев. Так показалось сначала Зуфару. Но, подъехав ближе, он увидел на тропинке груду разбросанных досок и металлических предметов, запакованных в промасленную бумагу вперемешку с коробками, на которых значилось: «пирамидон, аспирин». Один из ящиков разбился вдребезги о камни.

Спешившиеся курды сбивали гвоздями ящик и гоготали.

— Эй!— закричал один из курдов, увидев подъехавшего Зуфара.— Что мы везем? Девушка не знает, как вот это называется?— протянул он в поднятой руке затвор пистолета.— А ты знаешь?

В ящике были части разобранных пистолетов.

Очаровательно улыбнувшись, Хуршид посмотрела лукаво на Зуфара:

— Откуда господину Зуфару знать? Он же не врач?

Один из курдов захохотал. Он гарцевал над пропастью на коне и показывал рукоятью плети на тропинку:

— А вот здесь проехали турки. И совсем недавно.

— Откуда, Тадаш, ты знаешь?— задала вопрос Хуршид.

— Смотри!— На камнях валялись свежеобрубленные ветки шиповника.— Кто-то рубил их клинком, забавляясь.

— Турки ехали вот сюда!— воскликнул Тадаш.— Ветки летели вперед и в одну сторону. Вооруженные турки проехали. Турки с саблями. Пограничники! Опасные. Они за такие товары всех вас арестуют. Нельзя везти такие лекарства из Турции в Иран.

Тадаш скалил зубы, пугая Хуршид. Но она не пугалась.

Она расположила к себе свирепых горцев тем, что говорила с ними по-курдски. Они отдавали ей почести принцессы. Они не спрашивали ее, откуда она знает курдский язык. Сочли ее курдянкой и готовы были положить теперь головы за нее.

«Когда вы украсите мой дом?»— спросил начальник отряда Тадаш, вождь могучего рода. На что Хуршид, скромно опустив глаза, в тон ему сказала:

— Сердце мое влекут родные горы, но вы не скромны, мой вождь. Ваши слова — гулкий звон пустого глиняного хума! Вы пользуетесь беспомощностью и беззащитностью молодой женщины.

И все курды одобрили гордость Хуршид и дерзкие ее слова и осудили разнузданный язык вождя, ибо белобородых уважают в Курдистане, но не таких, у кого борода побелела на мельнице. Вождь Тадаш был стар и белобород.

Путь их тянулся нескончаемыми перевалами, долинами, спусками, подъемами, снежными буранами, ледяными ливнями.

Иногда очень редко попадались каменные селения.

По горам низко ползли холодные, неповоротливые тучи, разражавшиеся то снегом, то градом.

Тоскливую дорогу выбрала Сефиет. И опасную к тому же. Курды утром видели следы лошадей и пришли к мнению, что это опять те турки. Тюлегеи застонал и возопил:

— «Ангелы Анкир и Мункир, грозные, с огненными мечами, придут к могилам предателей и так сдавят землю, что из грешников изменников источится молоко матерей их. И грешники эти не получат пропуска в рай. А праведники и люди, честно выполняющие обязательства, получат доступ в райскую обитель, сказав лишь два слова — «Хаджи Абдулла».

Курды не слушали его и все мрачнее поглядывали на щебнистую тропинку.

Лишь они и Зуфар видели на ней следы и тревожились. Курды боялись осложнений с пограничниками. Зуфар осмотрел вьюки. Он отодрал плохо держащуюся филенку в ящике с надписью «машинное оборудование» и убедился, что в пергаментную бумагу упакованы части разобранных пулеметов. Караван Сефиет вез оружие.

ГЛАВА II

Как я устал и от людей и от гор на людском пути, о Хызр, покровитель странников! Помоги мне своей благосклонностью!

Хафиз

Три рода клятвы есть у мусульман: «таъли», «ваъали» и «биъали». Все они значат: «Клянусь!» Но каждая из них имеет свой сокровенный смысл и выражает степень серьезности клятвы от невинного обещания до страшного, смертельного заклятия. С женской непосредственностью Сефиет объединила все три клятвы вместе, когда Юсуф Зюлели позволил себе тогда в

холле «Пансиона Сьюисс» не только выразнть самостоятельное мненне о скудностн финансов правнтельства несуществующего государства, но н понронннзровать на счет высказываннй турчанкн.

Плохо он знал Сефнет. Во время путешествня она нн словом не намекнула, что помннт злоязычне Зюлели. Умный скрывает мыслн в сердце, глупый держнт на языке.

Члены правнтельства направнлнсь нз Эрзерума по большой Тебризской дороге в Иран. И Сефнет следовало поехать вместе со всемн, а не сворачнвать на юг. Горы Курдистана суровы, перевалы прячутся в тучах. Порой н летом онн разражаются снежнымн метелями.

Еще в Трабезоне стало известно, что Юсуф Зюлелн должен заехать в свой замок Тхубн в Курднстане. Там его ждалн какне-то важные дела. Юсуф Зюлелн должен был к тому же захватнть нз Тхуби «персон», нмена которых храннлнсь в секрете.

Почему-то в Эрзеруме Сефнет вдруг решнла тоже поехать в Тхубн. Вполне благоразумно Юсуф Зюлели предупреждал, что дорога трудна н просто опасна.

— Ах, опасна!— оживнлась Сефнет.— Тем лучше. Мы поедем через горы, а вы, Юсуф-ага, будете нашнм щнтом.

Ястребнные глаза Хуршнд сделалнсь злымн. Она надерзнла:

— У нноходца нет жнра — у беспутного нет спокойствня.

Хуршнд не столько соглашалась со своим суровым молчаливым отцом, сколько высказывала лнчное мненне. С отцом она держалась отчужденно. На то у Хуршнд нмелнсь достаточные основания. Случай соеднннл нх в Трабезоне, н оба онн скорее тяготнлнсь этнм.

Но Хуршнд всей душой восстала протнв предложения свернуть нз Эрзерума на юг.

Однако Сефнет решнла. Мнннстры отправнлнсь по хорошей дороге, а караван двннулся по караванной тропе к перевалам Сулеймания и Керманшах.

Мукн путн ожесточают. Сефнет грубо обрывала всех, кто обращался к ней с вопросами.

— Мне надо в Исфаган,— заявила она резко.— У меня соображення! Не лезьте не в свон дела!

Конечно, Сефнет нмела власть. Она могла разговарнвать начальннческн. Но надо знать меру. Щурясь на ветру, Юсуф Зюлелн посмотрел на нее:

— Женщнна — ннчтожество...

Он больше не промолвнл нн слова. Он больше не вмешнвался в дела каравана н больше, чем когда-лнбо, погрузнлся в молчанне. И, как всегда, ехал один далеко впереди.

Кто станет спорнть с женщиной, когда женщина госпожа, а в руках ее золото?

Враг гордеца — аллах. Имеино он за гордыию госпожи Сефиет обрушил иа караван селевые потоки, снежиые обвалы. Сефнет и ее спутиикам пришлось испытать все лнщення, какие можно придумать на скалнстых тропах, подъемах, спусках, бурных переправах, крутых перевалах, иа шатких карннзах, во время дымиых ночлегов в пещерах, кнщащнх блохами н бараньими клещами.

И в довершенне всего иочью в грозу и бурю нсчезла часть верблюдов, почти половниа. Исчезлн н около сорока курдов нз охраны.

Тадаш пожимал плечами: «Они не из моего племени. Мы — курды шадуллу. Они — курмаиджн. Плохие люди... Воры настоящие».

Поиски ии к чему не привели. Зуфар н Тадаш скиталнсь в лабирииге гор и долнн трн дия. Тюлеген ездил куда-то чуть ли не к самому озеру Ваи. Верблюды с вьюками нсчезли без следа.

— Он за все мне ответит,— сквозь зубы процедила Сефиет, поглядывая на одиноко сидевшего иа камне Юсуфа Зюлели.

— Ои ии при чем,— возразил Зуфар.— Хоть Юсуф Зюлели н могущественный человек здесь в горах, хоть он н был миого лет владетельиым беем всего саиджака Тхуби, но сейчас он мало здесь зиачит. Да к тому же он всегда не любил курдов и онн до сих пор платят ему тем же, а без помощи курдов он не смог бы... И вообще иевероятно, чтобы Юсуф Зюлели, вельможа, политик... Невероятио...

Но переубедить Сефиет было невозможно. Она не могла спокойно смотреть иа Юсуфа Зюлели. Три клятвенных обещания жглн ее мозг.

На ближайшем привале в огромиой мрачиой пещере, служившей жильем пастухам, турчаика расположилась сколь можно удобиее иа воиючих козьих шкурах и, кутаясь в шаль от произительиой сырости, подозвала Зуфара н что-то уж очень ласково заговорила с ним. Она взяла руку Зуфара в свою иежную ручку и тихо ему шептала. Она умела говорить так, чтобы ласка проиикала в душу, чтобы голос ее пробуждал в человеке, даже чужом, самые сладкие помыслы и желания.

Слова Сефиет не былн слышны у большого костра, где грелись после тяжкого перевала остальиые путники, но все видели, что турчаика о чем-то просит Зуфара.

Беседа затянулась. Все чувствовали себя неудобно: неприлично, когда молодая женщина так разговаривает с мужчиной при всех. Но Сефиет ие стесиялась. Возможио — и впоследствии это подтвердилось,— турчанке именно нужно было, чтобы все видели и знали.

Вдруг Зуфар вскочил. Все заметили, что он вырвал свою руку. Он встал во весь рост, едва не задев головой свод низкой пещеры.

Сефиет громко спросила, так громко, чтоб все слышали:

— Да спросит бог у твоего сердца! Ты сделаешь?

И все с тревогой услышали ответ Зуфара:

— Мерзкая душа женщины!

Все встревожились потому, что слова Зуфара звучали оскорблением.

И тогда угроза послышалась в ответных словах Сефиет:

— Тебя убеждать все равно, что кипятить котел над свечкой!

Все еще больше испугались бы, если бы слышали, что сквозь зубы сказал Зуфар: «Восточный мудрец удивлялся: почему для того, чтобы познать женщину, надо с ней переспать. Но это касается, видно, всех женщин мира, кроме тебя. Только теперь я узнал, кто ты».

Пухлые губы Сефиет задрожали. Она опустила ресницы и проворковала: «У свалившегося с коня всегда конь плох. Не играй с огнем!»

Никто не понял, о чем шел разговор. Но воды текут, а песок остается.

Никто не заметил, чтобы Сефиет и Зуфар вернулись к разговору в последующие дни. Зуфар даже не подходил к Сефиет.

Он сказал Хуршид, когда мглистым утром помогал ей взбираться на коня:

— Мне нет дела до всех интриг вашей компании. Но вы мне симпатичны, мне вас жаль.

— О!

Из щелочки башлыка пытливо смотрели ястребиные глаза. В них мелькали искорки смеха.

— И почему вы меня жалеете?

Голос звучал из-под башлыка глухо. Ветер перевалов гнал острую ледяную крупу, а курдская принцесса смеялась.

— Не шутите. Юсуф Зюлели — ваш отец. Его подозревают. Ему угрожают.

— О, отец ненавидит турчанку, но он упрям. Он раб своей идеи, а его идея — Великий Туран... А верблюдов... Верблюдов забрали со всеми ящиками курды...

В глазах ее Зуфар прочитал вдруг торжество: «Курды! Молодцы курды!»

Да, Зуфар давно уже отказался понимать Хуршид.

Он мог только сказать:

— Остерегайтесь Тюлегена!

— Суслика Тюлегена? Да он способен только на то, чтобы стащить в кухне мясо, припрятать его и обедать пойти к соседу.

— Нельзя уверять, что пес не укусит, что лошадь не лягнет.

— Байбак Тюлеген и ружья боится. Руки у него трясутся. Но за ваше предостережение спасибо. От себя же скажу — берегитесь, Зуфар. Не играйте с огнем. Госпожа Сефиет не прощает... Никому и никогда.

Любовные связи прекрасной Сефиет отнюдь не шли от какого-то природного ее распутства. Скорее она была холодна. Своей красоте, своей неотразимости она знала цену. Ее холодность позволяла ей использовать свое женское обаяние в таких делах, где не помогали ни расчет, ни дипломатия, ни золото. Предложением своей благосклонности она заставляла политических деятелей принимать очень необдуманные, порой рискованные решения. Говорили, что у ее ног был не один министр, не один посол великой державы. Они очень дорого платили за свои связи с Сефиет, платили часто своим положением, карьерой.

Но так про Сефиет только говорили. Никто не имел доказательств. Странно, никто не смел называть Сефиет распутницей. Никто никогда так ее и не называл. Отзывались о ней как угодно: женщина-змея, дракон, Борджиа, Медичи, женщина-делец. Но оскорбить ее не решались. Ее боялись, но мужчин она влекла к себе с неотразимой силой. Ее благосклонности добивались многие. Но никто не хвастался успехом у нее. Так, видимо, умела Сефиет обставлять свои дела-делишки, что никто не смел распускать язык.

Очаровательная турчанка отнюдь не делала из своих похождений тайны. Скорее напротив. Она любила эксцентричные появления в свете в обществе очередного высокопоставленного возлюбленного. Блистала дорогими туалетами, выставляла напоказ себя и своего поклонника.

Так как за ней всегда тянулся целый хвост мужчин, порой трудно было сказать, кто из них является ее сегодняшним фаворитом. Но когда было необходимо, с хладнокровием опытной интриганки Сефиет едва заметным жестом или словом как бы выдавала свою страсть и компрометировала якобы себя и своего любовника, ставила его в двусмысленное положение. И человек сдавался, терялся, шел на уступки, лишь бы потушить скандал. Говорили, что всяк, кто попал в сети красавицы, в конце концов будет вынужден промотать собственную душу, дать растерзать свое тело, предать семью, расточить состояние, даже погибнуть. В средние века таких демонов в образе женщин топили, засунув в грубый холстяной мешок, в Босфоре, а в Европе сжигали на кострах. В двадцатом веке Сефиет безнаказанно вертела и крутила министерствами и посольствами. Всегда ли безнаказанно? Случалось, что и на нее обращали внимание официальные круги. Совсем недавно ее выслали из столицы в захолустный Полатлы. Но ненадолго. Властная рука вернула ее, торжествующую, сияющую, блистательную, в Анкару.

«Дипломат в шелку»,— называли Сефиет вслух. «Начальница контрразведки»,— шептались по углам.

Отказать в дипломатических способностях ей не смели. У нее был муж, Муслим, слабый, безвольный. Все знали, что первую свою жену он убил из пустого подозрения. Как он терпел распутство почти открытое жены своей Сефиет, никто не мог понять. Но все эксцентричные «романы» Сефиет удивительно совпадали с очень важными и ответственными командировками ее супруга. Он уезжал часто и пропадал то в Африке, то в Аравии по многу месяцев по делам исламской религии, оставляя дом в полное распоряжение жены. Вот и сейчас Муслима не было с Сефиет. Муслима она отправила с экспедицией в Тавриз.

И еще одно удивительное обстоятельство. Имея многочисленных поклонников в среде политических деятелей, Сефиет не подарила благосклонности ни одному представителю финансовой знати. Знаменитый своими миллионами и бесшабашностью Кюири-оглы держал огромное пари, поклявшись, что Сефиет за сто тысяч динаров подарит ему ночь. Все знают, что красавица в самом деле провела с Кюири и его дружками разнузданную ночь в увеселительных местах Галаты на берегу Босфора. Но на рассвете она встала из-за стола и со злым блеском в своих совиных глазах потребовала внимания. Во всеуслышание она бросила пьяненькому Кюири-оглы: «Поезжай домой, толстяк! А пари на меня не держи. Я не скаковая кобыла!» Она швырнула чек в лицо финансисту и укатила из ресторана в автомобиле одного из европейских посольств.

«У всех есть страсть,— говорила Сефиет,— моя страсть — политика». Красавица Сефиет лгала. Ее страстью было — золото. Единственное, что волновало ее,— звон золотых монет. Но в одном Сефиет была последовательна и тверда. Она не намеревалась собирать богатство по зернышку, по крохам, торгуя собой, своим телом. Она играла крупно. Ее ставка была огромной. Сефиет знала, что получит и богатство и могущество и была глубоко убеждена, что сейчас она близка к цели. Великое смятение, вызванное войной, благоприятствовало ей.

ГЛАВА III

Пока это было мясо, он ел его сам,
когда же мясо стало костью, он
швырнул его мне...

Салахэддин

Тополя своими зелеными верхушками из ущелья едва достигали террасы. Дул пронзительно холодный, жгучий ветер. Спрятаться было некуда. Сефиет куталась в рваные курдские

одеяла и тяжелые паласы. В котле в кавардаке плавала вместе с мясом шерсть.

За плоским перевалом шел путь в жаркую долину. Но курды чего-то боялись. Явно Сефнет просчиталась, выбирая малохоженый горный путь. Она и думать не могла, что Курдистан — такая неудобная для путешествия, дикая страна.

Одна бронзоволосая Хуршид была весела. Она подставляла розовеющее в лучах заката лицо ветру и говорила:

— Красиво! Родина!

Курды молились на нее.

Она раздавала несчастным голодным детишкам все, что у нее было. В каменных хижинах крошечные девочки в полутьме ткали ковры. Больные, худенькие, в синяках. Их колотили ивовой гибкой палкой за малейшую ошибку. Палка бьет больно, не ломая костей.

Проехал навстречу громадный рябой на громадном коне — не то купец, не то шейх. Был он в радужном павлиньем одеянии. Его сопровождал кривой на один глаз силач с огромными кулаками и сутулой спиной. За ними посинелые от колючего ветра трусцой бежали слуги с тюками, ящиками. Один нес до блеска начищенный ведерный самовар. Самое наглое барство — и рядом жалкая нищета. Сразу же Зуфар поссорился с Павлином, заступившись за одного из носильщиков. Кривой полез было драться, но Павлин разулыбался и сказал, что Зуфар прав.

Вообще Павлин все время извинялся и у всех просил прощения за беспокойство. Он даже извинился, что слишком пристально смотрел на Хуршид. В оправдание он сказал, что ослеп, видя такую совершенную красоту без покрывала.

На щебнистой дорожке лежал пожелтевший череп человека. Ноги людей, копыта вьючных животных катали его взад и вперед. Никто не наклонился, не убрал в сторону.

— Жизнь идет по дешевке,— процедил сквозь зубы Зуфар.

Недоумевающе глянул на него курд проводник.

— Хорошо! Люди уходят просто, без шума,— задумчиво проговорила Сефнет. Губы сделались у нее тонкие, злые.

Шакалы ночью прыгали между спящими. Грызлись из-за туфель. Выли. Смеялись детским смехом. Разбудили Сефнет, довели до истерики. Она долго не могла заснуть, принимала снотворное три раза. Встала злая, с головной болью. Сорвала злобу на Зуфаре. Как посмел уйти на рассвете на охоту. Оказывается, муфлоны часто спускаются с гранитного хребта на поля, где среди камней растет жалкий ячмень.

Когда вернулись, даже у турчанки ненадолго хватило злости. Охотники приволокли дикого барана и принялись свежевать. Курды с восторгом рассказывали про Зуфара: «Охотник отчаянный! Полз по отвесной стене пропасти. Попал пулей муфлону в глаз. Пристрелил трех шакалов еще. Шакалы жрут кур,

арбузы, виноград. Курды плачут. Нет пороха. Нечем стрелять.

Давно не ела Сефиет такого шашлыка. Мясо дикого барана — деликатес, которого не найдешь даже в самых изысканных ресторанах Стамбула и Анкары. И Сефиет смягчилась.

Но ледяной ветер жег хуже огня. И Зуфар жег словами того самого огромного рябого не то купца, не то разряженного Павлином помещика. Громадина своей тяжелой рукой закатил оплеуху несчастному полуголому мальчишке, сцапавшему обглоданное ребрышко муфлона. Ребенок крякнул и покатился.

Зуфар ловко запустил жареной головой муфлона в рябую физиономию путешественника, который было поднялся топтать мальчишку. Назревала драка, но и на этот раз рябой лишь вытер сало и соус с редкой жесткой бороденки и примирительно сказал:

— Зачем раздуваешь угли гнева? Горцы недостойны, чтобы о них говорили. У них, лентяев, каждый день праздник. Вот и мрут с голоду. А меня не трогай. Я хороший.

Все горело в груди Зуфара. Он лез в драку. Экая напыщенная сволочь этот рябой! Да и его спутник, Кривой, вдруг вынул нож.

— Я узбек,— сказал Зуфар,— степной человек. У нас если жалит — значит скорпион, если не жалит — значит кузнечик. Ты кто?

Все успокаивали Зуфара, особенно курды. Рябой одет пышно — значит горд, богат, могуществен. Увешан оружием, а говорит тихо, почти ласково:

— Плохо быть и скорпионом, и кузнечиком. Не задирайся. Я Фазлутдин Отчаянный. Все на Востоке знают Отчаянного Фазлутдина. Но с тобой драться я не буду.

Фазлутдин пробормотал что-то о важности дела, по которому едут путешественники, о почтении своем к Сефиет. Вроде даже извинился перед Зуфаром. Приказал взглядом Кривому спрятать нож.

Когда они спускались в долину, Зуфар все думал. Не нравилось ему поведение рябого. Явный лицемер. Пытался всучить при расставании подарок — радужной расцветки поясной платок. Горцы обид не забывают, мстят по пустякам, с кровью, жестоко. Фулатбеки и Джурабеки тоже начали с пустяков, а режут друг друга вот уже полстолетия.

У колодцев Чах высились развалины караван-сарая. Вода оказалась мутная, горько-соленая. Никакое кипячение, никакие отбивающие соль патентованные экстракты не помогли.

Передохнули часа два под растрескавшимися куполами, среди груд обвалившихся кирпичей и черепков разбитых кувшинов в полутемных помещениях.

Хорошая вода в «мешке» кончилась, и Зуфар торопил выступление. Неожиданно подъехал опять Павлин-рябой, и Се-

фиет оживилась, перестала кутаться в свое «аба». Она уединилась с ним и долго шепталась.

Тадаш, курдский вождь, ворчал:

— Плохо. Нельзя задерживаться. Движется с вершин ураган. «Бади кесиф» называется. Опять за верблюдами не усмотрим. Не доедем.

Шары сухой колючки вместе с песком и тучами пыли катились мимо разваленных ворот караван-сарая, а Сефиет все шушукалась с рябым.

Тогда Зуфар скомандовал по-военному:

— По коням!

И сам посадил Сефиет на лошадь.

— Нечего ухаживать. Разбитое железо можно сплавить, разбитую дружбу — нельзя,— сказала Сефиет.

Но сильные руки Зуфара были ей приятны. К тому же она, видимо, обо всем успешно договорилась с рябым. Сефиет заторопила всех.

— Вы один здесь, кому я могу верить,— проговорила она ласково.

Перемены в настроении у турчанки могли поразить кого угодно. Но разгадка произошла тут же.

— Вы один у меня здесь друг. Забудьте, что я вам наговорила в пещере. Просто у меня хандра. Я плакать хотела. Такая потеря. Половину груза потеряли... И все этот Зюлели. Да и вы мне нагрубили... Не будем вспоминать.

Зуфар молчал, поглядывая на турчанку.

— Будьте мужчиной. Заступитесь за слабую женщину.

— Опять!— вырвалось у Зуфара.

— Нет. Но я прошу, я умоляю... Охрану каравана поручаю вам. Ни один верблюд чтобы не ушел.— В голосе промелькнула угроза, но тотчас же Сефиет смягчилась. — В Зюлели я не верю. Тюлеген — растяпа. Тадаш — вор. Помогите мне.

Сефиет подогнала лошадь вплотную к Зуфару и, сжимая своей нежной, но сильной ручкой его руку, заглядывала ему доверчиво в глаза.

Всю оставшуюся часть дня они пробивались сквозь песок, буран и дождь, переходящий временами в снег.

На склоне дня во мгле замельтешили деревья. Искореженные ветрами, они растопырили зловеще лапы-ветви.

Такие уродливые, нелепые деревья растут, по всей видимости, в преддверии ада. Безнадежные, сухие, сплошь в колючках. А курды завопили от радости.

Ломаные очертания глинобитных зубцов старой стены выдвинулись из мглы. В воротах, которые вели во тьму, никто не встретил путников. Казалось, караван-сарай покинут.

На юге тьма опускается быстро, особенно когда небо затянуто тучами. В караван-сарае все спали. Даже на открытой тер-

расе лежали на ветру закутанные во что попало люди. На вопли Тадаша-вождя из-под кошм и тряпья повысовывались головы в кулахах. Испуганные голоса спрашивали:

— Кто, кто?

Из дверей слабо освещенной каморки выдвинулась фигура нагого. Он крикнул: «Мест нет»— и сейчас же спрятался. Тадаш выпалил из винтовки. И лишь тогда человек вновь появился в освещенном четырехугольнике двери. На этот раз он был в штанах и держал, прикрывая пламя ладонью, едва теплящуюся свечку.

Тадаш-вождь ударил его плеткой. Он завопил и забормотал. Из комнаты закричала женщина:

— Простофиля! Не видишь, знатные гости. Прогони из михманханы мужичье да подмети!

— Молодая жена, а такая умная,— захныкал караван-сарайщик. Он извинился и бормотал, что женился всего два дня назад и поэтому...

Тадаш-вождь захохотал:

— Молодожену и ночь коротка! Знаем...

Больше они не дрались. Помогли выставить из михманханы пастухов и погонщиков и привести в порядок помещение для путешественниц. Вскоре в мрачном хлеву, именуемом «гостиной», трещал и дымил костер.

Позже всех мог подумать об отдыхе Зуфар. Он шел через ворота, когда его окликнула стоявшая в темной нише Хуршид.

— Охраняете? Бережете?— спросила она.

— Вы не спите?

— Вы знаете, что везут во вьюках,— сказала тихо Хуршид,— но не знаете, куда везут и зачем везут?

— Да?

— Удивительно вы недогадливый,— из темноты послышался смешок.— И вот еще что. Караван пойдет до Керинда. Его там ждет представитель немецко-персидской фирмы «Шлюттер», запомните. Но если по дороге что-нибудь случится, не мешайте...

Голос замолк. Зуфар подождал немного и прошел во двор караван-сарая. Там все спали.

ГЛАВА IV

Дорого он заплатил, приняв за улыбку оскал клыков пантеры.

Самарканди

Зуфар предупреждал не напрасно: собака укусила, лошадь лягнула. Тело Юсуфа Зюлели принесли курды. Пуля сразила бея на тропе. Видно, расчет был прост: сбитый ударом пули Зюлели сорвется со скалы. Кто искал бы его на дне пропасти.

Но судя по кровавым ссаднням, сорванным иогтям, исцарапаиному колючками лицу, Юсуф Зюлели, смертельно раненный, нстекающий кровью, долго, возможно часы, боролся за жизнь, цеплялся за обломкн скал, ветки кустнков, пытаясь удержаться иа узкой камеиистой тропиике. По всей вероятности, он крнчал, звал. Его искажеииое, перекошеиное лицо говорило о иечеловеческнх муках. Раны в печень очень мучительны. Трусливая рука убийцы метила не в голову, а в живот.

— Курды не стреляют в жнвот человеку,— сказал проводник и вождь Тадаш.— Курд — не трус. Курд метит в голову. Стрелял ие курд. Убийца — жалкий трус. Винтовка тряслась в его руках бараньнм хвостом.

Бледиая, заплаканная, с растрепаиными волосамн стояла иад телом убнтого Хуршнд. Оиа тихо прнчитала, и Зуфар, подошедший к ней, явственно услышал:

— Из-за меня! Из-за меня! Я одиа вниовата.

Высокомерно Сефиет заявила, что Юсуфа Зюлелн подстрелил разбойинк курд. Все курды — прирождеииые разбойиики. Она так н сказала, прнстально глядя на помрачиевшую Хуршнд: «Подстрелнлн!» Она вложнла в это словечко много смысла и, прежде всего, преиебрежеиия. Сефиет даже ие потрудилась сделать вид, что огорчеиа. Погиб ее едииомышлеииик, человек, которого оиа вовлекла в опасное предприятие. Но оиа даже ие вышла н ие посмотрела иа убнтого. Оиа отказалась прииять участие в проводах тела, сослалась на мусульмаискнй закои, по которому жеищниам не надлежнт идтн в похоронной процессии на кладбище. Оиа требовала, чтобы Юсуфа Зюлелн закопали тут же у развалнн каменного гюмбета. «У меня нет времеии хоронить его».

Но Юсуфа Зюлелн завериули в саван н отправили в дальиний путь в его замок Тхуби в горах. Повезлн курды, почитавшие его врагом. Хуршид уехала тоже. Перед отъездом ей прншлось выдержать приступ истерикн Сефнет. Она ие соглашалась отпустнть свою секретаршу.

— Курды питали иенавнсть к твоему отцу,— сладенько увещевала Сефнет злую Хуршид.— Ои был для курдов «зулюм» — злодей, притесннтель. Протнвоестествеино, оин любят тебя — дочь зулюма. Впрочем, в твоих жилах течет и курдская, разбойиичья кровь. Но поостерегнсь! Даже любовь к тебе курдов ие спасла нх от отвращення к зулюму Юсуфу Зюлели, курды прихлопиули его. Не поделили н убили.

— Ннкогда! Не смейте! Отец был гордым! И ои ии при чем... Он ие брал ваших верблюдов. Не смейте! Не говорите так!..

— А кто же? Говоришь больио страстио. Уж не зиаешь лн ты «кто»? А?

Говорила Сефнет вкрадчиво. Хуршид отияла руки от лица. Холодио сказала:

— Курды не убивали его. Отец пал не от их руки.

— Не дури, девочка! Они придушат и тебя, чтобы спрятать концы. Наиздеваются, наизголяются над тобой и прикончат. Ничего им не стоит. Все курды — насильники и кровавые собаки. Не езди! Идя в набег на мирные селения, курды заявляют: «Клянусь не оставить ни единой девственницы старше семи лет!» Похотливые дьяволы.

— Болтовня клеветников! А в ваших заботах я не нуждаюсь. Не тратьте своих слов попусту. Я еду хоронить отца! А потом... О, потом буду мстить...

— Надо было думать об отце при жизни его. А ты не сказала ему ни слова нежности...

— Юсуф Зюлели был горный волк, он был суров и несправедлив. Мать бежала от его жестокости, когда я еще не умела говорить. И не мне судить отца и мать. Но Юсуф Зюлели дал мне жизнь, и я отомщу за него. Юсуф Зюлели был храбрец, но храбрецы всегда неосторожны. Юсуф Зюлели был силен, но все сильные самоуверенны... Великаны падают от щелчка труса. А трусам нечего жить.

Почему-то Сефиет не выдержала и отвела глаза.

— Смотри, какая! Не забывай, девочка, что ты между водой и огнем. И мне не нравится твоя дружба с курдами. Спроси Тадаша, не знает ли он, куда девались мои верблюды, мой груз.

Турчанка забыла, что хотела говорить сладко, и сидела без кровинки в лице. Она терпеть не могла, когда ей перечили или когда ей слышалась в чьих-то словах угроза, пусть даже неясная, чуть приметная.

Возможно, ярость ее объяснялась тем, что Зуфар вызвался сопроводить бронзоволосую до первого селения в долине Тхуби, до границы санджака покойного Юсуфа Зюлели. Возможно, она заподозрила, что Хуршид больше знает о виновниках пропажи верблюдов, чем хочет сказать.

В пути Хуршид не сказала Зуфару ни слова. Она гнала и гнала своего сердито дергающего головой конька и горестно напевала вполголоса:

— Буря красная с воем, со свистом ломает скалы. Буря собралась с силами и сокрушает утесы и каменные горы. Буря бушует в вышине. Буря перехлестывает через белые вершины. Свирепая буря. Нескончаемо гудишь ты с севера. О Юсуф Зюлели, в бурю бушующую ты возвращаешься в свой замок Тхуби над бездонным обрывом. Встань, храбрец и воин, Юсуф Зюлели! Приподнимись! Взгляни! Кто это едет за твоим саваном! Взгляни же, Юсуф Зюлели, под вой и свист бурана, и свист ветра, и стук дождевых капель на свою дочь, которую ты так мало знал и не видел почти. Гремит хрустальными водами поток и заглушает рыдания твоей дочки Хуршид. Волнуется блестящая гладь горного озера, на берегах которого ты охотился с

ловчим ястребом. Охотился и не посмотрел хоть раз на свою маленькую дочку, а говорят, у нее ястребиные глазки. Приди же, красный ветер, приди, буря! Пусть грохочут горы, пусть стонут горы, оплакивая храбреца!

— Наша жизнь,— говорила Хуршид,— жизнь в горах. Когда закатывается солнце, курд бредет по тропинке к своей каменной хижине. Но он не видит красоты багряных облаков, золота вершин, алмазного перелива висящих в небе ледников. Он видит дохлое пламя кизякового костра и вдыхает терпкий дым очага. Он не видит впереди проблеска света. Вокруг лишь ночь и разочарование.

Курд знает, темнее черного цвета нет. Он знает, что его каменистое поле не стоит божьего проклятия, что впереди зима с жестокими морозами и засыпанные снегом перевалы. У бедняка не бывает ни свадьбы, ни траура. Да и что курду делать за перевалами? Там города с базарами, магазинами, электричеством, говорливыми кофейнями. Но не для горца. У него карманы давно паутина заткала. Для курда города — ловушки, города убийц и тюрем.

Он очень храбр, наш курд. Смерти не боится. Он спит, не снимая оружия. И не потому, что у него есть богатство, которое надо защищать. Все, что у курда есть,— камни-хижины, прокопченный очаг да тощие козы. Курд мало видит в жизни. «После моей смерти,— говорит курд,— пусть хоть море, хоть пустыня». Всевышний, когда давал курдам жесткие скалы и льдистые вершины для проживания, не спрашивал, хорошо ли им, плохо ли. И одна отрада досталась в удел курду — война. Осталось курду протягивать «руку захвата» и брать в плен врагов и обращать в свое имущество пленников, и их коней, и их ружья, и их жен, и их кинжалы, и их детей. И осталось курдам измерять свою храбрость отрубленными головами врагов. Голову врага можно показывать, сидя у очага, друзьям и слушать их похвалу. И ты заслужил похвалу, ибо если бы ты не привез голову неприятеля с поля сражения, то твою голову показывал бы у своего очага своим друзьям твой ненавистный враг...

А когда курд умрет, память о нем будет погребена под глубоким безразличием горных вершин его дикой страны.

ГЛАВА V

> Если величие твое укрылось в пасти льва, иди, не страшись! Вырви его из львиной пасти!
>
> *Низами*

Часто с замиранием сердца Хуршид вспоминала свою мать.

Закрыв глаза, Хуршид видела нежное, мертвенно-бледное лицо с тающими снежинками на щеках, чувствовала свою за-

стывшую руку в сжимающей ее теплой ладони, слышала печальный голос: «Идем! Да идем же!»

Они плелись сквозь буран по скользким от падавшего снега острым камням. И было холодно и больно босым, посиневшим, разбитым ногам. И клонило ко сну. Так и хотелось лечь на снег и заснуть...

А пленительное лицо матери, обрамленное слипшимися от снега волосами, светилось, и нежные губы шептали: «Да иди же, Хуршид! Солнышко!» Нежность матери вела тогда Хуршид через ледяной перевал...

Мать Хуршид и сейчас, спустя годы после их бегства через горы, пленительно красива. Трудно даже сказать, сколько ей лет. С улыбкой она отвечает спрашивающим: «Я не старше разбитых надежд, но и не моложе несбывшейся мечты». И она красива, удивительно красива. Восхищались ее красотой и помыкали ею.

Тогда, в те дни они бежали из замка Тхуби, где мать Хуршид жила в гареме паши первого разряда Юсуфа Зюлели на правах третьей жены.

Госпожа Бибинур, так в те дни почтительно называли мать Хуршид, перевернула стоявшие у дверей гарема туфли загнутыми носками к стенке, и Юсуф Зюлели, паша, не посмел переступить порога. Паша знал, что перевернутые туфли означают — в гареме посторонние женщины. А правоверному мусульманину не полагается входить даже в свой гарем, когда там чужие дамы. Юсуф Зюлели строго соблюдал законы религии.

Но паше донесли, что в тот вечер в гарем приходил мужчина.

Что из того, что мужчина — врач? Что из того, что врача Бибинур вызвала к метавшейся в жару доченьке Хуршид? Что из того, что врачу было семьдесят лет? Повернув туфли загнутыми носками к стенке, Бибинур обманула мужа.

Бибинур — цыганка. Она из сузмени— курдских цыган, презренных плясунов и плетельщиков сит. Главное занятие женщин сузмени — пляски. И Бибинур обманула пашу, когда, пленившись ее неземной красотой, он взял ее в тринадцать лет в свой гарем и, обманутый ее красотой, сделал третьей законной женой. Он не знал, что она сузмени!

Женился ли он на Бибинур, если бы знал? Конечно, женился бы: страсть сильнее рассудка, он женился бы все равно, но тогда бы не было обмана.

А после туфель, повернутых загнутыми носками к стене, после поклепа насчет мужчины в гареме, он узнал к тому же, что любимая его жена сузмени.

Ярость туманит мозг. Юсуф Зюлели ворвался в гарем с обнаженным кинжалом. Бибинур бежала из Тхуби с шестилетней дочкой. Бежала в снег, вьюгу.

Представительный, темиолицый паша Юсуф Зюлели почернел лицом. Ои бнл себя кулаками в грудь. Ои проклннал все на свете.

А его старшие жеиы злорадиичали:

— Цыгаикн сузмени нзвестиы распутством. Кто их не зиает. Готовы отдаться любому за плату от десятн «пар» до двухсот пиастров. Да уж разве вы самн, дорогой супруг, желая повеселиться, ие посылали слугу в табор, и разве сузмеин ие являлись к вам всем стадом?.. А вам, мужчннам, разве не нравнтся, когда женщииы цыгаики дико пляшут иа ваших тайиых пирах под грубую нх музыку... За развратные, соблазнительные пляскн вы платите их мужьям, а за то, что после пира вы спите с их жеиамн, вы отдаете деиьги женщииам. Плата за разврат принадлежит жеищине. Идите, дорогой н уважаемый супруг, спросните у своей третьей жеиы, которую вы сделалн хозяйкой замка Тхубн, сколько и когда оиа получала за свое тощее тело пиастров от мимолетных поклоиников свонх прелестей...

Брезгливый, высокомерный Юсуф Зюлели н сам презирал цыгаи. Считал нх иечистымн, верил всякой иелепости, которую слышал о иих. И вдруг в гареме его оказалась сузмеин.

Проклятие! Ои взял Бибинур девчонкой. И имя у иее иаверняка другое, какое-ибудь языческое. Все цыгаие язычннки. Он лелеял Бибннур семь лет и ие мог иасытить все семь лет свою страсть. Оиа расцвела в пышиую красавицу. Она была его любнмой жеиой н оказалась цыгаикой — сузмеии!

Жеищнны сузменн прекрасиы. Кому, как ие ему, знать это. Губы у иих — бутоиы роз, ио язык — жало змеи. Но кто любит розу, тот должен спокойно, ие морщась сиосить царапнны от ее шипов. Роза — друг шнпа...

Остыв от приступа яростн, Юсуф Зюлели простил Бибннур, ее обман. Ои безумствовал от любвн, почернел и высох. Он потерял покой.

Но Бнбинур исчезла. Ее не нашли, и, быть может, потому, что Бибннур ие иашла своего счастья в замке Тхубн.

«С тех пор, как меия отрезалн от тростнннки, мои вздохн заставляют рыдать мужчии и женщин». Так говорит о флейте поэт Джалаледдии Руми. А ведь флейта — прницесса среди музыкальных ииструментов.

Стоиы прииццессы-флейты говорят, что она н в своем высоком положенин ие забывает тростиику.

Срежьте розу с ветки розового куста, поставьте в хрустальную вазу. И все же на лепестках чудесного цветка выступят росиики слез. Оторваииая от родной семьи, роза завяиет.

В замок Тхуби девочку Бибииур прнвезли с гор в «каджова»— плетеиой нвовой корзннке, какне вешают курды по бокам мула. Она вошла во двор замка босая, с медиымн посеребреныымн браслетами иа чериых от загара и грязн щнколотках иог.

Наготу девочки едва прикрывали лохмотья. Бибинур привезли с другими сиротками, родители которых пали в битвах с нигризами где-то в окрестностях Битлиса.

Сидевший на парадном айване с гостями эффенди Юсуф Зюлели, хозяин замка, в роскошной одежде цвета вина, сразу приметил глаза Бибинур, черные, как весенняя ночь. И девочка участвовала в шествии сирот, отцы которых были убиты красными мундирами. Эффенди повелел, чтобы Бибинур сказала слово о зверствах нигризов и разрешил спеть песню ненависти.

Хозяин удостоил девушку расспросами. Она отвечала быстро и гордо. Зернышко перца мало, но остро и жгуче. Хозяин в роскошном одеянии не знал, что девочка из цыган. А она смолчала, не захотела ничего сказать.

У сузмени в девять лет на девочку надевают покрывало, а в десять она уже сигэ какого-нибудь богача. Тем удивительнее, что девушка в тринадцать лет оказалась непроданной.

Юсуф Зюлели кичился своей просвещенностью, но в то же время он обладал неограниченной властью в санджаке Тхуби. Он мог позволить себе каприз — позаботиться о сироте. Она оказалась «непросверленной жемчужиной», и потому эффенди признал ее законной женой.

К эмиру во двор ворота широки, но выход оттуда узок. Жена губернатора! О чем еще могла мечтать цыганка? Но молодая женщина любила полусырой, кое-как выпеченный на раскаленных камнях лаваш. Ее с детства обучили вдыхать дым костра и выдыхать его, чтобы любая болезнь вышла в виде демона Зияне. В замке Тхуби от скуки она научилась ткать бархат, но просвещенному эффенди, писавшему стихи, не о чем было разговаривать с неграмотной. Недолговечное не стоит привязанности. И хотя Бибинур обладала изящным станом и ласковыми руками, эффенди искал городских развлечений. Он стыдился в салонах Стамбула и Трабезона своей жены дикарки и редко брал ее с собой. Бибинур носила в носу золотое кольцо и считала обязательным приклеивать на лбу над бровью и под нижней губой мушки из черной бумаги. Она раздражала Юсуфа Зюлели быстро, и он, раздражаясь, называл ее «красивой подстилкой». Слова его оставили ожог на сердце молодой женщины. Она повела себя капризно и надменно.

Бибинур очень любила своего мужа. Она все делала, чтобы угодить ему.

Бибинур забеременела от своего паши. Она колдовала, чтобы семя мужа осталось в ней. Она залезала на крышу бани и бросала в водоем стакан варенья и прислушивалась. Получался громкий шум, значит, ребенок будет. Но когда стакан варенья не помог, она утонула в океане печальных мыслей и по совету старухи, жены привратника, налила розовой воды в пасть издохшей собаки. И тогда колдовство помогло, родилась дочка.

Вместе с возлюбленным своим пашой они дали ей имя Хуршид — Солнце... Как они любили ее!

И все же рождение дочери не вернуло мира в семью Юсуфа Зюлели. Бибинур ходила по богатым комнатам замка «поступью дракона», тиранила слуг и колдовала. Когда эффенди посоветовал ей меньше читать заклинаний и побольше ласкать ребенка, Бибинур высокомерно ответила: «Ночью и осленок кажется павлином» — и запретила ему даже приближаться к колыбели.

Бибинур откровенно насмехалась над эффенди за то, что он не верит в колдовство и колдунов.

Но она ревновала его, и он читал в ее глазах выражение кротости и сладострастия. Она доводила его до бешенства, но он привязался к ней. Юсуф Зюлели пытался отучить ее от «собачьих, дикарских», как он говорил, привычек, на что она показывала ему язык и визгливо кричала на весь замок:

— Зубастая собака лучше человека с вредным сердцем!

Она ставила ему в пример курдов, у которых муж никогда не отлучается из дома без ведома жены и никогда не поступит против ее желания. По ее мнению, жена имеет право разговаривать с супругом резко и сухо, а если он посмеет обидеть ее, не возбраняется кусать его, царапать, дергать за бороду, словом, делать все от нее зависящее, чтобы еще больше его разозлить и вывести из себя. В воде встречаются и лотос и крокодил. Эффенди терпел все ради красоты жены. Он даже прощал ей ее расточительность. На упреки, что она слишком много тратит на наряды, она тут же принималась проливать слезы, что она вынуждена чахнуть в стенах Тхуби. «Оторванная от ветки розового куста роза вянет! Увы!»

Паша все терпел, но когда произошла история с туфлями, он вышел из себя, ибо сузмени, ко всему тому, проклятые, поганые солнцепоклонники, не знающие бога истинного. Хорошенькая дочка их носит богопротивное имя Солнце в честь языческого божества цыган. Но он не мог вырвать из сердца страсть к Бибинур.

Оставалось одно решение. Эффенди не мог перенести, что семь лет его обманывала сузмени. Та самая сузмени из племени, в котором женщины хвастаются числом «искателей» их проклятых прелестей и считают, что иметь связь с одним мужчиной достойно смеха, а мужа берут себе, чтобы он варил кушанье, доил корову, бегал с корзиной за зеленью на базар... Такого знатный вельможа стерпеть, конечно, не мог. Он сорвал со стены старинный лезгинский кинжал и пошел на женскую половину... Ни Бибинур, ни Хуршид там уже не оказалось.

Хуршид не помнила свою мать знатной ханум.

Часто с замиранием сердца она думала о матери. Закрыв глаза, Хуршид видела ее. Она шла сквозь бурю и дождь босая,

бренча серебром браслетов на щиколотках посиневших от холода ног, по каменистой дороге перевала. Она тянула маленькую Хуршид за собой и говорила. И сейчас еще Хуршид слышала слова: «Доченька, невыносимо болят ноги. Холод сжимает сердце».

Дни скитаний навсегда остались в памяти Хуршид. Красота Бибинур сделалась ее врагом. Бибинур не давали проходу. В ней сразу распознавали сузмени, которая всю жизнь должна только и делать, что румяниться, белиться, выставлять себя напоказ. Бибинур очень хорошо танцевала. В своих двух расшитых суконных курточках «инм тэн» и «джэбан» поверх шелковой — память о гареме — рубашки, в своих шести пестрых юбках она походила в пляске на красный вихрь Курдистана. Убегая, она успела взять кое-что из нарядов и одевалась богато. Ее принимали за настоящую веселую сузмени. Но сердце ее рвалось в Тхуби к своему мужественному паше Юсуфу Зюлели. И часто по ночам, где-нибудь в хлеву или конуре, обнимая свою доченьку Хуршид, она шептала, какой отец ее паша прекрасный, добрый, умный, любящий. Бибинур, очевидно, не оставляла мысли вернуться в Тхуби.

Но жизнь закрутила, зашвыряла... Бибинур не стала за годы странствий старше своих разбитых надежд. Суматошная, тяжелая жизнь не наложила отпечатка на ее красоту. Ради Хуршид, ради дочки она готова была на все.

Бибинур была замужем за крикливым и сварливым стариком арабом, который терзал ее своей ревностью, мало того, запрягал вместе с ослом в ярмо, пахал и боронил твердое, как камень, глинистое поле. Физически Бибинур была удивительно крепка. Хуршид часто вспоминала, как они с матерью брали крынки с кислым молоком, бросались в одежде в широкую быструю реку и подплывали к кимэ и пароходам, чтобы продать молоко за несколько грошей. Араб с садистской изощренностью истязал душу и тело Бибинур. Она терпела, все терпела ради дочери, но не вытерпела. Прознав, что жена его цыганка сузмени, старик муж потребовал, чтобы Бибинур отдала Хуршид — ей тогда и десяти лет не исполнилось — на год в «мута» — на содержание к местному помещику. Он вопил: «Иначе девчонка продаст свою невинность кому-нибудь на обочине дороги за десять-двадцать медных монет!.. А так мы возьмем с помещика золото, да еще твоя дочь насладится в помещичьем доме радостями весенних дней красоты... А иначе пропадет зря сокровище, которое раз в жизни достается девушке».

Пришлось бежать. Они порой голодали. Бибинур сменила не одного мужа. Но в одном она осталась верна себе — она осталась неистовой, преданной матерью. Бибинур не отдала Хуршид и за тысячи золотых пиастров. Она отвергла домогательства многих знатных и богатых, не согласилась «бросить на

поругание и расхищеиие осениему ветру только что распустившиеся зеленые листочки красоты».

Ей очень польстило, когда сам хаи курдов известиый Муазиз из Ханекииа удостоил своей благосклоииостью ее дочь, дочь цыганки. Сначала она даже воскликнула: «Если мы, сузмени, сиюхаемся с великим ханом, мы сразу стряхием с себя всех вшей!» Одиако разузнав и расспросив кого следует, Бибинур решительно сменила милость иа гиев. И когда распалениый страстью великий Муазиз, после миогих попыток выкрасть Хуршид, иаконец, прислал сватов, она отказала ему: «Получишь дочь, когда у черепахи усы вырастут, у змеи — рога, а у ящерицы — грива. Видал змею с коровьим выменем, курицу с иогами змеи?»

Свирепый и энергичный Муазиз, властитель верховьев Евфрата, был во всем хорош, что не зависело от его воли. Но во всем, что зависело от него самого, он выказывал себя лишь с самой худой стороиы.

Ои ворвался опьянеиный местью и коньяком в селение Джудие, где тогда Бибиур жила в доме одиого армянина коммерсанта на правах ие то домоправительницы, не то жены. Властелии курдов приказал привести ему Хуршид и объявил ей: «Мне известна истиио и ложь. Кто повииуется мне и подчиияется, тот пребывает в радости, иаслаждении и довольстве. Ты моя. Едем».

В комиату толпой набились курды кавасы, иаставившие иа перепуганиых жеищин дула виитовок. Двое грубо охватили и крепко держали железиыми лапами бившуюся в ярости Бибииур. Хрупкая, в иимбе броизовых волос, Хуршид слабой рукой отвела в сторону дула винтовок и следала шаг к Муазизу:

— Старый курд, дряхлый курд,— проговорила она тихонько, посмеиваясь,— ты пугаешь, а я ие боюсь. Здесь мой дом. А ты посмел войти, не спросив. Я посмотрю иа тебя — и ты ослепиешь. Я гляиу иа тебя — и ты онемеешь. Слушай вопли тьмы, старый курд. Тьма крадется по скалам. Слышишь... Шаги в камиях...— Муазиз попятился. Он ничего ие понимал и боялся непонятного.

— Я знаю тебя, старый курд,— продолжала девушка,— ты поклялся, что будешь спать со мной... Неиависть и месть! Посмей приблизиться ко мие — и ты будешь иметь дело с Малеком Таусом. О Малек Таус, ты появляешься в разных образах, ты прииосишь счастье и иесчатье! Никто, даже глупейший из глупых курдов, сам Муазиз, не живет в этом мире больше положеииного тобою срока. Смотри иа иего, на старого курда, о Малек Таус, не пора ли послать его, этого безумиого человека, в другой мир, не пора ли его душе переселиться в другое сущест-

во?!— Ястребиные глаза девушки горели желтым, золотым огнем и вызывали трепет и томление сердца.

— Не надо, не надо!— застонал Муазиз. Он закрыл ладонями лицо и, шатаясь, пятился к двери. Его курды отступали с посеревшими лицами. А бесстрашная девушка, протянув руки, шагала к ним на дула винтовок. Ошеломленным кавасам казалось, что в темной комнате зажглось таинственное солнце. Напуганная вторжением непрошеных гостей, Хуршид почти бессознательно выкрикивала слова из гимна Малек Таусу. Она делала это инстинктивно, повторяя то, что запечатлелось с детства. В отчаянии она выкрикивала первое, что приходило ей в голову, вроде имен таинственного бога Иезида. «О Кайтан! О четыре серебряных апостола! О шар Шайтан! Медный пророк! Шат!»

Верный почитатель Иезида вождь курдов Муазиз бежал постыдно, а с ним и его гремящие оружием кавасы. Уже сидя на коне, он сдавленным голосом воскликнул: «Она — священная жрица Малек Тауса, правителя, поставленного богом над нами! Она одержима, она святая! Не сметь трогать ее!» Вождь курдов ускакал. Он скакал по ледяным тропам гор, не разбирая дороги.

Уже дома Муазиз, оправдывая трусливое бегство, рассказывал:

— Во времена потопа, кроме ковчега Ноя, был ковчег с курдами-иезидами. Наш ковчег наскочил на гору Синджар, и камень пробил днище. Змей, соблазнивший Адама в раю, змей, взятый иезидами с собой, из благодарности свернулся клубком и заткнул пробоину в днище. Ковчег с курдами доплыл до горы Джудие, где живет эта прекрасная девушка. Поняли! Помните, змей после потопа начал кусать курдов, и они его сожгли, а из пепла получились блохи... Но это неважно. Гора Джудие спасла курдов, и на горе живет эта Хуршид. Поняли? А проклятые блохи! Они носят в себе зубы змея, врага рода человеческого... Поняли?

У курдов вождь является первосвященником. Слова Муазиза, темные, неясные, перепугали всех. Селение Джудие сделалось неприкосновенным убежищем для Бибинур и ее бронзоволосой дочки.

В разгар зимы в занесенное по кровли снегом селение Джудие приехал сам Муазиз. Он пригнал тридцать шесть баранов, кавасы вели под уздцы мулов с тюками мануфактуры и коврами.

Хуршид напугалась. Опять сватовство. Ей совсем не хотелось выходить за престарелого хана, у которого и так было жен двадцать. На этот раз никто не штурмовал жилища армянина. Курды не стреляли из винтовок. Муазиз-хан смиренно просил разрешения переступить порог. Оказывается, в день нападения

на дом армянина взгляд Муазиза упал на Бибинур. Прелести цыганки пленили курда, и он приехал свататься уже не к Хуршид, а к ее матери. Так Хуршид породнилась с могущественным владетельным ханом Курдистана. Это о ней газета «Таймс» писала тогда как о прекрасной принцессе курдов.

Сделавшись курдской ханшей, Бибинур проявила большую заботу о воспитании своей дочери. Сказались веяния времени. Правда, злые языки утверждали, что отъезд Хуршид за границу объясняется скорее тем, что Муазиз-хан, став отчимом прекрасной жрицы Иезида, слишком часто поглядывал на нее отнюдь не отеческими глазами. Так или иначе, Хуршид уехала в Стамбул и появлялась в последующие годы в Ханекине довольно редко. А когда, спустя несколько лет, «бренная жизнь Муазиза подверглась угнетению» и вся горная страна выразила сожаление о нем, ибо «он отпил из чаши смерти и, оставив временное жилище в сем мире, перенес навсегда свое пребывание в лоно предков», поездки Хуршид в Ханекин прекратились совсем. После смерти отца молодой хан Сердар Муазиз не только женился на Бибинур, но вдруг возымел безумное намерение сделать женой и свою сводную сестру. Женитьба на вдове отца, по взглядам горцев, не считалась грехом. Однако одновременно взять в жены и ее дочь мог только безбожник, презревший законы божеские и человеческие.

— Ты женился на мне, жене своего отца, и потому, по обычаю, не заплатил выкупа,— сказала Бибинур.— Отдай деньги своей сводной сестре. Ты женился на мне, и над нашей головой разломили лепешку во имя милосердия к бедным. Ты на пороге нашей спальни ударил меня камнем, и я сделалась послушна тебе. После нашей свадьбы мы зашли в церковь и мечеть и христианский бог и мусульманский аллах слышал твои клятвы, что я твоя жена, а ты мой муж. Ты посыпал из мешочка щепотку пыли с надгробия шейха Ади на наше брачное ложе, и тем самым наш брак сделался прочнее горы Синджар. Ты взял меня, жену своего отца, против закона, ты сказал, что, по обычаю, хан-кавваль иезидов может иметь женой любую женщину, насладиться которой он хочет. Но знай! Зажги ты хоть девяносто светильников и преврати ночь в день, приведи к дверям моей Хуршид хоть девяносто обвешанных ружьями своих кавасов, твой шаг через порог будет твоим последним шагом... Ты умрешь... Ибо Хуршид не хочет тебя, а она знает слово...

Молодому хану Сардару Муазизу вполне хватало мужества, чтобы прославиться в битвах. Ему хватало и образованности, потому что его обучали разным наукам в военном училище Сандхерст в Англии. Но у него хватало и трусости. Он подозревал каждого. Молодой хан боялся ада, боялся кинжала. Он хотел жить. Он любил блага жизни. Он держал при себе мно-

жество шпионов, советчнков... Но больше всего он страшнлся «слова».

Муазнз выделил своей сестрнце Хуршнд уйму денег, целый мешок золота и почтительио проводнл ее самолично до Эрзерума, откуда оиа с группой девушек курдянок уехала в Европу учнться в колледж. Оттуда Хуршнд регулярно пнсала матушке своей Бибииур. С трудом разбирала госпожа ханша пнсьма доченьки, умилялась ее успехамн, проливала слезы, узнав, что, спустя три года, Хуршнд вдруг оказалась в Испаиии в рядах республиканской армнн, сражавшейся с фашистамн Фраико. Возвратилась в Турцню Хуршнд лншь в сорок первом году.

ГЛАВА VI

Сияющне, круглые, полновесные динары улыбалнсь ему, как розы, и сверкалн, как круглая луна.

Факих

С похорон Зюлели возвратнлась броизоволосая Хуршнд спустя семь дней и не одна. С ией приехалн, как она сказала, гости замка Тхубн.

Хуршид познакомила всех с еще молодой, красивой женщиной. Коротко сказала:

— Моя мать. Мою маму зовут Бнбииур. Оиа старшая жеиа Сардара Муазнза, хана курдов. Она поедет со мной. Мама узиала о смертн моего отца, своего первого супруга, и прнбыла в замок Тхубн принять участие в плаче по покойиику. Мама очень любит меня н не вндела несколько лет, а потому решила проводить меня в Исфаган. Там у нее братья и сестры. Сардар Муазиз дает ей сколько угодно кавасов. Он очеиь любнт и уважает свою старшую жеиу.

Вынуждеииая задержка вызвала приступ ярости Сефнет. Ее злило, что Хуршид вела себя самоувереиио. Одиако вслух свое недовольство ие высказала. Оиа пожила среди курдов н поняла, что Хуршид в Курдистане чувствует себя в родной стихии, н не пожелала спорить с ией. И так турчанке надоели ястребииые взгляды приицессы курдов.

Сефиет просто взорвалась, когда Хуршид вдруг спокойно спроснла:

— А где Тюлеген?

Надо уметь спрашивать так. С тревогой Сефнет увидела, что за Хуршнд стоят вооруженные горцы. Они очень пристально разглядывали Сефнет, чересчур прнстально. Сефиет сказала:

— Зачем он тебе? Что тебе в нем? Он уехал, исчез, пропал, удрал.

— А с чего это ему понадобилось удирать?

— Когда аллах раздавал мудрость, в мешок Тюлегена ничего не попало. Когда убили твоего отца, он вообразил, что его заподозрят.

— А с чего ему пришло в голову подобное?— воскликнула Хуршид и повернулась к горцам. Один из них, старый, обросший черной бородой, мрачно проговорил: «Заяц удрал. Стрелять поздно».

Он выступил вперед и веско заговорил, обращаясь к Сефиет:

— Соизволение божие с тобой. Ты — турчанка и радуйся. Но убийца не спасется от мести. Хоть верблюд бежит, от своего вьюка не уйдет.

— Никто не уйдет!— почти истерически воскликнула Хуршид.— У меня теперь яд вместо слюны. Плюну — самая ядовитая змея сдохнет.

В котле злобы Сефиет бурлила вода ярости. Мало того, что дерзкая натравила на нее своих курдов. С собой Хуршид привезла европейскую женщину, беловолосую англичанку. Англичанка говорила о себе туманно, поджимая высокомерно свои красивые губки. Белое лицо с нежнейшим румянцем, голубые глаза вызвали зависть Сефиет. Красавица с картин Гёнсборо, она держалась высокомерно и снисходительно. Назвала себя леди Летицией и добавила, что ей надо срочно, до начала зимы, быть в Исфагане. Там ее ждет муж. Кто ее муж, леди Летиция не сочла нужным сказать властной Сефиет.

Хуршид коротко сообщила: леди Летиция находилась в замке Тхуби, когда туда приехала Хуршид с завернутым в саван телом отца. Леди Летиция приехала в Тхуби с двумя европейцами: с бельгийским бароном Тенти и с католическим священником, миссионером Далласом. Они гостили в замке и ждали Юсуфа Зюлели, чтобы он проводил их в Иран. Леди Летиция не имеет никакой официальной миссии. Она едет к мужу в Исфаган. Больше Хуршид ничего не могла сказать. У леди Летиции очень скромный багаж — шесть чемоданов. Остальное следует морем через Индийский океан, Персидский залив.

Сефиет могла сколько угодно злиться и мрачно поглядывать на англичанку — ни злость, ни уничтожающие взгляды не действовали на леди Летицию. Она отгородилась от всего высокомерием и равнодушием. Она не видела, не замечала никого. Пыль, грязь, копоть очагов, сальные миски, лохмотья, язвы детей, грубые голоса, дождь в лицо — ничего она не замечала или делала вид, что не замечает. Англичанка была выше всего.

Леди Летиция удостаивала беседы лишь одного человека — миссионера, приехавшего с ней из замка Тхуби. Он сам представился Сефиет. Миссионер совсем не походил в своей чухе и неряшливом лазском башлыке на европейца, тем более священника. И голос у него был хриплый и грубый.

Он сказал:

— Мое имя Даллас, преподобный Даллас Рокфор. Я постоянно общаюсь с богом, да будет вам, госпожа, известно, бог у всех людей один. И хоть вы турчанка и мусульманка, да снизойдет ваше внимание к моей персоне! Аминь.

Сколько угодно могла Сефиет надувать и без того пухлые губы, третировать почтенного проповедника молчанием. Он самонадеянно и бесцеремонно вторгался в ее разговоры. Хотела она или не хотела, он всегда был тут, во все лез, всем интересовался и всему давал оценки. Даллас Рокфор не желал считаться с тем, что окружен дикими горами, дикими горцами, которым нет дела до его христианских сентенций. Он вел себя безрассудно, будто за спиной его стояла могущественная сила. И очень скоро стало ясно, что сила эта именуется «доллар».

Даллас Рокфор был техасцем. Он производил впечатление, будто у него в руке телефонная трубка и по прямому проводу он постоянно разговаривает с самим господом богом.

— Господь бог,— хрипел Даллас Рокфор,— дал нам заповедь: «Не убий». Но в азиатском обществе уважение на стороне сильного, ибо здесь нет места законам. Я преподобный Даллас, и мне свойственна кротость, подобающая христианину. Кровопролитие мне нравится, госпожа Сефиет, не больше, чем вам. Но в своих политических взглядах я за целесообразное убийство. Вознесем же покаянные молитвы к престолу божьему за душу почтенного Юсуфа Зюлели.

Надменной Сефиет не хотелось молиться за кого бы то ни было. Она просто испугалась, когда громадная ладонь миссионера опустилась на ее плечо и костистая физиономия Далласа впритык приблизилась к ее лицу. Сефиет не запротестовала и не прогнала этого священника, похожего на сивасского духанщика.

Будь она религиозна, она возблагодарила бы аллаха, что на ее пути оказался этот огромный, неуклюжий, распираемый бахвальством и спесью американец. Ее уши слышали уже звон золота. Ее ум уже молниеносно скомбинировал что-то, еще неопределенное, но грандиозное. Сефиет не отшатнулась, не убрала неприятную руку со своего плечика и.., кокетливо улыбнулась. Ослепительная улыбка расцвела навстречу оскалу желтых ослиных зубов техасца. И он понял смысл этой многообещающей улыбки.

А все потому, что Сефиет знала, кто такой Даллас Рокфор. Она слышала еще в Анкаре, что кардинал Спэлман, глава ка-

толков Америки, побывав в Турции, позже направил в Анкару своих «пилигримов» и среди них некоего весьма известного на Востоке миссионера. Тогда она пропустила мимо ушей обыкновенную и мало примечательную фамилию Даллас.

Так вот кто такой Даллас! Не слишком приятен, не очень симпатичен, просто даже отталкивающ в обращении. Но...

Надо выпытать, куда и зачем он едет. Особенно — зачем?

«Еду в Исфаган,— разъяснил преподобный Даллас,— еду, ибо Восток — пуп мира. А президент решил заставить историю повернуться задом к фашизму и передом к демократии. И с божьей помощью американцы это сделают...»

Сморщив носик, Сефнет ласково и многозначительно добавила:

— Дорога вам, представителям великой демократии, открыта, но путь длинный. Люди Востока отравлены ложью, и, увы, в дело идет даже змеиный яд.

В ответ Даллас разразился рычащим смехом. Он снова шлепнул турчанку, теперь уже по спине, и возгласил:

— Поистине как в святой библии: «Каждой пчеле дано жало с ядом». И было бы даже скучно, ежели бы такая пикантная пчелка не имела бы жала.

С шумом Даллас Рокфор влез в экспедицию. Он изрекал во всеуслышание истины, от которых свирепели горцы. Говорил он по-турецки с неимоверным техасским акцентом. Но его все понимали. Он ниспровергал не один лишь исламизм и прочие религии Востока, но с бесцеремонностью разделывался и с христианскими догмами. Даллас втаптывал их в грязь, и, быть может, только этим объясняется то, что его не растерзали тут же паломники-фанатики, с кем довелось путешественникам делить ночлег в полуразвалившихся караван-сараях Горной страны.

Уже в ранний, предрассветный час трескуче галдел его голос на дворе, вторя верблюжьим воплям и ослиному рыку. Он «бил копытами» от избытка сил, от переполнявших его самовлюбленности и наглости, лез в споры с медлительными и весьма почтенными кербелаи, мешеди и мекканскими хаджами. Он горланил нечто несуразное, задевая самое сокровенное в их душах и сердцах, и называл свои импровизированные проповеди словом божьим, «изрыгаемым из пасти валаамовой ослицы». Усердно изрыгая молитвы и заповеди, Даллас честил на чем свет русских большевиков, доказывая неизбежность исчезновения с лица земли Советского Союза, не способного, по его словам, противостоять фашизму. До разгрома большевиков остались якобы считанные недели. И тогда все народы мира восславят господа бога, всемогущего аллаха, грозного негову, благотворного будду и, черт их там побери, всех конфуциев, иезидов, брам, махдиев и им подобных, кому кто нравится. Обомлевшие, ничего

не понимающие овечьи пастухи, кутающиеся в лохмотья паломники, направляющие свои стопы в Кербелу и Неджеф, курдские усатые кавасы, стамбульские белолицые коммерсанты, прочерневшие, изможденные селяне и всякий прочий люд, шатающийся неизвестно зачем по дорогам Курдистана, выпучив глаза, ловили ломаные турецкие слова этого здоровенного, жилистого горлопана. К удивлению всех, он занимался по утрам зарядкой среди разбросанных в грязи вьюков, полосатых капов, туго набитых мешков, топчущихся повсюду ишаков, лошадей и дромадеров.

— Божьим соизволением руководство мирскими делами перешло к американцам,— скандировал он, красный, мордастый, голый до пояса, вызывающе поигрывая бицепсами и потрясая боксерскими кулачищами.— Военная мощь большевизма развеяна! Немцы захлебнулись в крови! Англичане еле-еле пищат. Вы же сами говорите: «Пожар и драка — веселье, но не в своем доме...» Мудро! А зачем нам проливать американскую кровь? Когда все в драке истощат свои силы, мы придем и позвоним долларами. У нас много, уйма долларов. Придите же к нам, угнетенные, подавленные, ограбленные! Придите же, алчущие и жаждущие, к нам, американцам, и мы уделим вам малую толику, как провозгласил Иисус, сын божий. Не пожалеете! Доллары у нас золотые, высокой пробы.

Он не скрывал, что союз у него с долларом и богом — или, если угодно, с богом и долларом — прочный.

Сефиет только и видела американца, только с ним и разговаривала и на привалах, и в пути, и в караван-сараях. Очевидно, они вдвоем обсуждали серьезные дела. По отрывкам разговоров, дошедших до него, Зуфар узнал, что Даллас Рокфор едет в Иран отнюдь не с миссионерской целью.

— Обращать в христову веру мусульман —«дело тухлое»,— говорил Даллас.— Мусульмане нам и так пригодятся. Военная техника выдвигает Соединенные Штаты на передовую линию в мировом конфликте. Соединенные Штаты — властелины мира двадцатого века.— Даллас Рокфор восхищался монополиями, их могуществом: «Древесный червь в своем дереве вырос. Нашего американского дерева хватит червям на века. Коммунизму крышка!»

Едва ли требовалось доказывать Сефиет могущество капитала. Но она прикидывалась наивной барышней, делала вид, что доводы Далласа приводят ее в восторг. Она призналась, что сделалась вернейшей прозелиткой монсеньора и поклонницей Соединенных Штатов.

В свою очередь она горела желанием обратить в свою веру Далласа. В какую, она ему пока не говорила.

Путешествие через Курдистан затягивалось. Сефиет понимала, что она поступила легкомысленно, выбрав горную дорогу.

О сердце, ты бежало, словно зверь, в степь. Ни обо мне ты не печалилось, ни о себе. Ты было плохим товарищем, и лучше, что ты убежало. Одиночество лучше плохого товарища.

Мердавидж

Изнеженная горожанка Сефнет выбилась из сил. Хода́ лошадей от беспрестанных спусков и подъемов сделалась неровной, сбивчивой, тряской.

Вечером путь каравану преградила река со старым, обветшалым мостом. Доски настила прогнили, каменные устои едва держались. К тому же ураган колебал под ногами все зыбкое сооружение. И тут Зуфар увидел, что Сефнет испугалась. Губы ее быстро шевелились. Да, она читала молитву.

Странная гипнотическая сила развеялась, точно дым. Власти турчанки над Зуфаром пришел конец.

Никакая она не демоническая особа, а обыкновенная женщина, с обыкновенными женскими слабостями. Стыд и срам! Он позволил непростительно взять Сефнет верх над собой.

И вот теперь трусливого шепота молитвы над речной стремниной, над шатким настилом моста оказалось достаточно, чтобы цепи соскользнули с Зуфара.

Переправившись по мосту, Сефнет сразу же пришла в себя и самоуверенно крикнула:

— Поехали!

Она стегнула лошадь и, не обращая внимания на Далласа и женщин, испуганно топтавшихся по ту сторону реки, поскакала по ровной речной терра́се. Но Зуфар и не поду́мал следовать за ней. Зуфар совершил неслыханное. Он ослушался. И, проводя лошадей по колеблющемуся под тяжестью всадниц настилу моста, Зуфар думал не о женщинах, которым он помогает. Он думал об оставшейся в далеком Хорезме девушке. Зуфар вдруг понял, что душа его тоскует даже по ее тени. Ведь всего год назад он чувствовал тепло нежной девичьей руки. Он последний раз жал руку Ольге на пристани над желтой неспокойной Аму.

Когда они наткнулись к вечеру на цепь каменистых гор и начался труднейший подъем, Сефнет соблаговолила задать Зуфару вопрос:

— Что значит ваше поведение?

Продираясь сквозь свисавшие над тропой кустарники и прокладывая тем самым турчанке дорогу, Зуфар сухо объяснил: он не мог оставить караван без присмотра. Пришлось переводить верблюдов через мост по одному. Провозились полдня.

— Веревка хороша длинная,— рассердилась Сефиет,— а речь короткая. Зуфар, я для вас колючка в глазу. Я кинжал, лежащий рядом.

Сефиет забыла о караване, о грузе, о делах. Она не могла говорить спокойно.

Еще недавно слова Сефиет задели бы Зуфара. Но сейчас он лишь мысленно пожал плечами. Сефиет случайно обнажила свою душу, и он понял, что она артистка. Она играла роль властной, непреклонной, даже демонической женщины.

«Она боится, вероятно, пауков и темноты»,—подумал Зуфар.

Наружно ничто не изменилось в их отношениях после моста. По-прежнему Сефиет доверяла ему. Он командовал курдами Тадаша решительно и строго. Заставил найти дорогу — узкую тропку между скал, усыпанную костями вьючных животных. Тропа была пустынна и неприветлива, но по тому, что через каждые тысячу шагов стояли аккуратно сложенные пирамидки камней, можно было предположить, что путешественники попали на пограничную тропу. И опять к вечеру Зуфар нашел на ней следы турок.

Почему турки кружат вокруг них?

Можно было подумать, что Сефиет изменится к Далласу. Она видела, что он просто струсил. Его пришлось вести через мост под руки. Даллас не шевельнулся, чтобы помочь женщинам в опасности. На Востоке слабых презирают.

Но Сефиет сделалась еще милее, еще внимательнее к монсеньору Далласу.

Изменилось отношение турчанки к Хуршид. До сих пор Сефиет не слишком задумывалась над ее характером и поступками Хуршид. Скорее девушка ей даже нравилась. Она все же развлекала ее в скуке долгого пути. Лишь изредка какая-то тайная мысль вызывала на гладком лбу турчанки чуть приметную морщинку, и тогда она говорила девушке: «Ты как масло, все наверх всплываешь».

Не спускала Сефиет теперь своих черных глаз и с Зуфара. Что-то подсказывало ей, что между ним и Хуршид потянулись нити... тоненькой паутинкой, но потянулись.

Сефиет не пропускала случая унизить его. Она обращалась с ним как со слугой. «Эй, господин большевик, вскипяти воду! Эй, подтяни подпругу! Эй, закрой дверь!» Ее бесило, что Зуфар не обращает внимания на нее, что он за столько дней путешествия не попытался даже коснуться ее. А ведь случаи подвертывались на каждом шагу.

Сефиет не вытерпела. Как, господин большевик, судьба которого целиком в ее власти, гнушается ею, аристократкой, честью поцеловать кончики пальцев которой домогались посланники государств, а уделяет внимание... курдской цыганке — суэмени, дочери плетельщицы корзинок.

Едва ли вообще Сефиет допускала, что у нее может возникнуть серьезное чувство. К тому же здесь в горах среда слишком строгая, фанатичная. И волей-неволей приходилось сдерживаться, вести себя строго.

Она убеждала себя, что захотела от скуки испытать силу своих чар, посмотреть, как твердокаменный большевик, железный советский офицер запляшет под ее дудку. Зачем? Она сама не знала. Просто так. Пристально приглядывалась к Зуфару. Ей не верилось, что он безнадежен, что он неподдающийся.

В красивой головке Сефиет уже в Трабезоне созрел замысел. Ну хорошо, ни деньги, ни игра на честолюбии, ни голая чувственность, ни шантаж не действуют. А что если внушить ему высокие чувства? Советские люди вечно кричат о высоких чувствах. Ведь был же Зуфар нежен к скромной девушке, телеграфистке в Полатлы. Сефиет даже гордилась, что сумела тогда так отлично перевоплотиться в простодушную девочку.

Зуфар производил впечатление: всегда суровое, напряженное лицо, молчаливая сосредоточенность, внушительный рост, разворот плеч. Весь путь почти от самого Эрзерума через десятки крутых, скользких перевалов он шел пешком. Первый бросался помогать людям в трудных местах. Не гнушался перевьючить мула, поднять упавшего верблюда, переправить через стремнину путешественников. Он был внимателен и предупредителен и к Сефиет, помогая ей садиться в седло, снимая с лошади. Но и только. А ей хотелось сделать из неприступного большевика раба своих прихотей. Что ж, недурная идея, притом весьма полезная для планов Сефиет.

Близ городка Каср-е-Ширин на самой границе Ирана с Багдадским вилайетом в бурю они вдвоем с Зуфаром отстали от каравана. Сефиет доверяла только ему и не позволяла отойти ни на шаг. Преподобный Даллас плелся на своей лошадке где-то в хвосте каравана, помышляя не столько о том, чтобы ухаживать за красивой турчанкой, сколько о том, чтобы не схватить насморк. Обессиленная, умирающая от усталости Сефиет отказалась ехать дальше. Кое-как укрыв ее в нише под скалой, защищавшей от ветра, Зуфар пошел искать караван. Через десяток шагов он натолкнулся на развилке тропинок на полуразрушенную караулку рохдара — дорожного надсмотрщика... Сюда Зуфар принес на руках Сефиет. Согревшись у очага, ощутив аппетитный запах похлебки, варившейся в котелке, она почувствовала нежность к Зуфару.

Когда он, задав корму коням, пришел со двора, она беседовала, мирно устроившись у самого очага, со старичком рохдаром.

— А, господин большевик!— воскликнула она, и в глазах ее запрыгали нежные искорки.— Знаете, где мы? Мы в замке Ширин. Я знаю, узбеки очень любят легенду о Фархаде и о краса-

вице Шнрнн, о вечной любвн. Ведь вы, узбеки, умеете преданно любить. Так знайте, замок наложннцы Хосрова, сына меданского шаха Хормуза и возлюбленной каменотеса Фархада нменно здесь!

— Да,— проскрнпел старнчок рохдар, госпожа говорнт истину. У нас тут такне на горе огромные своды: ширина четыре саженн, глубнна две с половнной сажени, высота шесть сажен... Называется замок Так-н-Гырра. На самой скалнстой горе, за ущельем Морнскана, на склонах дубовый лес... Там гуляла Ширин с Фархадом. Хн-хн... Там около селення Сурходнз в ручье Морнскан красавнца Ширин купалась нагая и царевнч Хосров, увндев ее белое тело, загорелся жаркой страстью... хи-хн!..

— Слышншь, господин большевнк, кто бы мог подумать, что в такнх отвратнтельных камнях моглн расцвестн розы любви.

Она невзначай положнла свою тонкую руку на руку Зуфара и опустила ресннцы. Отсветы пламени костра озарили ее прелестное лнцо, вздрагнвающне пухлые губы, дрожащие прозрачно-розовые ноздрн.

Распластавшнйся по другую сторону костра на своей козьей шубе старичок рохдар испытующе взглянул на Сефиет, на Зуфара. Снова посмотрел на Сефнет. И вдруг она лениво подняла векн. Взгляд ее черных глаз так ошеломил рохдара, что он вскочил:

— Тысяча и одно извиненне, госпожа! Позвольте мне удалнться. Я подброшу хворосту в огонь, госпожа! Вам будет тепло и хорошо с вашнм супругом, госпожа!

Рохдар сгреб в охапку тулуп и засеменил к дверям.

И тут Сефнет поняла, что Зуфара мало интересует н Шнрин, и любовь, и розы. А меньше всего господнн большевик думает о ней, Сефнет...

Чуть заметным движением рукн Зуфар осторожно отстранил нежную руку Сефнет н окликнул старичка рохдара:

— Постой, человек! Сядь!

Все еще обнимая свой громоздкий тулуп, рохдар робко присел у костра.

— Там за конюшней дорога идет вверх?— спросил Зуфар.

— Да, раньше здесь чиновник проверял паспорта н брал пошлнну... Нние...

— По этой дороге недавно проехал кто-нибудь?

— Да.

— Верблюды, много верблюдов, курды с винтовками и четыре женщины. Из нних одна молодая... краснвая.

Сефиет чуть вздрогнула:

— Молодая, краснвая?

Рохдар почмокал губами:

— Одна очень молодая и очень красивая.

Сефнет поджала губы.

— Они поехали в сторону Кухэдизского караван-сарая.

— А далеко до Кухэдизского караван-сарая?

— Далеко.

— А успели они до захода солнца доехать до караван-сарая?

— Кто знает. Такой ветер с горы Самбюль дует, такой дождь гора Самбюль бросает, ой, ой! Здесь на пути персидских паломников многие люди обрели конец жизненного бытия... У святой Куббэ немало безвестных могил.

— А если они не доехали?

— Плохо, очень плохо... Если они добрались до селения Сурхэдиз, они нашли кров и тепло...

— Нет, придется пойти...

Зуфар вскочил и начал застегивать свою чуху. Блеск глаз Сефиет остановил его.

— М...м... Дорога плохая, вьюга... Вы же знаете: кругом разбойники, а у нас груз. Вы же приказали... предупредили,— оправдывался он.

Сефиет молчала. Но взгляд ее уничтожал, испепелял...

— Покажи мне, как выйти на дорогу,— сказал он старичку рохдару, закинув за спину карабин.

Зуфар медленно пошел за ним.

— Господин большевик, а вы подумали?— спросила Сефнет чуть слышно.

— Но там, наконец, женщины... А такая буря...

— А я не женщина, по-вашему.

— Но вы в тепле... в безопасности.

— А вы не подумали, что оставляете меня одну... с этим.

— Но он честный человек.

— А вы не подумали, что взяли на себя обязательство... И потом я распоряжаюсь... Вы останьтесь. Эта... англичанка обойдется без вашей помощи. Курды вооружены до зубов. Дорогу знают. А с вашими... потаскушками цыганками ничего не случится. У Хуршид полно друзей среди курдов.

Не ответив, Зуфар ушел. Турчанка поправила огонь в очаге, завернулась в шубу и смотрела на огонь. Губы ее презрительно сжались. Огонь в костре громко потрескивал и шипел.

Почти тотчас Зуфар вернулся. На лице его поблескивали капли дождя. С ним пришли двое с мокрыми лохматыми бородами гурани из города Керинда. Они выезжали со своими вьючными мулами из Кухэдиза, когда туда прибыл караван вооруженных курдов, сопровождавший женщин. Красивы и молоды ли женщины, гурани не разглядели. Лица женщины прятали под шалями, а курды щелкали затворами винтовок, не позволяли гуранам даже и подойти близко.

Путники гурани рассказали все неторопливо и почтительно.

Они погрелись у очага, выпили по пиале кипятка и отправились в тьму и дождь. Гурани очень спешили перейти пограничный перевал: ветер с горы Самбюль мог принести не только дождь, но и град и снег.

Сефиет не удостоила Зуфара ни словом, ни взглядом...

Вскоре подъехал Даллас со своими провожатыми, и хижина наполнилась шумом.

В караван-сарае в Кухэдизе утром их поджидали. Тропа хоть и была засыпана каменным обвалом, но рохдар старичок отлично провел их по головоломным карнизам поросшего дубняком ущелья Марвепан и через шумящие в черных камнях потоки, бегущие со скал горы Зэнглеван, на которой виднелись развалины замка нежной Ширин.

Весь путь Зуфар держал свой карабин наготове. Ущелье Марвепан, как сказал старичок рохдар, и сейчас такое место, где гуляют курды разбойники.

В Кухэдизском караван-сарае все перемешалось: ослы, навоз, люди, прозеленевшая грязь от омовений, верблюды, мусор. Женщины устроились на кирпичных возвышениях в худжре, мужчины разместились среди обшпаренных колонн. Повсюду ходили сквозняки. Тяжелые запахи поднимались над полузамерзшим круглым водоемом с мутной водой. Паломники расположились во дворе. Под убогим навесом персиянки, стоя в грязи, без покрывал проворно пекли лаваш. В ослепительной синеве неба блистали чисто-белые вершины Банзарф.

Раздражение свое Сефиет выместила на своих спутницах. На стоны и жалобы леди Летиции турчанка заявила: «Грязь и холод — свойства курдской природы. Неженкам нечего пускаться в путь». Ни за что ни про что отругала Бибинур. Персиянке Гончехон пожелала «подохнуть».

Пришел черед и Хуршид.

— Ну, а с тобой у меня особый разговор,— сверкнула она своими жемчужными зубками,— не верю, что ты сузмени. Никакая ты не сузмени. Смотрю на тебя... Нет, ты не то, за что себя выдаешь...

Очаровательно улыбнувшись, Хуршид не ответила, а пропела:

— О, я друг того, кто, подобно зеркалу, говорит в лицо о моих пороках, а не того, кто, словно гребенка с тысячью зубов-языков, перебирает меня по волоску... Но я ваше раздражение понимаю. Дорога трудная для такой нежной...

— Не смей!— взвизгнула Сефиет.— С кем разговариваешь!

— Если едешь в город кривых, сам сделайся кривым.

Больше они ничего друг другу не сказали. Для посторонних слушателей разговор остался загадочным.

Но Сефиет изменила выдержка. Она вызвала хозяина караван-сарая и что-то ему приказала. Началась беготня. В ка-

раван-сарай явился на великолепном коне Фазлутдин Отчаянный со своим неизменным спутником Кривым. Турчанка выгнала женщин из худжры, нагрубив леди Летиции и доведя ее до слез.

Вскоре выйдя из худжры к женщинам, Сефиет объявила:

— Персидская граница... Курды возвращаются. Вот новый наш проводник. Он и его люди поедут нас сопровождать.

Она ушла в худжру, а рябой Фазлутдин важно и долго разглядывал женщин. Взгляд его был странно оценивающий. Он проводил глазами леди Летицию, когда она своей покачивающейся гибкой походкой прошла в худжру, чтобы высказать Сефиет все, что она о ней думает.

— Извините, госпожа Летиция,— сказала Сефиет, пряча глаза под длинными ресницами,— я погорячилась. Поверьте, я провела ужасную ночь...

В худжру заглянул Фазлутдин и спросил у Сефиет, показав глазами на леди Болд:

— Она инглизка... англичанка.

— Да, да... Идите...

На его лице появилась омерзительная улыбка.

— А товарец хорош!

Он ушел. В смятении Летиция спросила:

— Что он имел в виду? Ужасный человек...

— Он толковый человек, торговец Фазлутдин. Богач и коммерсант. Верный человек Фазлутдин... У него отлично вооруженные кавасы. А его помощник или приказчик Кривой — дьявол смелости и жестокости. Перерезать горло мужчине или женщине ему ничего не стоит.

Проходя мимо прислонившегося к колонне Зуфара, Фазлутдин вдруг остановился и вперил взгляд в его лицо: в мертвенных глазах коммерсанта шевельнулось что-то вроде удивления. Скривив свои мертвенные губы в подобие улыбки, он проговорил:

— Э, салом алейкум, смотрю на тебя сколько уже дней и думаю: ты узбек? Я тоже узбек.

Смерив Фазлутдина взглядом с головы до ног, Зуфар ответил:

— У нас, узбеков, «ты» даже врагу не говорят. Не знаю, какой ты узбек.

Тогда Фазлутдин добродушно сказал:

— О, разговором ты из Хивы, а я из Кермине. Понял? Еще свидимся. А товарец у вас хорош. Дело свое знаете!

Он спустился по кирпичным, покрытым грязью ступенькам, сел на коня и уехал, крикнув:

— Ну, я уехал, узбек, еще поговорим, узбек!

Тут же Зуфара позвала Сефиет и приказала седлать коней для нее и для себя.

— Мы едем. Сейчас в Кериид.

— В Кериид?

— Вдвоем. Надо оформить паспорта и докуменгы.

— А женщины? А караван?

— Мы вернемся за ними. За караваном теперь присмотрит Фазлутдин. Тут Иран, и он не посмеет ничего сделать. Женщины поедут позже. И с ними твоя цыганка Ширин, о влюбленный мой Фархад.

— Слушаюсь, мадам,— сказал Зуфар,— а кто этот... узбек... бухарец? И о каком товаре он говорит?

— Идите, я сказала. И о чем вам беспокоиться? С ними остаются этот американский идолопоклонник и Фазлутдин. Коммерсант... Представитель фирмы «Шлюттер».

Шлюттер! Немецко-персидская фирма! А что говорила бронзоволосая? Кому не надо мешать? Видимо, Сефиет все предусмотрела.

Зуфар счел за лучшее не разговаривать больше с раздраженной турчанкой. В сопровождении шести жандармов, неизвестно откуда взявшихся, Сефиет с Зуфаром поскакали в Кериид.

Что оставалось делать Зуфару? Сефиет была начальником и полным хозяином.

Там, в Трабезоне, бритоголовый распорядился: «Поедете с оказией в Иран. Проводите госпожу Сефиет. Отвечаете за нее головой».

Он уже на территории Ирана. В голову пришли слова толстого ишана: «Сеньор Прокофио отбыл в Иран... Сеньор Прокофио целует ручки мадемуазель Хуршид. Сеньор надеется увидеть мадемуазель Хуршид в Исфагане». Они едут в Исфаган. Надо не забыть узнать у Хуршид, где она собирается встретиться с сеньором Прокофио. Осталось немного терпеть. Возвращение в Советский Союз — дело нескольких дней. Он пришпорил коня. На этот раз, наконец, он получил своего коня. Хороший признак. Видно, Сефиет поняла: Иран — это не Турция. Здесь с советским офицером не поведешь себя как со слугой.

ГЛАВА VIII

Бельмо на глазу моей судьбы. Изрыты оспой черты моей воли.

Низами

— Как смеете! Вон! Здесь дамы!— сдавленным голосом выкрикнула леди Летиция.

Поспешно натянула она на плечи простыню.

— Хам! Азиат. Надо постучаться...

В ее прекрасных голубых глазах стояли слезы ярости.

Длинное деревянное лицо Фазлутдина ничего не отразило. Не подействовали ни оскорбление леди Летиции Болд, ни вопли полуобнаженных женщин, теснившихся к огню очага. Только рябины обозначились явственнее на лбу и в углах безжизненного рта да мертвенный взгляд оживился, останавливаясь на руках, лицах, плечах, озаренных отсветами пламени. Дым скопился над низким потолком, в открытую дверь ветер задувал брызги дождя.

— Немыслимо, немыслимо! Хамье...— бормотала Летиция, дрожащими руками натягивая на себя совсем еще мокрое платье.

— Здесь нет мадам... хэ... Здесь есть товар. Мой товар.

Голос Фазлутдина глухо звучал из дыма, из-под самых черных бревен потолка.

— Здесь мой товар, красавица. Купец должен знать свой товар. Я приобрел товар. Я должен знать качество товара.

Бардефуруш Фазлутдин — работорговец — подошел к очагу. Не спеша приподнял платок, прикрывающий грудь Бибинур.

— О,— чмокнул он серыми губами.— О, немолода, но крепка. Подержанный товар, но еще хоть куда. Полторы тысячи возьму за тебя.

С коротким смешком Бибинур вырвала платок из рук бардефуруша и повернулась к очагу боком.

— У меня прострел, дурак! Я старуха!

Но при всей трагичности положения в глазах ее прыгали бесовские огоньки.

— На твоем месте, бардефуруш, я не была бы так спокойна. У Сардара Муазиза много хороших стрелков.

— Что мне до Муазиза,— буркнул Фазлутдин.

С трудом отведя глаза от прелестной сузмени, он повернулся к Хуршид. Она и не думала его стесняться. Точеная ее фигурка цвета красной айвы поразила бардефуруша. Нечто вроде оживления шевельнуло морщины его звероподобного лица. Глаза его забегали по прелестному телу Хуршид. Но она сохраняла полное равнодушие. То ли она понимала скульптурное совершенство своего тела, то ли ей теперь все стало безразлично.

Глаза Фазлутдина застыли. Они выражали по меньшей мере восторг. Он поправил свою каракулевую шапку и пробормотал:

— Вот это козочка!

Он протянул руку с очевидным намерением тронуть или ущипнуть Хуршид и тут же издал вопль боли.

Молодая женщина мгновенно выхватила из костра пылающую жаром головешку и сунула ему в лицо. Отскочив к двери,

тряся перед опаленным лицом руками, Фазлутдин хрипло кричал:

— Узнаешь меня! Узнаешь меня!

— Я не из тех, к кому протягивают лапу!

Хуршид даже не соизволила обернуться. Она брезгливо стряхнула золу с пальчиков, подула на них и скрестила зябко руки на голой груди.

Обращаясь к огню очага, она сказала зло:

— Пусть узнает, что я тоже сузмени.

— Что ты наделала?— сказала леди Болд.— Ты его унизила. Он теперь убьет нас. Он животное...

— Не убьет, мадам. Пальцем не тронет. Мы рабыни. А кому нужна женщина с попорченной кожей? Нет...

И Хуршид погладила себе плечи.

— Им такое тело нужно — гладкое, упругое. Он за нас таких больше возьмет. Мы — товар, и первого сорта...

Леди Летиция Болд плакала. Бибинур курила свою исфаганскую трубку и подставляла свои гладкие бока под жар огня. Свернувшись калачиком, на кошме спала персиянка Гончэхон. От сырой, укутывавшей ее черной искабэ шел пар. Но что было персиянке до работорговца. Она, бедняжка, состояла в сигэ уже столько раз, что и счет потеряла. А каждый временный муж обращался с ней, вероятно, не лучше этого работорговца Фазлутдина. Временные мужья не берегли ее молодого тела, колотили ее чем попало, а для Фазлутдина, торговца живым товаром, белое, полное, свежее тело Гончэхон представляло большую ценность. И пока ее не продали куда-нибудь в гарем на Бахрейнские острова или в Кувейт, Гончэхон могла быть спокойна. Ее никто не обидит, не тронет, не ударит.

Она спала, и ничто ей не снилось.

— Не понимаю. Животное!— сказала леди Летиция Болд.— Как она может спать? Ужасное положение!.. Не сомкну глаз. Буду отстаивать свою честь. Развалилась и хоть бы что. Надо протестовать... Надо написать. Мой муж... О!

Она говорила бессвязно. Она страдала, очень страдала, потому что на глазах ее попирали добродетель. Она пережила унизительную сцену, отвратительную сцену. Ее, английскую леди, стащили с лошади в жидкую грязь, хватали ее тело грубыми руками, сорвали под дождем плащ, верхнюю одежду, непристойно обнажили. Ее задели в лучших чувствах. Ее могли простудить. Ее, воспитанную в чопорной обстановке, ее, с ее холеным телом, которое не полагалось видеть никому, кроме мужа, оскорбляли каждым словом, каждым прикосновением грубые дикари.

— Что вы слезы льете?— сказала Бибинур.— Лицо распухнет, нос покраснеет, глаза поблекнут. Вас продадут не богачу, который будет лелеять и ласкать вас... Фу! Достанетесь

вы диарбекирскому курду, который запряжет вас вместе с ишаком в плуг... Ха! И заставит рожать каждый год... Вон какие у вас бедра... А сколько у вас детей?

— Не смей, ничтожество, не смей! Меня не посмеют продать! Мой муж уничтожит всех курдов, мой муж всех расстреляет... всех дикарей!

Леди Летиция заплакала. Она верила, что все, как в добром старинном романе, закончится благополучно,— что муж спасет ее, что он уже спешит, чтобы разделаться с разбойниками.

И Хуршид поняла, что эта вылощенная англичанка, роза, украшенная нежным пушком, не товарищ, не друг в беде. И то, что Хуршид услышала, только подтвердило ее догадку.

— Послушай, девушка,— обратилась она к Хуршид,— ты самая молодая. Ты сузмени... А все сузмени продаются... Пойди к нему, к этому страшному человеку, повертись перед ним... Ну, обольсти его. Пусть он меня отпустит. Я тебе дам сто долларов...

Хуршид вскочила и величественно задрапировалась в пальто. Бронзовые волосы тяжелым узлом скрывали затылок. Из-под длинных черных ресниц, медленно поднявшись, выползли, как показалось леди Летиции, змеи.

— Если бы мне дали нож,— сказала Хуршид,— я бы не пожалела распотрошить тебе белый живот... Что ты болтаешь, англичанка? Но клянусь, если я найду способ бежать — а я найду его,— я тебя не возьму с собой. Придется тебе, надменная сука, попробовать плетей...

Затрещала дверь, и в хижину, согнувшись, вошел Кривой. Он постоял, приложив руку к сердцу, и сломался пополам в низком поклоне.

— Иншалла! Достопочтенные госпожи! Господин ваш приказал тушить огонь и отдыхать. С соизволения всевышнего завтра, на утренней заре, мы отъезжаем. Госпожи, путь труден и далек.

Он вытащил из закопченной ниши горку пропыленных одеял и серых от грязи подушек и разостлал их вокруг очага.

— Господин ваш приказал вам согреться, чтобы вы не изволили простудиться, чтобы нежными вашими телами не завладела злокачественная лихорадка.

Женщины в один голос закричали:

— Куда мы едем?! Куда нас повезут?!

Снова Кривой склонился в поклоне:

— Иншалла! Не знаю.

— А где госпожа Сефиет?— спросила Хуршид.— Куда исчез господин американец, которого она оставила охранять нас? И, наконец, где наш комендант?

Почтительно Кривой ответил:

— Госпожа Сефиет, вручив вашу участь господину Фаз-

лутдину, отбыла в положенное место. Господин американец также отбыл с госпожой Сефнет. Что касается коменданта Зуфара, который также отбыл с госпожой в Персию, то пусть возблагодарит всевышнего, что он не здесь, иначе господину коменданту пришлось бы вопреки желанию попробовать вкус стали ножа господина Фазлутдина. Комендант переполнил чашу терпения господина Фазлутдина и навлек на себя гнев.

Говорил Кривой монотонно, без признаков волнения. Но, видимо, он не поколебался бы пустить свой нож, прикажи ему Фазлутдин. Также тускло он пробормотал:

— Господин приказал потушить огонь. И спать!

— Я так и знала. Подлючка она!..— яростно воскликнула Хуршид.— А ты несешь околесицу. На то ты холуй и хам!..

— Запрети гневу входить в твое сердце, госпожа совершенств,— проговорил Кривой.— Я из достойных людей. Я понимаю, что к чему. И когда ты, госпожа, будешь женой губернатора или наложницей великого вождя, не забудь, что я был с тобой и со всеми вами, женщинами, обходителен и заботился о вас, будто вы мне родные сестры.

Все еще кланяясь, он попятился и исчез за дверкой.

— Так и знала!— почти с торжеством воскликнула Хуршид. Глаза ее горели мрачным пламенем и сделались чернее ночи.— Она нас продала! Так-таки продала. По-настоящему продала. Ну, подожди же! И Зуфара отсюда услала, драная кошка! Все предусмотрела.

Хуршид разговаривала сама с собой. Персиянка Гончэхон преспокойно спала у самого огня, не потрудившись даже прикрыть свою наготу. Бибиниур деловито вдела нитку в иголку и зашивала свою нижнюю шелковую рубашку, изредка с беспокойством поглядывая на дочь. Леди Летиция завернулась в одеяла и проливала слезы.

А Хуршид продолжала бормотать проклятия на голову Сефнет.

— Ложилась бы ты, доченька, спать,— промолвила, наконец, Бибинур.— Криком не поможешь. От крика красота блекнет. От слез глазки меркнут.

— Пойми, мамочка, нас эта... эта... продала. Мы ей мешали, она и продала. Ужасно! Нас продадут. Мы товар.

— А тебе чего беспокоиться? Тебя простому не продадут, тебя богатому продадут. Шахиней будешь. А меня возьми к себе служанкой. Уговори, кто тебя купит, пусть меня тоже купит. За тобой буду ходить, моя принцесса.

Посреди хижины в сыром полумраке тлели, чадили кизяковые катышки. Свет луны лился сквозь решетчатую панджару над дверкой.

На кочковатом, мокром от сырости полу, на жердях громоздились вдоль саманных стен кули с солью. Красные блики

прыгали по бортам большой медной миски с таким замысловатым и древним чеканом, от которого пришел бы в восторг самый требовательный антиквар. В кизячной золе очага плескался и плевался сердитый чугунный кувшинчик — обджуш. На некотором подобии полочки из саманной глины лежал коран в переплете из телячьей кожи, моток овечьей шерсти и пара узорчатых носков. Тыквенный, нищенский кальян стоял, прислоненный в уголок ниши. Тут же лежали сплетенные весьма искусно из сыромятных ремешков тарелки на металлическом коромысле и валялись гальки, арбяные гвозди, служившие разновесами. В этих предметах было содержание жизни хозяина хижины. По-видимому, он был сельским лавочником.

По углам хижины свисали желтые космы паутины, словно тут работали многие годы полчища пауков. Клочья паутины покрывали стопки изъеденных мышами кружков бараньего свечного сала, такого же грязно-желтого, как и паутина. Паутина затянула также и висевшие на колышке мешочки с хной, с мыльной глиной, с катушками ниток и всякой мелочью.

От потрескивающего огонька светильника шел едкий чад. Леди Летиция стонала:

— Ужасающий угар! Ужасная мигрень. Душечка Хуршид, дайте мне мою сумку, там пирамидон.

— В светильнике нефть жгут.

— Нефть? Здесь есть нефть? О, это очень важно,— оживилась леди.

И даже удивительно. Леди Летиция забыла о своей участи, и откуда-то взялась практическая у нее сметка: она засыпала Хуршид вопросами: где нефть? Сколько? Какая? Кто добывает? Но. Хуршид не слушала ее.

— Вырваться отсюда!— бормотала она.

Хуршид обегала всю жалкую лавчонку. Проверила каждую щель, каждый угол. Выхода нет.

ГЛАВА IX

Я еще не падал, а уже крылья были
у меня поломаны. Теперь же, когда
я упал, каково будет мне?!

Низами

Сефиет не вернулась в Кухедизский караван-сарай. Она уехала на автомобиле в Керманшах и увезла с собой Зуфара, у которого не оказалось необходимых документов. Только советский консул мог оформить его нахождение на территории Иран-

ского государства, а ближайшее советское консульство имелось в Керманшахе.

— Первый же жандарм из амнйе бросит тебя в тюрьму,— сказала Сефиет.— И будешь сидеть в клоповнике до выяснения. А со мной ты как за каменной стеной.

Турчанка довольно-таки странно улыбалась, но мог ли Зуфар даже предположить, что немедленно после его отъезда женщины оказались во власти бардефуруша Фазлутдина? Даже возможность существования в наш век работорговцев и работорговли казалась дикой и неправдоподобной.

И все же хитроумная Сефиет допустила просчет.

С бронзоволосой Хуршид турчанка поступила обдуманно, расчетливо. Избавилась от нее без церемонии. Сефиет и раньше знала, что бронзоволосая цыганка вместе со студентками своего колледжа поехала сестрой милосердия в осажденный Мадрид помогать республиканцам, но не придала этому особого значения. Мало ли что. Но она узнала, что Хуршид жила после поражения республики в Советском Союзе. Это заставило Сефиет задуматься. Чем больше Сефиет присматривалась к Хуршид, тем больше хмурила свои тончайшего рисунка брови. Исчезновение половины верблюжьего каравана с контрабандным оружием выглядело подозрительно. Сефиет не смогла установить, сговорилась ли Хуршид с курдами или просто покрыла Тадаша. Не оставалось времени заниматься расследованием. Пусть с бронзоволосой ведьмой возится теперь Фазлутдин. Тем более он заплатил золотом и неплохо. Но вот в случае с леди Летицией в Сефиет взяла верх женщина.

Безукоризненная красота, высокомерная пренебрежительность, подлинный аристократизм англичанки задевали, оскорбляли Сефиет. Леди Летиция слишком снисходительно к тому же принимала заботы в трудностях путешествия вежливого, воспитанного Зуфара. Сефиет не могла сдержать себя. Она даже изменила профессиональной привычке — изучать всех, с кем встречалась. А надо было выпытать всю подноготную у леди Летиции. И англичанка наверняка бы рассказала, что знала о работе мужа. Она знала немного, но и этого было бы для Сефиет достаточно. Леди Летиция была великолепная находка. Сефиет свернула в Эрзеруме с проторенной дороги не только в прямом смысле слова, Сефиет спешила в Исфаган потому, что там по-хозяйски расположились инглизы. Если бы только Сефиет могла знать, что леди Летиция супруга того самого человека, к которому она ехала, а убитый из-за угла Юсуф Зюлели должен был познакомить ее в замке Тхуби с леди Летицией. Личные обиды превозмогли. Сефиет поддалась минутным настроениям и допустила ошибку.

Сама леди Летиция запуталась в предрассудках. Позволь она сбавить сословной спеси, побороть выпестованную с дет-

ства аристократическую брезгливость к людям других рас, откажись от привычки смотреть на каждую азиатскую женщину как на служанку, и, возможно, все бы изменилось.

А сейчас сверхсовременная, сверхцивилизованная, рафинированная леди могла сколько угодно возмущаться, отчаиваться.

Рабы, рабовладельцы, работорговля — невероятно, немыслимо и наконец просто «шокинг». Нелепые сказки вековой давности!

Но тупая и, скажем, грязная, ни разу не принявшая в жизни ванну, Гончэхон, персиянка, просветила аристократическую леди Летицию насчет положения работорговли в современном Иране. Гончэхон, которую леди Летиция и на порог своего лондонского холла не пустила бы, а через дворецкого Самуэла послала бы ей как попрошайке два-три шиллинга, эта самая Гончэхон рассказывала о таких вещах... Гончэхон оказалась очень знающей, очень осведомленной.

— Неужели есть еще рабы в Персии? Есть. Сколько угодно. Все ковроткачихи — рабыни. Знаменитые персидские ковры ткут рабыни? Не может быть. Не смотрите на меня. Я выжила, а многие нет. Подруги мои желты, немощны, горбаты. У них искривились ноги, согнулись спины. Почему? Посиди с шестилетнего возраста с утра до ночи, не вставая, на жердочке перед ковром, в сырости да пыли. Летом одиннадцать часов, зимой десять. Да прокрути пятнадцать тысяч узлов. Спишь не на кровати с блестящими шишечками, а в конуре на тряпках спишь. У всех девушек больные глаза, слабые руки. У нас в Кермашахе три тысячи ткачих. А сколько болеют, сколько умирают ужасной смертью. Жаловаться? Кому? Мастер стукнет палкой по голове — и все... А я выжила. Один мастер увидел мою красоту, попользовался. Но я его обокрала, убежала домой.

Искоса леди Летиция поглядывала на Гончэхон. С таким лицом на прием к королеве или прямо в кинозвезды. А она... Оттолкнуть бы ее, прогнать... Но брезгливость здесь, у очага в дымной хижине, смешна...

— Дома мне мать не обрадовалась. «Ты продана,— сказала она,— ты продана мастеру, когда тебе было шесть лет. Он может делать с тобой, что захочет». Мастер приходил с ножом и палкой, но я убежала. Тогда мать сделала меня сигэ маклера Реза Абдуллы. Что такое сигэ? Жена на пять дней, на месяц, на год. Законная жена. Все чин-чином. Брак заключается у судьи. Сколько мне было лет? Десять или нет, девять. Реза Абдулла кормил хорошо, почти не бил, жалел. Но Реза Абдулла помер. Его укусила змея эфа. Распух и помер. Мать отдала меня тогда в сигэ батраку, сильному, красивому. Очень любил меня. Но у него денег хватило на полгода. Тогда в третий раз мать выдала меня за Хабибуллу, мастера кальянов. Никто ни в Исфагане, ни в Мешхеде не выделывал таких кальянов. Ха-

бибулла держал кахвэхану. Очень хорошо шло у него дело. В день по две головки сахара рафинада расходовал. Жить бы мне да жить у Хабибуллы. Но... Злая я была. Злая на жизнь. Все наболело во мне. Искала я радости. Скажете, Хабибулла кальянщик был хороший. Конечно, хороший, только старый. Ласковый, но немощный. Разве пройдет головная боль, если перевернуть подушку? Ходил в кахвэхану один курд, красивый. Уговорила я его увезти меня к себе в горы, а он поизмывался надо мной и продал в Турцию...

— Продал?

— Продал за две сотни пиастров, за золото.

Она завизжала с диким смехом:

— А я его любила. До курда была дурой, девчонкой. Не понимала сладости любви. А с курдом у нас была любовь. Я верила ему, а он продал меня...— Она снова дико вскрикнула, словно ее ударили чем-то острым.— Он продал меня, обманул, продал. А теперь госпожа Сефиет продала. Чего же ты хочешь, ингризка?.. Теперь, хи-хи, и тебя продали. И не сторонись меня. Теперь и я рабыня, и ты рабыня...

— Никогда! Меня выкупят...— вырвалось у леди Болд.— У меня муж... он выкупит.

Она невольно произнесла слово «выкупят» и ужаснулась.

Ее, англичанку, ее, жену британского аристократа, продают и покупают!

Ей осталось залиться слезами.

Слезы не произвели впечатления на Гончэхон. Ее-то глаза не прольют ни слезинки. У нее давно не боль гнездилась в сердце, а жгучая тупость. С ненавистью и злорадством она подбавляла и подбавляла в своем рассказе подробности, чтобы позлить надменную ингризку.

— Ты еще не знаешь, госпожа. Ты еще не попадала на рынок рабов, а я попадала, насмотрелась. Сейчас Фазлутдин ничего не боится. Он держит нас свободно. Хочешь сиди, хочешь лежи, хочешь одевайся, хочешь раздевайся. А вот когда в Диарбекир нас тайком привезли, рты заткнули, по шестнадцать рабынь на одной тяжелой цепи в подвале держали. А в Эрзеруме в погреб затолкали. Цепей не оказалось, так железный прут, продернутый в деревянную колодку, нам ноги в кровь изодрал, ржавый, с колючками. Вот смотри, до сих пор шрам есть. Не выпускали из погреба пять дней, боялись жандармов. Воды помыться не давали. А потом, когда покупатель нашелся, нас всех оголили и ему показывали. Бедненькая одна девочка, туркменка, от стыда и горя умерла, красивенькая такая... Рабынь как коров выбирают, щупают... бесстыдство!

И вдруг она закричала:

— Сволочи! Сволочи! Сволочи!

Хуршид не слушала. Она слонялась по хижине легкой

тенью. Скользила, обуреваемая жаждой деятельности. Когда персиянка начала кричать уж очень громко, а с леди Летицией приключилась истерика, Хуршид подошла к очагу, села около самого огня и принялась расчесывать свою бронзовую гриву.

— Что вы делаете?!— взвизгнула леди Летиция.— Как можете вы спокойно сидеть? Как можете?! А вдруг завтра нас поведут продавать, а вдруг... вдруг нас изнасилуют, а вдруг меня не выкупят.

Под гребнем в волосах потрескивали искорки, тонкие брови хмурились, в глазах Хуршид горел черный огонь.

— Не кричите. Не поможет. Вас не забили в колодки, вас не заковали в тяжелые цепи, вас не выставили голой на базаре, вас не насилует работорговец. Радуйтесь. Мы попали в руки разумного коммерсанта. Он не станет нас содержать жестоко или плохо. Ведь нас продавать нужно... Лучше засните и не нойте.

— Не кричи, инглизка,— вмешалась Бибинур.— Ты не собака, а мы не кости, чтобы ты их грызла. Не кричи! От твоего крика в ушах звон. Твое дело плохо. Твой муж, инглизка, даже и не узнает, где ты. В верблюжьих «кеджаве» нас провезут через пустыню в Бушир или Бендер Аббас, или еще куда-нибудь на берег залива. Нас загонят на самое дно кимэ в трюм, где бочки и сушеная рыба, нас перевезут на ту сторону, в Аравию, нас отведут на рынок невольников. Оценщики оценят наши прелести и продадут арабам Кувейта. У арабов Кувейта золотых кружочков много. Они много с твоих инглизов денег за нефть получают... И будешь ты, надменная инглизка, за инглизское золото четвертой женой арабского шейха. Придется тебе жить в палатке среди песка и камней, пить верблюжье молоко и закусывать финиками, а когда надлежит, нарожаешь своему арабу пискливых арабчат. Или купят тебя сотой наложницей в гарем самого Ибн Сауда. И скажи спасибо аллаху, или своему Христу, или самому дьяволу, чтобы тебя не купил какой-нибудь слабый, с вонью изо рта, немощный старикашка. Пусть твой господин и хозяин окажется сильным и молодым. А будешь всем кричать, что ты жена большого человека, тебе язык отрежут. А твоему хозяину ты и без языка усладой будешь, вон какая дебелая да мягкая. Спи и не мешай нам спать.

А Хуршид между тем достала зеркальце, вытащила из сумки конфетки и разложила их на зеркале кружочком, в середину положила замочек и попросила женщин, чтобы каждая повернула ключик. «Пусть каждая загадает, чтобы хозяин ей попался молодой, сильный, красивый».

Снова заглянул Кривой.

Он подозрительно посмотрел на Хуршид, спрятавшую что-то под одеяло.

— Все не спите, глазки попортите, девушки,— ворчал он. Увидев замочек на зеркале, он захихикал и, повернув ключ, сказал Хуршид:

— Гадаешь, красавица. Вот я тебе и повернул ключик на счастье. Теперь твое желание исполнится. Раз я повернул ключик, встретишься ты с красивым, как я, юношей, будет у тебя не хозяин, а настоящий князь.

Все ближе и ближе наклонялся Кривой к Хуршид, вертя глазом, добродушный, слегка лысый, с седоватой бородкой. Ему ужасно хотелось понять: действительно ли девушка прятала что-то и что именно прятала. Он тянулся руками к одеялу. Но Бибинур свирепо оттолкнула его руку.

— Это ты-то, разжиженное тесто, красивый и молодой? Болтаешься тут без толку, старый песочник, да еще своими лапами к моей белотелой доченьке тянешься!.. Не по купцу товар!

Старик, кряхтя и бормоча, поправил угли в очаге. Он не спускал глаз с Хуршид.

Она показала ему язык:

— Спрятала? Что я спрятала?— сказала она.— То, что нужно, спрятала. И не все тебе знать. Ты что же думаешь, что мы должны и стыд потерять? Спрятала кое-что от твоих бесстыжих глаз.

Потоптавшись на месте, Кривой ушел.

Посади дерево с кислыми плодами, оно, пока не засохнет, будет приносить кислые плоды. Нежная, голубоглазая Летиция вышла замуж за сэра Болда, зная, что он не слишком сладкий плод. Но, будучи прирожденной леди, она считала дурным тоном признаться в этом.

Воспитанная в христианско-библейской квакерской морали, она прощала супругу и не слишком привлекательную внешность, и повадки похотливой обезьяны в личной жизни. Лишь воздерживаясь от повседневных семейных дрязг, можно достичь духовной высоты. Порой она восклицала про себя: «Жертва необходима! Пусть же принесется в жертву любая жизнь, кроме жизни сэра Болда».

А сэр Болд подвергал опасностям жизнь и свою и своей супруги. Его не заботило, что она совершенно не приспособлена к жестокостям Азии. Он таскал ее за собой, как болонку на цепочке. Он заставил ее жить в знойном, душном Бушире, где нет даже своей воды. Привозят ее на ослах и верблюдах. Город лишен зелени, нечистоты выбрасывают прямо на улицы. Грязь, вонь, духота, грязные, оборванные слуги, вечно прилипающая, пропитанная потом одежда, прокаженные на базаре, жара. Адских усилий стоило леди Летиции сохранять внешность респектабельной новобрачной, в особенности, когда у твоего мужа повадки павиана. Но леди Летиция терпела.

Еще больше терпения от нее понадобилось, когда волею аллаха и по командировке Даунинстрита они попали в Абадан. Леди Летиция впала в отчаяние. Она не могла понять, почему ей, аристократке и супруге аристократа, приходится жить в жилище из жестяных бидонов, накаливающихся на солнце. Без удобств, без ванны и душа.

Сэр Болд куда-то запропастился, уехал, что ли, на Бахрейнские острова, не успев ни с кем познакомить жену. Среди английских служащих она чувствовала себя чужой. С женами мелких клерков водиться считала недостойным своей особы, а супруги высших администраторов не принимали ее, потому что она не имела отдельного бунгало и супруг ее, сэр Болд, занимался какими-то непонятными делами. Английская часть служащих нефтяных промыслов в Абадане делится на прослойки. Каждому приезжему надлежит знать, с кем здороваться, с кем разговаривать. Еще уронишь свое достоинство.

Леди Летиция, молодая, красивая, знатная, задыхалась среди песка, газа и нефти. Она не могла вырваться из бидонного коттеджа, нанять более приличное жилище. Все в Абадане принадлежит нефтяной компании — дома, улицы, бары, магазины, виски, воздух. Деньги здесь не ходят. Все, что забирают служащие из товаров, съедают в столовых, выпивают — записывается в книги, на все установлены астрономические цены. Мужчины находят утешение в виски.

А леди Летиция имела удовольствие целыми днями смотреть в низкое с раскаленным от солнца железным переплетом окошечко, на раскаленную голую пустыню с темной полоской далекого оазиса и вести войну с мириадами муравьев, осаждающих сладкое в буфете, на обеденном столе, да слушать душной ночью вой шакалов, безобразничавших на улочках бидонвиля. Сэр Болд совсем не интересовался ни условиями жизни своей светловолосой леди, ни ее здоровьем, ни ее жизнью в Абадане.

Когда после судорожной и полной кошмаров наяву и во сне ночи леди Летиция обнаруживала, что супруга рядом на душной постели уже нет, что сэра Болда куда-то призвали его секретные обязанности — в далекие пустыни или моря — и ей предстоит пить свой утренний, пахнущий керосином кофе в одиночестве, она разражалась слезами.

Но правила хорошего тона не позволяли осуждать мужа.

Она поднимала глаза к затянутому клубами нефтяного дыма небу и, в который раз, повторяла молитву: «Если, господи, тебе необходима жертва, пусть она будет, но только не сэр Болд».

Одного не могла понять леди Летиция, почему она должна прозябать в нефтяном аду в Абадане, когда сэр Болд не имеет никакого отношения к нефтяной компании. Сам сэр Болд не

счел нужным объяснить, в чем дело. Вообще он не рассказывал супруге о своих делах.

Но он не был бы англичанином, если бы вздумал хоть в чем-либо нарушить установившиеся, извечные традиции. Медовый месяц молодожены должны проводить вместе. Кто пьет воду, не спрашивает про колодец.

Молодая прелестная жена доставляла Болду столько приятных ощущений! Наконец он обзавелся после изрядно надоевших ему и обычно кратковременных экзотических половых связей очаровательной и добропорядочной супругой да еще к тому же англичанкой аристократкой. Это весьма и весьма льстило ему, поднимало в глазах британской колонии и восточной знати, в общем, вполне устраивало его во всех отношениях.

Но леди Летиции надлежало, возможно, быстрее понять, что сэр Болд не принадлежит к разряду тех своих сентиментальных соотечественников, которые с умилением гладят своих и чужих деток по головке и распускают слюни перед своими супругами. Нет, сэр Болд, вступая в законный брак, думал прежде всего о себе, о своих удобствах.

Молодая очаровательная жена была удобна, а вот ее удобства его не занимали.

Он не думал о ее удобствах, когда таскал ее в автомобиле, на верблюдах, на ослах по горам Азии, через городишки, задыхающиеся от жары, через каменистые перевалы, через песчаные барханы.

Но вот сэр Болд самодовольно провел леди Летицию по всем комнатам и дворикам виллы «Букет роз», когда он, наконец, после двухлетних скитаний привез ее в Исфаган. Он даже позволил поэтическое сравнение с райской обителью, в которой они поведут счастливое существование Адама и Евы.

Но сэр Болд остался самим собой: грубым, резким, похотливым, бесцеремонным. Обливаясь слезами, леди Летиция позволила выразить негодование по поводу того, что на вилле проживают две особы непростительно молодые, привлекательные и бойкие на язык. Они заявили в частности, что их пребывание в доме вполне законно, потому что в Иране распространен временный брак и они по контракту, зарегистрированному у местного казия, являются сигэ господина Болда — временными женами.

Оскорбленная в своих самых интимных чувствах, леди Летиция объяснилась с мужем. Слезы вызвали приступ злости в сэре Болде.

— Они же... так сказать, туземки, макаки. Не будете же вы ревновать меня к обезьянам?

Леди Летиция поразилась неразборчивости современных мужчин. Они имеют полную возможность пить воду из кри-

стальиых источнников, а находят удовольствие черпать из гнилой лужи.

Сэр Болд невозмутимо задал вопрос:

— Неужели вы, умная женщина, современного воспитания, воображаете, что мужчина моего возраста, с моим темпераментом мог прожить аскетом, анахоретом, дервишем, монахом, черт побери, болваном, факиром всю жизнь, чтобы дожидаться дозволенных ласк законной супруги.

Спор и слезы омрачили приезд супругов на виллу «Букет роз».

Однако семейные дрязги не приняты в английской колонии. Страсти улеглись, и леди Летиция официально водворилась на вилле в роли хозяйки. О ней заговорили. Внешность леди с портрета Гейсборо, ее манеры, ее светскость и гостеприимство привлекли на виллу «Букет роз» самое изысканное общество.

История с сигэ раскрыла ей глаза на восточные нравы и, что самое главное, сделала ее более самостоятельной. Говорили, что она начала помыкать сэром Болдом. Она осмелела до того, что даже уезжала теперь в Англию проведать своих родителей каждое лето и принимала благосклонно ухаживания барона Тенти дю Кастанье, разумеется, без ведома супруга.

Сэр Болд остался недоволен, когда узнал, что жена решила вернуться из очередной поездки не морем, а через Турцию. «Немецкие субмарины хозяйничают в морях, топят пароходы, расстреливают пассажиров»,— писала леди Летиция. Последнее письмо пришло на виллу «Букет роз» месяц назад.

Исчезновение нежной супруги во время путешествия по горному Курдистану, естественно, крайне озаботило сэра Болда

ГЛАВА X

Поздно плакать в норе кобры.

Самарканди

Любого раба, которого покупают или продают, считай более свободным, чем того, кто занимается скупкой и продажей людей.

Рукн ад Дин

Обычно Фазлутдин-бардефуруш днями пил чай на балахане. С высоты второго этажа легче присматривать за товаром. В одну сторону посмотришь — успокоение души, отрада сердцу. До того приятно, что в глазах, где-то в самых глубинах, чуть теплится удовлетворение. Очень приятный товар собран в тихом дворике: девушки и молодые женщины.

В другую сторону посмотришь с балаханы — и разливается спокойная строгость по физиономии. В тесном, маленьком дворе-яме, загроможденном ящиками с надписями «машинное оборудование», «медикаменты», сидят полуголые, в жалких отрепьях люди. Позвякивают цепи. Беспокойный народ — мужчины. Всклокоченные отросшие бороды. Ненависть и месть в глазах. Цепь от ноги каждого прикована к длинному железному пруту. У некоторых, особенно беспокойных, ноги вдеты в громоздкие колодки. Нет-нет кто-нибудь из закованных пошлет проклятие в сторону балаханы. И тогда крик, вроде птичий, взволнованный, испуганный, возникает во дворике, где женщины, и долетает до ушей Фазлутдина-работорговца.

Но он не беспокоится. Он со своей благодушной ухмылкой на рябоватом лице выглядит, по меньшей мере, благочестивым священнослужителем. А рядом с ним — целая груда нарезанных палок и гибких прутьев. Даже не хочется думать, для какой цели они приготовлены. Да и Фазлутдин прибегает к крайностям неохотно. С подранной шкурой раба продать труднее.

А с женщинами еще хуже. Царапина на коже снизит цену. Покупатели из аравийских гаремов весьма щепетильны.

Фазлутдин не спускает глаз с Хуршид. Девушка нахваталась в разных там европах вольных взглядов и знаний. Она увертлива и хитра. Долго ли до беды? Еще сделает над собой что-нибудь. Какие убытки!

Фазлутдин даже зажмурился от ужаса. Он рассчитывал продать Хуршид или в модный дом терпимости в Бендер Шахпуре и потом тянуть с нее деньги, или сразу переправить на Бахрейнские острова: шейхи не жалеют на золотоволосых женщин золото.

Надо с ней поласковее, пообходительней. А как с ней обращаться? Она, чуть что, пускает в ход длинные наманикюренные, острые, как бритва, крепкие, как медь, ногти. Не девка, а колючка пустынной акации.

Сегодня бардефуруш Фазлутдин со своим постным рябым лицом хорасанского дервиша выглядел совсем святым. Глаза его смотрели куда-то внутрь, а морщины на лбу врезались в пергаментную кожу особенно глубоко. С такими аскетическими морщинами на таком деревянно-ореховом выдубленном, точно воловья кожа, лице человеку не подобает иметь страстей. Но, судя по тому, как болезненно и злобно выгибались губы Фазлутдина, и тупица сообразил бы, что дерево может ощущать боль. Вся правая сторона лица опухла и пошла белыми волдырями, правый глаз затек.

Фазлутдин сидел на крытом балкончике балаханы и скрипел зубами от боли. Изредка он поднимал к лицу руку, но тотчас же отдергивал ее со стоном. Очень трудно при подобном

ожоге сохранить личину спокойной строгости и делать вид, что тебя ничто не интересует и не волнует.

Сидел он наверху на ветру, чтобы прохладные струи смягчали саднящую боль и жжение кожи, а также затем, чтобы наблюдать за поведением своих пленниц. Они как раз обедали на открытом айване, выходившем во двор.

Фазлутдин удовлетворенно примечал, что все четыре пленницы кушают с отменным аппетитом. Иного он и не ожидал. Он приказал хозяину караван-сарая приготовить «пити» из нежного, сочного барашка и плов по-самаркандски из фазана. И принцессы не откажутся от столь изысканной пищи. «Пусть едят ненасытно, пусть едят сколько душе угодно».

Фазлутдин очень боялся, как бы его живой товар с тела не спал, не отощал. Кто знает женщин? Еще вздумают от переживаний поститься. Или голодовку объявят. Бывали и такие случаи. Особенно с европейками. Больше всего тревожился Фазлутдин за англичанку: еще начнет худеть. Вечно в слезах...

Сколько с ней возни! Но придется повозиться. Когда он удостоился чести целования ног бахрейнского шейха, тот прямо сказал: «Привези англичанку. У меня в гареме нет англичанки. На одну чашу весов ее поставим, на другую золото сыпать буду».

Сейчас и время подходящее. В мире смятение и неразбериха. Никто не узнает о судьбе англичанки. Да и влиятельным особам желательно, чтобы англичанка исчезла. Фазлутдину англичанка досталась очень дешево, а получить за нее он мог очень много. Стоит повозиться...

Он посмотрел вокруг. Обширная, усеянная мелкими камнями площадь, посреди которой стоял караван-сарай, упиралась в гору. За дувалами торчали темные метелки садов. Высились могучие кроны чинаров. Правее чернели на сером холме жалкие надгробия.

Откуда-то из кузницы, невидимой с балаханы, доносились удары молота. Очевидно, за стеной караван-сарая ютился базарчик. Надо посмотреть, прочна ли стена, нет ли в ней проломов. В глазах цыганки с бронзовой шапкой волос ненависть.

С легким стоном Фазлутдин коснулся самыми кончиками пальцев ожога на щеке.

Проклятущая змея! С каким удовольствием он приказал бы спустить ей шальвары и отодрать, как напроказившего мальчишку. Но бронзоволосая — колдунья. Он сам видел, как она гадала на бараньей лопатке. На родине Фазлутдина кишлачные старухи тоже гадают на бараньих лопатках. От их гаданья, от их колдовства могучие батыры желтели и сохли. К колдуньям Фазлутдин питал почтение. Если вообще гадание гадальщика хорошо только для самого гадальщика, то гадание цыганок просто опасно, потому что цыганки злы. Они — поклонницы

веры Карахана, молящиеся Макату, признающие Лата, верующие в золотого тельца. Ярость и злобу надо спрятать подальше в мешок сердца, хоть щеку и разнесло. Нет, лучше не трогать огня, еще вспыхнет. И волосы у нее точно огонь, и глаза. Вон как она на него зыркает!

Фазлутдин отвернулся и уставился на дорогу. Должны приехать покупатели. Очень хорошо. Он сплавит бронзоволосую чертовку за полцены. Пусть ее отведут к хорошему покупателю, пусть он возится с ней и с ее знахарством... А с него, Фазлутдина, достаточно.

Она сегодня утром сказала ему с вызовом:

— Ваши усы, господин продажный, господин торговец человеческим мясом, пахнут? А?

Хуршид намекала на подпаленные головешкой усы. Фазлутдину пришлось их сбрить.

Он прошипел:

— Ты раскаешься, я достойный человек, я мусульманин.

Хуршид проскандировала:

— Шарру инаса ман баъаинаса!

Брови Фазлутдина полезли на лоб. Он не понимал.

— Эх ты, мусульманин! Слов пророка не понимаешь. А значит это: «Подлейший из подлых — торговец людьми»...

Тьфу, девчонка окаянная да еще и ученая. Было от чего растеряться.

А Хуршид добавила:

— Если жрица шамси сожжет один волосок человека — тот идет в ад.

Нет, Фазлутдин не желает ходить с черным лицом из-за какой-то колдуньи. Хватит!

Он очень обрадовался, когда, наконец, на дороге послышался топот копыт и тотчас же на балахану поднялся щегольски одетый по-европейски человек, в богатой бронзовой каракулевой шапке.

— Ваша милость, великий вождь Мирза Кашкан!— не здороваясь, воскликнул Фазлутдин.— Смотрите на нее, на ту бронзоволосую красотку с глазами чертовки... Отлично сложена, не сварлива. Если подходит, возьму недорого.

Мирза Кашкан перегнулся через перила и сощурил близоруко свои бараньи глаза.

Избыток здоровья проявлялся в каждом движении Хуршид. Бронзоволосая красавица с чудесным фарфорово-розовым цветом лица, который часто бывает у рыжих, она прямо-таки светилась. На одутловатом лице Мирзы выступили капельки пота, и нижняя отвислая губа еще более отвисла.

Когда ее привели на террасу показать Мирзе Кашкан, он не удержался и издал сдавленный возглас восхищения.

— Берете? — понимающе спросил Фазлутдин. — Она украсит ваш гарем, господин Мирза... Покупаете?

— А вы меня спросили, продаюсь я? — презрительно протянула Хуршид. — Вы культурный человек и торгуете рабынями в культурной, цивилизованной Персии?

— Помалкивай, госпожа ведьма, — важно проговорил Фазлутдин, — господин Мирза Кашкан держит сорок тысяч вооруженных всадников. Будь податлива. Улыбнись — и ты выиграешь...

Мирза Кашкан, еще раз скользнув по фигуре Хуршид, лениво проговорил:

— Так сколько вы хотите за эту необъезженную кобылку? Я беру ее, но... — Он снова смерил Хуршид с головы до ног. — Товар мне покажите лицом.

Хуршид понимала, что с ее желанием, конечно, никто не посчитается. Складка легла у нее между бровями, когда она возвращалась к подругам по плену.

После завтрака ее повели в наскоро устланную коврами михманхану. Фазлутдин решил показать товар лицом. Две старухи вцепились в Хуршид. Но она стряхнула их дрожащие руки со своих плеч, подбежала к сидящему на подушках Мирзе Кашкан и крикнула:

— Прекратите!

— И-н-н! — протянул Мирза Кашкан. — Такой ты мне определенно нравишься. Не противься, милочка.

— Ах так! Берегитесь, господин Мирза! Вы еще не знаете меня. У нас, сузмени, опасный характер.

Болезненно покривившись, Фазлутдин подобострастно заговорил:

— Господин Мирза Кашкан, в наших силах, конечно, заставить ее повиноваться. Но достаточно ей совершить заклинание «куф-суф» — и произойдет беда.

— Какие еще «куф-суф»? — удивился Мирза Кашкан. — Глупые суеверия.

Однако испытать на себе силу заклинаний ему не захотелось. Он не только не настаивал больше, чтобы «товар ему показали лицом», но побледнел и, швырнув Хуршид десяток золотых монет, потребовал, чтобы ее убрали с глаз долой.

Гордо подняв свой бронзовый шлем волос, Хуршид вышла. Она испортила весь драматизм сцены, показав язык Фазлутдину. За дверью Хуршид остановилась и подслушала:

Фазлутдин хныкал:

— Наверное, она не настоящая колдунья... Просто невоспитанная она, дикая, грубая...

Больше она не слушала. Быстро прошла через двор, лавируя между лужами, и знаком подозвала женщин.

— Готовьтесь. Нельзя мешкать. Нам придется бежать.

— Очень опасно...— сказала леди Летиция,— я... я не хочу...

— Ну что ж, мы вас не тянем с собой.

— Меня выручит мой муж... Они его боятся. Они не посмеют...

И на ее голубых глазах снова выступили слезы.

Хуршид пожала плечами и по лестнице поднялась на плоскую крышу. Ветер пахнул ей в лицо и разворошил волосы. Она стояла на ветру в золотом сиянии и прислушивалась к горам, к небу, к степи.

Удивительно, Фазлутдин-работорговец, сверхосторожный, сверхбдительный, державший обычно свой живой товар под замком, дал цыганке слишком много воли. Она осмелилась напасть на хозяина. Она не повиновалась его приказам. Фазлутдин боялся ее и был очарован ею. Хуршид открыто носила за поясом старый заржавленный кинжал, который нашла в пастушеской хижине в первый день плена. Рабам под страхом смерти запрещалось иметь оружие. Она разговаривала с караван-сарайщиками, встречными пастухами, с прохожими, и он не решался ей помешать. Когда они выступили в путь, она отобрала у Фазлутдина его прекрасного иноходца и отдала его своей матери. А у перевала Дэве Багырдан на труднейшей тропе, названной не случайно местными бахтиарами Дорогой, Заставляющей Реветь Верблюдов, Хуршид бесцеремонно приказала бардефурушу:

— Моя кляча остановилась. Видишь мои ноги? Разве такими нежными ножками можно ступать по камням? Я два шага сделаю и ножки окровавлю. Слезай!

Фазлутдин слез безропотно и помог колдунье забраться в седло. Он не понимал, что с ним происходит. Задыхаясь, обливаясь потом, работорговец плелся по острой щебенке, с трудом влача свой толстый живот на перевал. Он вел под уздцы коня и не смел ворчать, Словно не рабыню вез рябой Фазлутдин через горы Курдистана и Загроса, а владетельную дочь шаха.

Ехала Хуршид вместе с другими женщинами по диким тропам, по каменистым подъемам, тяжелым спускам, носящим выразительные названия — вроде Кускун-кырач (Обрывающий Подхвостник) или Шайтан Гирдоб (Чертов Водоворот), свободная, независимая, но на самом деле беспомощная и несчастная.

После многих дней пути рябой Фазлутдин довез женщин до подножия гор. За караван-сараем и небольшим селением расстилалась степь. Здесь имелись и признаки цивилизации. Во дворе караван-сарая ржавел остов автомобиля «форд», на террасе стоял мраморный умывальник, правда, без воды, а в михманхане имелся даже телефон. Аппарат больше напоминал кофейную мельницу, но он вызвал в Хуршид восторг, который она

постаралась скрыть. Сам Фазлутдин на телефон не обратил внимания. И только когда однажды «кофейная мельница» разразилась оглушительным звоном, разнесшимся по всем углам старого караван-сарая, он встрепенулся и побежал на звонок. Трубка скрежетала, захлебывалась. Затем все стихло. Рябой накинулся на хозяина: почему тот ничего не сказал о телефоне. «Горбан,— оправдывался хозяин,—«тэлефун» поставлен для жандармов. Но они убежали во время восстания курдов. И никто давно уже не разговаривал в трубку. Так висит без пользы.

Мимо михманханы прогуливалась Хуршид. Волосы отсвечивали красным ореолом, и в глазах ее горели красные хитрые огоньки. Подозрительно взглянув на нее, Фазлутдин прошел к себе. У дверей он остановился и сказал:

— Не смей подходить к проклятой машинке.

— К какой машинке?

— Уж и не знаешь? К телефону.

— А что такое телефон?—спросила Хуршид и сверкнула белыми зубами. Улыбка получилась самая невинная.

— Смотри у меня... Тронешь пальцем — берегись! Это игрушка самого черта.

— А я сама чертовка.

Неделю они жили в этом караван-сарае. Рыжая цыганка, по словам хозяина, шмыгала повсюду. Только не пускали ее со двора. А так юркая девка всюду крутилась: и в михманхане ее видели, и около «тэлефуна» околачивалась. Пусть не беспокоится горбан. «Тэлефун» уже год молчит. А почему вдруг зазвонил, кто его знает. Захотел и зазвонил.

Здесь в диких горах Фазлутдин и сам не верил в телефон. Но беспокойство не прошло. И он послал нарочного господину Мирзе Кашкан.

И вот сам господин могущества, вождь кашкайцев господин Мирза Кашкан, могущественный Кавам аль Мульк со своей знаменитой оттопыренной губой, со своим родовым кашкайским орлиным носом, со своей иссиня-черной, вечно плохо выбритой щетиной на щеках, сидит на жалких потертых подушках, скрестив ноги в модных шевиотовых брюках с дипломатической отутюженной складочкой и в своем оттопыривающемся на толстом загорбке синем шевиотовом пиджаке.

И то, что он, всемогущий и несметно богатый, сидит на грязных караван-сарайских подушках, в сырой комнатушке, устланной ветхими, серыми от грязи коврами, и то, что он смотрит, не раздражаясь, на грязные, плохо оштукатуренные стены, это явно неспроста. И то, что его аристократически ленивое, даже, пожалуй, добродушное лицо оживилось, это тоже неспроста.

Он сидит важно, хоть сквозняки дуют из окошек, где нет и половины стекол. Это тоже кое-что значит.

Могущественный вождь соблаговолил вторично приехать. Это была высшая оценка достоинств Хуршид как женщины.

Мало сказать, что Кашкаи избалован вниманием, он пресыщен женщинами. Независимый вождь, глава миллионного племени, фактически губернатор целой провинции, Кашкаи не знает препон своим прихотям. Он не знает, сколько жен, сколько сигэ у него в Ширазе, сколько в Исфагане, сколько в Тегеране.

Раздражение Фазлутдина росло. Побагровевшее лицо пестрело черными пятнами: «И ему еще понадобилась моя золотоволосая цыганка».

Кажется, господин Мирза Кашкаи напрасно соизволил побеспокоиться. С полным отсутствием логики Фазлутдин внезапно решил не продавать Хуршид. Вино распаляет кровь, а чувственность — страсть.

В холодном, расчетливом торгаше, дервише Фазлутдине, проснулось что-то похожее на чувство. Он склонился в поклоне и начал:

— Горбан, ваше превосходительство, вы озарили нас вашей благосклонностью и обратили внимание на принадлежащее нам скромное имущество. Но наша обязанность обрисовать не только достоинства...

Лениво Кашкаи прервал Фазлутдина:

— До этого ты говорил только о достоинствах... товара. Я посмотрел на твою цыганку и думаю: ты не преувеличил.

— Да, горбан, когда она переодевалась... только переодевалась... Она совершенство, достойна ложа повелителя мира, но моя обязанность предупредить вас...

— О чем?

— О некоторых недостатках... Нет, не телесных, а душевных.

— А при чем тут душа?

— Господин... я узнал. Она язычница из злонравной секты безбожников Шамси.

— Хорошо.

— Она из шайки солнцепоклонников... Утром они ждут восхода солнца и целуют на камне то место, куда упал первый луч, лижут по-собачьи языком.

— Хорошо.

— Они грязные, не видали домов с окнами... невежды. Не умеют читать и писать.

— Хорошо.

— Месть — цель их жизни. Мстят за все. Женщины — убийцы. Убивают исподтишка, из-за угла, предпочитают яд, кинжал.

— Хорошо.

— Я видел у этой цыганки кинжал.

— Хорошо!— В глазах Кашкаи появилось что-то живое.

— Взять чужое — у них дело доблести. Бог у них — деньги. Ради денег родная мать отдаст дочь в дом разврата. За деньги сын продаст мать... О, родители торгуют на базаре дочерьми...

— А ты? Ты разве не торгуешь?

— Бесстыдны... Женщины бесстыдны, танцы бесстыдны, кокетство их бесстыдно, в страсти они разнузданны и неистовы...

— Совсем хорошо.

— Хитрость — их мать, хитрость — их отец.

Зевнув, Мирза Кашкаи приказал:

— Пойди к ней, скажи ей, кто я... И скажи ей, я построю для нее дворец в Ширазе, или нет, лучше в Исфагане. Скажи ей, что я женюсь на ней... И сам великий муфтий Кербелаи совершит обряд...

Фазлутдин вскочил и воззрился на Кашкаи:

— Горбан, ваше превосходительство, но... Сколько вы соизволите уплатить мне?

— Рабство отменено в благородном Иранском государстве. За торговлю рабами... тюрьма... виселица.

— Но...

— За услуги ты получишь... скажем, пятьдесят тысяч...

Задохнувшись, Фазлутдин выбежал во двор. Сделка превосходила всякие ожидания. Но при виде Хуршид он потерял дар речи. Она взглянула на него своими золотистыми глазами и снисходительно спросила:

— Ну, торговец, почем нынче человечье мясо, а? Сторговались, а?

Она говорила так, как будто это ее не касалось. Перед Фазлутдином полулежа расположилась на подушках молодая, цветущая красавица. Величественным кивком головы она позволила жалкому факиру говорить.

— Госпожа,— задыхаясь, пробормотал Фазлутдин,— их превосходительство горбан. вождь государства... а...

— Послал тебя сватом?

— Иншалла!— Он знал, что она колдунья.— О госпожа!

Он пятился к двери, и глаза его округлились от ужаса и почтения. Хуршид приподнялась на локтях и крикнула:

— Иди и скажи своему горбану: «Я согласна!» И пусть он убирается в Шираз. И пусть пришлет за мной самый лучший свой автомобиль. И пусть приедет за мной сама госпожа, мать господина Кашкаи. Все. Убирайся.

Поистине, цыганка колдунья! Какой переворот произвела она за один час! Только что рабыня — сейчас невеста могущественного вождя кашкайцев. Фазлутдин бежал быстрее джейрана.

— Что ты наделала!— хором упрекали ее женщины. У него сотня жен. Его дочери годятся тебе в матери.

Хуршид обхватила Бибинур за плечи и нарочно громко выкрикивала:

— Смотрите на нее! Она моя родная мать! Скажи, мамочка, разве ты не учила меня в детстве: твоя религия — динар? Сколько мы бродили с мамой босыми ногами по колючим дорогам! Пусть так, пусть слезы завязали у меня в горле узел! Но, клянусь, теперь я не рабыня, а вы все рабыни. И теперь, если я захочу, вы получите свободу.

Задор и вызов звучали в ее словах, но на самом деле она готова была расплакаться.

И она расплакалась, когда вновь возвратился Фазлутдин и с торжеством объявил:

— Господин могущества, великий вождь Мирза Кашкаи, приказал тебе быть готовой. Он пришлет за тобой своего управляющего на самой лучшей из своих легковых машин... И ты поедешь в Исфаган. И господин вождь расстегнет застежку на одежде розы.

— Подлец!— крикнула Хуршид и кинулась на Фазлутдина. И хоть он с важностью носил прозвище Отчаянный, но с поразительным проворством выскочил из комнаты и захлопнул за собой дверь. В оправдание себе Фазлутдин говорил, что проклятая колдунья угрожала ему кинжалом. Вздыхая, взобрался на свою балахану и, чувствуя себя в безопасности, принялся с высоты второго этажа поучать непокорную рабыню.

— Эй ты, дрянная потаскуха-сузмени, я не из пугливых. Я — Отчаянный, знай это! Мне наплевать, что ты колдунья! И не вздумай брыкаться в постели Кашкаи, а не то он прикажет отвезти тебя в Бендер Аббас и продать.

Леди Летиция слышала слова Фазлутдина Отчаянного и молила Хуршид не возражать, чтобы не озлобить его. Леди Летиция боялась за себя.

ГЛАВА XI

> Есть люди, одно появление которых возбуждает глубокое удивление. От них исходит ощущение силы. Они буквально дышат мощью.
>
> *Сафи ад Доуле*

Шейх Музаффар проснулся, как ему показалось, от пулеметной стрельбы.

Мгновенно он открыл глаза, оттолкнул спящую Гульсун и вскочил. В луче света плясали пылинки. Голова коснулась прогнувшегося черного войлока. Вниз по спине побежала волна мурашек. Не от страха... От колючих ворсинок.

Сквозь треск проник шепот:

— Вы проснулись, господин?

Шейх пробормотал:

— Помолчи!

Он перешагнул через чуть мерцавшее в сумраке нагое тело, одним ударом ножа распорол полотнище и прильнул к щели. Глаз его обежал серую утреннюю степь.

Свой чадыр шейх ставил всегда на возвышении. Никто к чадыру не мог подойти незаметно.

Продолжался оглушительный треск, но кочевье не отвечало. Заря, желтая, холодная, всплеснулась к зениту. Высокие сухие травы клонились волнами по ветру. Среди травы чернел грузовик. На подножке его стоял человек.

Треск не смолкал, треск мотора.

Жена шейха Музаффара, прижавшись к его спине, заглядывала в прореху.

— Иди оденься, Гульсун,— сердито пробормотал шейх.— И дай мне винтовку.

Женщина скользнула вглубь и протянула шейху винтовку.

Он вышел из шатра. Рядом стояли кочевники. У всех в руках поблескивали винтовки. Все смотрели на грузовик. Около темневших по холмам и логам чадыров шевелились люди.

Мотор грузовика отчаянно трещал. Треск переходил в грохот.

— Будь ты проклят!— пробормотал шейх.— Где же мои сторожевые?

Волосы его развевались на утреннем ветре. Руки сжимали холодное дуло винтовки. В плечо что-то толкнуло.

Он оглянулся. Голая, блестящая в свете зари рука протягивала ему из разреза в полотнище шатра патронташ.

Шейх не сказал слов благодарности. Он взял патронташ и дулом стукнул по руке. Не очень больно. Скорее даже ласково. Рука была красивая, нежная.

Но разве время раздумывать о нежности и красоте женщин? Со стороны равнины скакали всадники.

Шейх поднял винтовку, но сейчас же опустил. Всадники подскакали к кочевью и что-то кричали.

Вдруг мотор стих, человек соскочил с подножки и пошел к шатру.

Теперь люди кричали так громко, что шейх поднял ладонь. Крик стих.

— Где были ваши бесстыжие глаза? Проморгали?— сурово спросил шейх.— Или вам нет дела до ваших жен, до ваших сыновей?

Выступил вперед красивый длинноусый в огромной чалме. Лицо его в отсветах неба отливало бронзой. Он сказал:

— Господин, дозволь?

— Говори, Хасан! Говори, герой подушки и сновидений! Прозеваешь в другой раз, не показывайся!

— Господин, проклятая тарахтелка соскочила с дороги. Кони наши перепугались. И пока мы...

— Плохие вы наездники...

Но шейх не договорил.

Подошел человек с грузовика. Он улыбался.

— Салам, рафики... товарищи.

Шейх вздрогнул.

Здоровался человек вежливо, но говорил с каким-то непонятным акцентом.

Шейх, а за ним толпа ответили длинным приветствием.

Потом все замолчали и разглядывали пришельца.

Человек с грузовика улыбался. Он не был персом. Лицо его в сумраке раннего утра белело под пилоткой. Рубаха с военными петлицами была выгоревшей. Неуклюжие кирзовые сапоги выглядели еще более неуклюжими из-за оттопырившихся голенищ.

По петлицам и кобуре шейх Музаффар и его воины поняли, что перед ними военный. А на пилотке у него была пятиконечная звезда. Помятая, поцарапанная, но настоящая советская красноармейская звезда!

Как сюда, в кочевья кухгелуйе, за тысячу фарсангов от Советского Союза, мог попасть советский военный с красной звездой да еще на грузовом автомобиле?

Недоверчиво и сухо прозвучал голос шейха. Шейх говорил по-персидски.

— Откуда ты? — спросил шейх, и рука его погрузилась в дремучую бороду.

— Из Мешхеда,— закивал головой военный.— Из самого Мешхеда.

Военный совсем неважно говорил на фарси. Но что-то было поддельное и в акценте и в нарочитой ломанности языка. Получалось так, вроде военный хочет внушить, что он плохо знает язык, а на самом деле преотлично понимает его. И шейх сразу заметил, что приезжий произносит слова, как врожденный перс, и бесцеремонно продолжал на том же фарси:

— А мы подумали было, что вы архангел из божьего сонма с седьмого неба.— В голосе шейха звучали еще нотки недоверия. Но уже то, что он пренебрежительное «ты» сменил на «вы», было многозначительно. И даже то, что он для ясности поглядел на совсем побледневшее на востоке небо и ткнул в него пальцем, военный в красноармейской пилотке понял сразу как шутку. Шуткой, а не подозрением прозвучали и добавленные шейхом слова:— Тут немало сейчас с небес ангелов бескрылых с зонтиками спускается.

— Нет, к сословию ангельскому не отношусь. Нет, у ангелов грузовиков не водится. Я через пустыню на колесах.

— Через пустыню? О!— удивился «герой подушки и сновидений» Хасан.

— О наивный мышонок, не видавший света! Разве на такого обижаются? Верь не верь, но я здесь. И мой верный скакун здесь. Вот только отощал он. Не найдется ли у вас в кочевье бензинчика?

Все зачмокали губами.

— Кто вы?— спросил шейх.— И как вы умудрились проехать на автомобиле через Большую соляную пустыню. Клянусь, не понимаю!

Он напряженно вглядывался в лицо военного.

— Еду в сторону станции... Я присмотреть должен за переброской наших грузов. А у вас хочу узнать: как попасть мне в местность, называющуюся Кухендиз... Там еще есть старый караван-сарай...

— Я из интендантства Советской Армии. Прокофьев моя фамилия. Петр Кузьмич.

— Разве можно проехать через Большую соляную пустыню прямо из Мешхеда, даже если вы советский?— протянул задумчиво шейх Музаффар.— Разве вы всесильный джни?.. Ладно, заходите, джни, будете гостем кухгелуйе.

Кузьмич не торопился заходить в шатер.

— Мне надо побыстрее попасть на станцию. Меня ищут. Вести из Керманшаха. Люди в беде. Вы знаете, где Кухендизский караван-сарай?

— Зайдите, джни, в чадыр. Кофе выпейте. Посоветуемся...

Очень скоро они вышли. Едва ли Прокофьев успел выпить кофе, так он торопился. Шейх Музаффар провожал неожиданного гостя до грузовика.

— Значит, жду вас в Кухендизе, а если он появится, вы дадите мне знать,— сказал, пожимая руку шейху, Кузьмич.

— Кухгелуйе быстро чистят винтовки,— ответил вождь.— Кони кухгелуйе подкованы... Мы найдем ваших женщину и мужчину... Клянусь!

Он долго смотрел вслед быстро удалявшемуся облачку пыли.

ГЛАВА XII

Всякое слово, оброненное где бы то ни было, даже в Египте, достигало его ушей, и люди остерегались даже в постели своей жены и рабыни.

Ибн аль Джаузи

— Проклятые персы, проклятая Персия с ее дорогами. Намерены ли вы перестать возиться, Джекоб Беркли?

Сэр Болд хлопнул дверкой и, расставив широко ноги, смотрел с иронической усмешкой на дорогу, на голые сухие горы, на ботинки капрала Джекоба Беркли, торчавшие из-под автомобиля.

Солнце припекало, но ие слишком жарко, и сэр Болд снял свой неизменный пробковый шлем и положил иа сидеиие. На Востоке сэр Болд принципиальио ходил в пробковом шлеме. Мистера Болда нисколько не беспокоило, что со своими по-бульдожьи отвисшими щеками, круглыми глазами и шлемом на голове ои смахивает на колоиизатора с карикатуры. Мистеру Болду наплевать на карикатуры, на то, что о нем пишут в газетах. Болд играет в открытую. Никакого маскарада ии в одежде, ни во внешности. Мистер Болд презирает всяких там шпионов, напяливающих на себя фантастические арабские бурнусы, дервишеские «хирки», фальшивые бороды страинников-богомольцев н разыгрывающих из себя бедуииов-верблюжатников. Детские нгрушки. Нн к чему. Он аиглнчанин. И пусть все видят, что он англичаиин.

Из-под «роллройса» послышался голос Джекоба Беркли.

— Господин полковиик, рессора полетела... Возни надолго.

— В восемь двадцать две приходит тегераиский. В восемь двадцать, я полагаю, иам следует быть иа стаиции.

Джекоб выбрался из-под автомобиля злой, красиый. Ои ие вытянулся перед господином полковником, а полез под сидеиие ва инструментом.

— Вы слышали, Джекоб Беркли? Не так ли?— спросил мистер Болд.

— Так точио, придется топать пешком. Рессора—дело долгое.

— Хотелось, чтобы вы не говорили чепуху, Джекоб. До стаиции сорок километров.

Джекоб Беркли не удостоил своего полковника ответом.

— Проклятая страна!

Ои ие сводил глаз с пустынной дороги, уходившей желтой лентой в горизонт. Что-то шевельнулось там? Всплыло золотистое облачко. Донесся стук мотора.

Мистер Болд вышел иа середину дороги и расставил ноги в желтых крагах.

Подъехал, пыхтя и подпрыгивая на колдобинах, грузовик. Ои остаиовился лихо в двух шагах от иедвинувшегося с места Болда.

Из кабины выглянула голова в пилотке с красноармейской звездой.

— Чего встал?— спросил ои не слишком вежливо.

Болда ои знал. Кузьмича Болд тоже зиал. Встречались.

Приходилось Кузьмичу уже ие раз иаезжать в Исфаган договариваться о переброске военных грузов в Советский Союз по «леид-лизу».

«Союзнички! Те самые!»— как-то высказался он ие слишком любезно. «Аиглийский аристократ, лиса, вежливый убийца. С ласковой улыбочкой жмет руку, а на физиономии маска подлого презрения к людям».

При виде Кузьмича мистер Болд начинал дрожать, конечно, не в прямом смысле слова. Дрожь, так сказать, носила символический характер. Такая дрожь пронизывает шерстистый загривок охотничьего пса, завидевшего в зарослях дичь. Инстинктивно, внутренним, неведомым нюхом Болд почуял в Кузьмиче... Что? Болд сам еще не знал. Крайне сдержанный, осторожный сэр Болд при встрече с русским шофером не мог удержаться, чтобы рывком не воззриться на него выжидательно-напряженным взглядом. Болд проклинал себя. Он не умеет скрывать свои эмоции. Он выдает себя, выдает свой интерес. А интересоваться простоватым рядовым солдатом сэру Болду не полагалось. Болд был снобом в силу своего положения резидента могущественного государства. А сноб не замечает, не видит обыкновенных людей, разных там рядовых солдат, ремесленников и прочих. Меньше всего ему следовало выдавать свой интерес к «моторизованному чингисхану», так про себя сэр Болд назвал Кузьмича.

И сейчас, пока капрал Беркли невразумительно объяснял про рессоры, выжидательный взгляд Болда не отрывался от простодушной физиономии Кузьмича. У страха глаза велики. Расплывчатое, бесхитростное, засыпанное наивными веснушками лицо вдруг временами начинало казаться англичанину суровым, волевым. Простому, незатейливому армейскому шоферу такое лицо вроде и не требуется. Такое лицо, если оно действительно такое, каким вдруг начинает казаться, говорит о многом. Например, о том, что человек посвящен во многое. Большевик! Шофер наверняка большевик, а все большевики дьяволы. Нет, представления об облике дьявола у Болда совсем иные... Но советский шофер, даже если он не большевик и не дьявол, с такими холодными пытливыми глазами и с таким волевым ртом не очень уж простоватый человек... Нет, такому палец в рот не положишь.

Трясясь и подпрыгивая на потертой кожаной подушке в кабине грузовика, сэр Болд продолжал свои наблюдения. Он изучал сидящего за баранкой рядового советского большевика.

Почему-то Болд испытывал удовлетворение. Результаты ничтожные, но кое-что все же есть. Они не проехали и половины пути, а Болд пришел к мысли: «Этого большевика надо изучить, этот моторизованный чингисхан не так прост, каким он хочет казаться».

Изучение Кузьмича натолкнулось на серьезное препятствие.

Попробуйте поддерживать беседу — так мысленно назвал Болд допрос с пристрастием,— когда грузовик прыгает и скачет по рытвинам, кабина дребезжит, мотор грохает, а собеседник с трудом выдавливает из себя какое-то подобие фарсидских и английских слов и фраз.

Разговор не клеился. Разговор к тому же претил Болду, насквозь пропитанному изощренным снобизмом. Итак, сэр Болд был вынужден сидеть бок о бок с человеком из простонародья.

в пропыленной, измазанной машинным маслом одежде, в побелевшей на солнце пилотке, в порыжевших нечищеных солдатских сапогах. Не очень-то подходящий собеседник для лорда...

Сэр Болд совсем уж примирился с провалом операции «Чингисхан», как он мысленно именовал затеянное экспромтом «изучение» подозрительного большевика, и, позевывая, поглядывал на проплывающие мимо однообразные, скучные холмы, как вдруг встрепенулся. Моторизованный чингисхан сам задал вопрос:

— Шпрехен зи дейч?

Поразительно, моторизованный чингисхан знает немецкий. Поразительно. Значит, он, Болд, прав. Простак шофер далеко не простак. Здесь что-то кроется. Несомненно, кроется. Большевики подпустили на юг Персии немца?

Немецкий язык Болда оказался хуже, чем Кузьмича. Но они разговорились и вполне удовлетворительно. Мистер Болд пожаловался на персидские дороги, трудные, даже опасные. В холмах сидят банды разбойников. Завалы, засады, стрельба по водителям и пассажирам. Бандиты плохо вооружены, но наглы. Нападают на жандармов, захватывают оружие... Не приходилось ли мистеру...э...водителю подвергаться нападению? Да ничего, бандиты его, Кузьмича, не трогают. Бандиты из обнищавших крестьян. Как только узнают, что грузовик советский, не трогают ни шофера, ни груза. Болду показалось, что шофер насмехается. Но Болд сдержался. И все же, когда они уже подъезжали к станционному поселку, он поинтересовался: откуда у Кузьмича такое знание немецкого. Его почти удовлетворил ответ: «Я жил в республике немцев Поволжья. С детства знаю...» Упоминание о немцах Поволжья подстегнуло любопытство Болда, но разговор оборвался: они подъехали к зданию вокзала Трансперсидской железной дороги, и человек в форменной фуражке, очевидно сам начальник станции, знавший лично Болда, провел его в свой кабинет.

Поезд безнадежно опаздывал. Кофепитие и наивежливейшая беседа с начальником станции тянулись бесконечно. Болд выходил из себя: столько возможностей пришлось упустить из-за болвана в форменной фуражке... Черт бы побрал велеречивых персов железнодорожников...

Но через окно мистеру Болду удалось подметить, что Петр Кузьмич ни минуты не оставался бездеятельным. Оживленно жестикулируя, он беседовал с какими-то персами в высоких кулахах, затем втерся в компанию белоштанных, белочалмных белуджей, долго вышагивал взад-вперед по перрону с весьма подозрительным субъектом в европейской одежде.

На вопрос «кто это?» начальник станции позвал весьма представительного усатого жандарма и приказал узнать, с кем беседует господин большевик? Пока жандарм выяснял, шофер зашел к дежурному по станции и оставался там довольно долго. «Откуда такая прыть?»— думал Болд, распивая десятую чашку при-

торио-сладкого кофе. Наконец Кузьмич вышел снова на перрон и сразу же вместе с каким-то человеком побежал через запасные пути к поселку, прижавшемуся к склону горы.

В кабинет вернулся жандарм. Он узнал не так много: солдат-большевик разговаривал с учителем из Шираза. Учитель встречает свою жену из Абадана. А что делал большевик у дежурного по станции? Жандарм не знал. Пришлось послать за дежурным. Ленивый, опухший от бессонницы, бестолковый железнодорожник долго не понимал, чего от него хотят. Наконец он вспомнил. Оказывается, этого большевика вызвала еще вчера телефонистка со станции Эрак, и он разговаривал с ней. О чем, он, дежурный по станции, не слышал. Большевик только говорил «да», «нет». Что-то случилось в горах Кермана или около Кухендиза. Кто-то проехал... какой-то караван. Большевик очень забеспокоился и уехал.

— Разве вы говорите по-русски?— резко спросил Болд дежурного.

— Нет, совсем нет.

— А как вы с ним объясняетесь?

Дежурный удивленно поднял глаза:

— На фарси.

— Он знает фарси?

— Как перс...

Мистер Болд вышел на перрон. Он очень хотел поговорить с русским шофером. Но тут подошел поезд. Мистер Болд встретил, кого ему надлежало встретить.

Когда он вышел из здания вокзала, «роллройс» стоял у лестницы и Джекоб Беркли лениво рапортовал, что все в порядке.

На площади советского грузовика не оказалось.

В машине Болд задал вопрос капралу Джекобу Беркли:

— А куда девался моторизованный чингисхан?

— Что вы сказали?— удивился Джекоб.

— Черт побери! Куда провалился советский грузовик и его водитель?

— А, он свернул на Хорремабадскую дорогу.

Клыки мистера Болда чуть обнажились. Однако, чтобы Джекоб Беркли не подумал, что его мог интересовать какой-то русский большевик, Болд старался говорить небрежно.

— А.... уехал... Надо было ему дать... как это — «на чай». Русские любят получать «на чай».

Тяжелый «роллройс» козлом прыгал по бесконечной дороге.

Болд мог быть удовлетворен: первое — он установил, что большевик Кузмитш знает хорошо немецкий язык; второе — Кузмитш весьма общителен; третье — Кузмитш знает фарси и не хочет, чтобы об этом знали; наконец — Кузмитш имеет какие-то дела в Керманшахской провинции, находящейся в зоне

британской оккупации. Эти дела ничего общего с интендантством не имеют.

Проявлять нетерпение не к лицу снобу. Но на бесконечном пути до Исфагана бедному, молчаливому капралу Джекобу Беркли не раз пришлось выслушать в свой адрес самые язвительные замечания. Настроение у Болда менялось непрерывно. То он удовлетворенно бормотал: «Маленький огонек легко затоптать ногой», то разражался жалобами на дорогу, на дьявола, на бога. Болд торопился. Он гнал автомобиль всю ночь. Он не пошел спать, а кинулся в радиоаппаратную и передал в Керманшах, Хорремабад, Шираз радиограммы. В них сообщались приметы грузовой машины советской марки «газ» и ее белесого водителя.

После этого мистер Болд успокоился и потребовал чаю. Он просмотрел телеграммы и донесения. Мистер Болд не счел нужным показать, что его взволновали депеши из Турции: леди Летиция Болд проследовала через Ханекин в Керманшах на территорию Ирана, но тут же снова показал желтые клыки.

— Дьявольщина!— воскликнул он.— Запираем ворота конюшни, когда лошадь украдена!

Как никогда он был похож сейчас на английского бульдога, на усталого, изрядно потрепанного, обиженного бульдога.

До сих пор Кузмитш не входил ни в какие расчеты мистера Болда. Переброска вооружения и амуниции по Трансперсидской магистрали — необходимое, но дорогое мероприятие. Если британский штаб считает это целесообразным, дело его. Большевики ныне союзники, но... до поры до времени. Большевики наделены неутомимым, не знающим устали стремлением разрушать все то процветание и благополучие, которое защищает «Pax britanica». Пусть идет мировая война, пусть на фронтах Европы происходят битвы, пусть идет гигантская схватка союзнических держав с Гитлером! Так Англия и СССР — союзники, там они связаны союзническими обязательствами. Но здесь, на Востоке, здесь, в южном Иране, Британия остается при своих.

Мистер Болд уже давно в Иране. Много лет он проводит последовательно свою политику, британскую политику.

«Железный кулак в бархатной перчатке»— избитое выражение, но оно лучше всего выражает сущность методов Болда. По-прежнему Британия в Иране оставалась тем, чем и столетия назад, и Болд верил: останется тем же до скончания века.

В тридцать третьем году начались крупные дорожные работы в пограничной полосе Ирака с Персией. Сотни миллионов фунтов стерлингов были вложены в Трансперсидскую дорогу от Хайфы в Персию. Тогда для руководства дорожными работами приехали крупные инженеры. Но сто миллионов — это сто миллионов! Их надо было обеспечить. И Британское военное министерство отправило в Ирак известного Лоуренса, «короля пустыни». Одно это говорило, что Британия возвращается к испы-

таиному средству, к провокациям племенных восстаний против центральных правительств Ирака и Ирана — так появление Лоуренса на границе понимали все, кто разбирался в восточных делах. К югу лежали нефтяные поля Англо-Першен Ойл. Дорога Хайфа — Багдад — Тавриз сокращала расстояние до границ большевистской России до пяти-шести дней. Дорога оставляла в стороне жемчужину Британской короны Индию. Дорога парализовала торговые пути, устремленные на юг. Благородное дело, благородная миссия! Именно тогда на Среднем Востоке впервые прозвучала фамилия Болда. Сэр Гемфри Болд возник из небытия. Он появлялся повсюду, где выполнял свою миссию Лоуренс. Трудно даже сказать, где кончалась сфера деятельности Лоуренса и где начиналась область сэра Болда, кто был тигром, а кто тенью тигра. Вместе их никто не видел. Вскоре Лоуренс отбыл в отпуск в Англию. Вместо него остался Болд. Сэр Гемфри Болд — резидент.

Фамилия Болд вытеснила громкое имя Лоуренса. Тем более, что Лоуренс не вернулся на Восток. Из газетных источников стало известно, что он погиб в дорожной катастрофе.

А Болд окунулся с головой в хаос, именуемый южными племенами.

Вот уже восемь лет он колесит по степям и горам Ирана. Он мало пользуется железной дорогой. В глубине души Болд недолюбливает вагоны, паровозы. Англичанам Трансперсидская дорога не нужна. Она невыгодна Британии. Трансперсидская дорога укрепляла центральную власть Ирана. Это очень невыгодно. Трансперсидская дорога приближала СССР к Персидскому заливу, к Индии. Невыгодно, опасно. Только сооружение величайшего аэропорта в Багдаде уравновесило немного эту не нужную никому Трансперсидскую магистраль.

Болд делал упор на аэродромы Басра, Бендер-Бушир, Ленге, Джаск, Чехбар, Фад, Бахрейн. Побережье Персидского и Аравийского заливов усеяно аэропортами. Создан авиазаслон Индии от большевиков.

Очень ко времени пришлось сосредоточение в Мосуле крупнейшей бомбардировочной флотилии, особенно когда началась Советско-финская война.

Но Гитлер спутал карты. Только тогда понадобилась Трансперсидская железная дорога. Волей-неволей мистер Болд сделался ангелом-хранителем дороги и перевозок по «ленд-лизу».

Союзники! Надолго ли?

И что этот Кузмитш делает в Керманшахе? В Иране Англо-Персидской компании принадлежат все действующие, недействующие и предполагаемые нефтеносные площади к югу от линии Керманшах — Луристан — Бахтиария — Шираз вдоль гор Белуджистанской границы. Нечего Кузьмитшу совать свой нос в Керманшах.

«Кузьмнтш» в представленни сэра Болда стал обрастать не совсем еще определениыми, едва уловимыми формами, связывавшими его с крупнейшими полнтическнми проблемами Срединего Востока.

Но что это за формы, черт возьми!

ГЛАВА XIII

Он умножал старые способы и изобретал иовые и добывал деньги любым путем.

Садык Ибн ал Асир

Почему сэр Болд вдруг вообразнл, что Кузьмич напал в Керманшахе на след каравана нз Турции, трудно понять. Еще минуту до того ои чувствовал себя спокойным н уверенным. Но уже вторую чашечку кофе он оставнл недопнтой н остановившимися глазамн долго смотрел прямо перед собой. Он иичего не вндел. Он не замечал нзумленного взгляда Ашки-эффенди, пнвшего с ним кофе в прохладном н весьма комфортабельиом служебном кабинете.

Ашкн-эффендн расположился с удобством в кресле. Свою велнколепную зеленую чалму ои положнл на край стола н утер брнтый череп шелковым зеленым платком. Из-под седых бровей голубые глаза фарфоровой куклы разглядывали Болда с нескрываемым нитересом, чуть перекошенная губа эффенди слегка отвисла. После многнх странствнй по Азии Ашки-эффендн поселился в Исфагане. Ашкн-эффендн казался очень безобндиым и будничным. Лишь тревожное прошлое оставнло иестнраемые следы на его болезиенио-корнчневом лнце. Да еще зеленая пышная чалма мусульманского маддаха напоминала о его бурном прошлом.

Болд прнгласил Ашкн-эффенди на чашечку кофе, чтобы попросить его съездить в Керманшах. Так, по пустяковому, иа первый взгляд, делу. Ашкн-эффеидн вздохнул, растер пальцем мешочек под глазамн н без теии ироинн проговорнл:

— Мы готовы, как говорится, приложнть усилия, продвннуть вперед любое предприятие, служащее возвеличению могущества ислама н славной веры Мухаммедовой.

Столь напыщенная тирада иисколько ие удивила Болда. Ашкн-эффендн за сорок лет своей деятельностн на Востоке сделался правоверным мусульмаиином, более рьяным, чем пророк Мухаммед. Приходнлось снисходнтельно отиоситься к чудачествам

старика. Такое чудачество имело и положительные стороны. Например, сам Болд не мог посещать мечети, чтобы не вызывать нежелательных осложнений. А Ашки-эффенди свободно заходил в дома аллаха, совершал намаз, раздавал милостыню и, как вполне правоверный мусульманин, вел большую дружбу с великим муфтием исфаганским, самим Муса бен Риза ар Раззаком Кербелаи, который был так могуществен, что одним движением указательного пальца выталкивал любого неугодного ему за дверь настоящей жизни.

Сэр Болд пригласил Ашки-эффенди, чтобы попросить его съездить в Керманшах. Обо всем договорились быстро.

Но взгляд сэра Болда снова упал на депешу из Ханекина о том, что леди Летиция Болд проследовала через этот пограничный город. И сэра Болда снова что-то толкнуло в грудь. Он тут же вспомнил, что у него есть дела в Керманшахе. Казалось, нет никакой связи между леди Летицией и... керманшахскими делами. Но вполне естественно, что любящий муж проявил беспокойство, узнав, что его нежная супруга сейчас едет через дикие неприютные Керманшахские горы, кишащие разбойниками.

— Нет, все отменяется!— воскликнул Болд.— Извините, что я побеспокоил вас. В Керманшах я поеду сам.

— Иншалла! Так угодно аллаху,— очень солидно сказал Ашки-эффенди.— Вы поступаете правильно, когда решаете лично встретить свою уважаемую супругу...

Трудно вывести мистера Болда из себя, но на этот раз Ашки-эффенди сумел сделать это без труда...

— В чем дело?— закричал Болд.— Откуда вам известно?

Он ударил ладонью по пачке писем и донесений, лежащих рядом с чашечкой кофе. Или Ашки-эффенди читает сквозь бумагу, или он успел снюхаться с новым радиотелеграфистом.

— Иншалла, сэр, если я провинился перед вами, можете меня удушить шелковым платком или всыпать сто палок по пяткам...

Сэр Болд поморщился. Ашки-эффенди просто прибегает к избитой формуле почтительного обращения, чтобы выиграть время. А эффенди с торжеством закончил:

— Одна наша старинная знакомая, некая Сефиет, едет из Турции с тем же караваном и соизволила меня уведомить, что с удовольствием разделяет трудности пути с достопочтеннейшей Летицией-ханум.

— Какого черта вы не сказали мне раньше?..

— О, я уверен, что ваши несравненные информаторы гораздо лучше осведомляют вас, всемогущего комиссара британской короны, нежели меня, скромного мусульманина...

— Ладно, довольно невинностью прикидываться... Решено, я еду сам.

— Если вам угодно, сэр. А теперь позвольте мне вас покинуть.

Мистер Болд успокоился или почти успокоился. Ашки-эффенди являл собой образец дервиша. Он обладал репутацией честного человека. Никто, ни один персидский чиновник никогда, ни при каких даже весьма сомнительных ситуациях не мог похвастаться, что ему удалось дать взятку. Ашки-эффенди отошел от активной деятельности. Годы, болезни заставили его оставить свои странствия. Но он жил в Исфагане и был очень полезен. Он много знал. И Болд ценил, очень ценил Ашки-эффенди и в какой-то мере стремился пользоваться его советами.

Все, кто работал на Востоке, не отличались щепетильностью, не ограничивались жалованием. Все служили здесь ради обогащения и обогащались. Все имели «дело»: кто торговал каракулем, кто коврами, кто имел нефтяные акции, кто брал подряды на строительство дорог, кто просто брал взятки. Все знали это и считали естественным. Сам мистер Болд составлял исключение. Его называли «странный человек».

Рыцарь без страха и упрека, он не имел слабостей. Пил очень умеренно. Открыто презирал людей, прибегавших к наркотикам. Не предавался чревоугодию. Подобно древним спартанцам, он в свои пятьдесят с лишним лет довольствовался за обедом одним блюдом и притом самым простым.

Служебную деятельность сэр Болд превратил в культ.

Английская секретная служба разведки существует уже три столетия и сыграла огромную роль в создании Британской империи. И вполне естественно, секретная служба сумела за триста лет накопить гигантский опыт в подготовке кадров.

«Мне уютно, как клопу в ковре»,— без тени насмешки говаривал мистер Болд. Он сам считал себя образцовым порождением трехвековой английской секретной службы. Он единственный из англосаксов или один из немногих, который работал ради работы, а не ради низменных материальных расчетов. Сэр Болд фанатично относился к делу не ради карьеры, не ради денег, не ради честолюбивых расчетов...

Но ради чего и во имя чего? Остается предположить, что Болд работал во имя великих идеалов Великобритании...

Сэр Болд мчался на своем «роллройсе» с шофером Джекобом Беркли в Керманшах.

Они мало отдыхали в пути. Где-то около города Кума заехали в скромное поместье Кербелаи, большого друга Ашки-эффенди. Кто такие кербелаи? Такое звание получил скромный богомолец, совершив паломничество в Кербели — к святыне шиитов. Могущественный муфтий исфаганский Муса бен Риза ар Раззак предпочитал, чтобы его звали Кербелаи.

В окрестностях земледельцы — райяты — называли его «седобородый хитрец с черным сердцем». Он многократно совершал

паломничество в священную Кербелу, вот почему с гордостью и спесью он носил звание Кербелаи. Он хвастался дружбой с ремесленниками Кума. «Всё из глины, все живые существа из глины!— восклицал он.— И горшечников потому возлюбил аллах. Сам всемогущий аллах был мясником, и цех мясников близок его сердцу. Нет, аллах не ходил нагой, не срамил себя, значит, портных он возлюбил больше себя...»

Кербелаи заботился о жизни вечной и заставил своих земледельцев построить для себя прижизненно мавзолей, проповедуя, что аллах сам построил своими руками здание мира и посему возлюбил кирпичников и штукатуров.

Непонятно, что общего имел Ашки-эффенди с муфтием исфаганским Кербелаи. Не потому ли, что Кербелаи, сравнительно недавно поселившийся в своем новом имении, у подножия горы Зердхух среди южных племен, продавал бахтиарам и курдам по баснословно дешевым ценам английские винчестеры и патроны. И хоть караваны с тяжелыми ящиками приходили из далекой, находящейся на другом конце Ирана железнодорожной станции Захедан близ Нушки, никто из иранских властей почему-то не интересовался, что в них. А путь тяжелые ящики совершали очень далекий: из Индии по железной дороге через Шикарпур, Кветту, Нушку, Захедан.

Лицо у Муса бен Риза ар Раззака Кербелаи, желтое, обрюзгшее, с козьей бородкой, напряглось в возбуждении, которое он не смог скрыть, даже усиленно куря кальян. Он грыз ногти и производил впечатление человека, которого томят неведомые страхи. Белая ермолка на неряшливо обритой голове слезла набок. Грязноватая узкая рубаха и надетая поверх нее белуджская вроде фуфайки куртка были в пятнах так же, как и белые широкие шальвары. Трясущимися руками Кербелаи то тянулся к дорогому узорчатому кальяну, то трогал пальцами, унизанными серебряными кольцами с бирюзой, изумрудом, бриллиантами, огромный «тумор», болтавшийся на груди.

Сэр Болд недовольно разглядывал Кербелаи.

— Вы, я полагаю, опять за свое! Опять накурились,— сказал он резко. Так резко, что если бы кто-либо из шиитской паствы услышал разговор, был бы ошеломлен.

Хмуро глядя на пол, Кербелаи начал бормотать невнятное, а затем быстро и робко оглянулся. И тут лицо его засветилось детской радостью.

— Почему не приехал Ашки-эффенди?..— забормотал он.

— Не вижу разницы. А вы за свое...— рассердился сэр Болд.— Если пойдет дальше так, не придется ли нам отказаться от ваших услуг.

— Господин, извините.

Могущественный духовный властитель держался перед Болдом провинившимся школяром.

— Посмотрите на себя. Вы не отвечаете за свои поступки и слова. Вас предупреждал Ашки-эффеиди: кто имеет дело с...— Ои запиулся,— категорически ие имеет права сам пользоваться... Распускаться...

— Но, ио... я не знал, что приедете вы... я чуть-чуть... Ииаче бы не позволил...

— Чуть-чуть? Это что?

Сэр Болд показал иа стоящие открыто в ннше лампочку, накрытую стеклянным колпаком, и опиумную курительную трубочку.

— Эта вещь лишает воли, распускает язык. А нам вряд ли поиадобятся болтуиы.

— Господии, что там? Сорок лет грешить, одии год каяться. Вы не прогоните меня, вашу собаку?

Кербелаи не мог вразумительно ответить ни на один вопрос, интересующий сэра Болда. Ои знал только, что в Керманшахе ждут леди Летицию с часу иа час..

Согиувшись подобострастно, Кербелаи провожал сэра Болда, семеиил за ним до самых ворот жалкой дворняжкой. Только что не вилял хвостом.

В городе Кермаишахе разговор почти повторился с Мехраном Рзой. Мехраи Рза, малеиький провинциальный врач, известеи был и в облике актера бродячей труппы маскарабазов, и индуса «аттара»— галантерейиого торгаша, опиумоторговца, и ловца жемчуга с Бахрейнских островов, и мешхедского революционера, оказавшегося в двадцать девятом году провокатором и предателем, и амбала из Баку, и тегеранского франта, прожигателя жизни, и спекуляита армянина, ворочавшего миллионами...

Мехран Рза сидел перед Болдом с видом провинившегося мальчишки, совсем так, как сидел часа три назад Кербелаи.

У Мехрана Рзы слезливо моргали глаза, заплетался язык.

— В чем дело, наконец?— возмутился Болд. Ои дьявольски устал от автомобильной тряски, и ему надоело слушать невразумительиые объяснения. Там, в Куме, ои решил, что Кербелаи просто иакурился опиума и не может прийти в себя. Неужто и Мехраи Рза тоже накурился опиума?.. Нет, здесь что-то кроется. И Кербелаи и Мехран Рза явно путают. Но что?

Жил Мехраи Рза на широкую иогу. Дом его буквой «п» окаймлял садик и большой хауз. Между мужской половииой и садом высилась изящная ажурная стеиа с арками и окошками с затейливыми переплетами. Собеседники сидели, скрестив ноги по-восточиому, под расписным иавесом прямо на разостлаиных иа кирпичном полу коврах.

Не совсем удобио гостю заглядывать иа женскую половииу, но, воспользовавшись отлучкой гостеприимного хозяина, Болд решил рассмотреть сад. То, что он увидел, вызвало у него гневиое восклицаиие...

За решеткой в садике в шезлонге совсем по-домашнему, с благодушеством подставив лицо солнцу, расположился Даллас Рокфор, миссионер из Соединенных Штатов.

Бормоча «и сюда они пролезли», сэр Болд вскочил и пересел так, чтобы его нельзя было видеть.

— Не скажете ли мне, что у вас делает американец?—спросил Болд хозяина, когда он вернулся.

Мехран Рза залебезил:

— Простите... извините. Я не сообщил, не успел сообщить.

— Когда приехал американец?

— Он приехал...— беззвучно просипел Мехран Рза...— заверяю вас, он приехал сегодня.

— Мне наплевать на заверения... У нас с вами договор. Вам невыгодно, очень невыгодно водить меня за нос. Не так ли?

— Клянусь! Он, американец, потребовал... просил, чтобы я молчал о его приезде!

— Плевать мне на клятвы. Но у вас это не пройдет.

Потом Болд прибавил:

— Говорить ему про меня не советую.

Хозяин почтительно поклонился.

Американцы тоже интересуются «тем самым». Видно, запахло на Среднем Востоке большим «бизнесом», если заставили его преподобие монсеньора Далласа отложить в сторону дела Иисуса и направить свои стопы в Иран... Первой мыслью Болда было вышвырнуть Далласа из Кермангаха.

Но стоит ли? Все-таки американец, союзник, а Далласу не очень будет приятно узнать, что каждый шаг его известен британской разведке...

Не пытался скрывать Мехран Рза и зачем приехал американец. На турецко-персидской границе усилился таможенный досмотр, задерживается переброска тысяч тонн шерсти, хлопка, растительных масел. Груз очень важный и предназначен для Германии. Даллас сейчас хлопочет, чтобы груз пропустили скорее. Вполне естественно, Даллас получит комиссионные.

Болд успокоился. Поведение и Кербелаи и Мехрана Рзы объяснилось. Американец играл в таинственного незнакомца, а они пытались подзаработать за спиной сэра Болда... Ничего у них не получится. Попались напроказившие щенки...

Он взглянул на Мехрана Рзу и удивился. Лицо его сделалось еще более жалким: «Неужели так сильно раскаяние?» Вслух же он сказал:

— Где остальные путешественники?

И тут стала понятна причина смущения Мехрана Рзы и Кербелаи. Они, которые должны были знать, что делает каждая собака в Кермангахской провинции, прозевали самое главное.

— Госпожа Сефиет также прибыли...

— Где леди Летиция?

— Караван имел стоянку в Кухеиднзском караван-сарае. Ночью на караван-сарай совершили нападение неизвестные. Груз угнали на верблюдах в горы.

— А члены экспедиции? Их увели в горы?

— В том-то и дело, что нет. Фазлутдин увез женщин из караван-сарая еще днем, а нападение произошло после полуночи...

Выдержка и на этот раз не изменила Болду. Кто его знает, что делалось у него в душе, но он ничем не показал, что потрясен. Стремительно он задавал вопросы. Слова его хлестали плетью. Что? Где? Когда? Как? Он весь подобрался для прыжка.

Он написал несколько записок и отослал их со слугами во дворец губернатора, в амнию, в полицию, коменданту английского гарнизона.

Но бешеная его деятельность не дала никаких результатов. Он бил молотом по пуховой перине.

Никто не знал, что случилось. Из всех скудных разговоров следовало, что леди Летиция вместе с сопровождавшими ее спутницами отстала и попала в руки не то курдов, не то работорговцев. Губернатор настоятельно рекомендовал сэру Болду действовать мягко. Малейший нажим — и дело может кончиться трагично. И курды, и работорговцы не любят шума. Горы пустынные, дикие. В случае чего и следов не найдешь. Надо ждать.

После, когда Болд найдет свою синеглазую супругу, какова ни была бы ее судьба, курды жестоко поплатятся за то, что осмелились протянуть грязные свои лапы к англичанке.

Его душили приступы ярости, но наедине с собой, когда никто не мог его видеть. При персах, даже при верном флегматичном Джекобе Беркли, сэр Болд оставался невозмутимым, деревяноликим англичанином, с ледяным выражением спокойного лица.

Ни единым жестом, поступком Болд не показал, какая буря бушевала у него в груди. Он никогда не позволял себе приспособляться к персам, к Востоку. В персидских приемных и гостиных он был таким, как если бы сидел в своем Линкольншире или Сусексе,— выдержанным, холодным, высокомерным. Даже с офицерами местного английского гарнизона он не откровенничал. Они не знали, что случилось с его женой. А среди персов он держался еще более скрытно. Отношение высшего существа к низшему — вот определение, которое наиболее подходило к его поведению,— пренебрежительное высокомерие, надменность, чрезмерное самолюбие... Ему это очень вредило. Никто ему не сочувствовал. А губернатор даже сказал: «Подумать, столько шума из-за какой-то женщины. Всякий считает своих гусей лебедями».

Свою точку зрения губернатор, конечно, не высказал. По приказу губернатора во всей провинции создавалась видимость

лихорадочной деятельности. Сэр Болд был уверен, что полнция и жандармерия подняты на ноги.

Расплывшееся красное лицо Мехрана Рзы превратилось в дрожащий студень. Воловьи глаза его совсем выкатились. Жидкая черная борода, величественно ниспадавшая обычно на толстое брюхо, свалялась в кошму. Он старался вовсю.

Тяжело перводя дух, Мехран Рза сидел на козлиной шкуре н повелевал. В доме его толпнлись ободранцы и почтительно молчалн. Сегодня опиумоторговец Мехран Рза был накиб-уль-эшреф — начальником шерифов и «пустнишином»— сндящим на звериной шкуре. Накиб очень почетное звание. Накнб-уль-эшреф — сверхпочетное. А выше пустнишина среди дервишей Ирана и Востока и вообще не найдешь. Накнб-уль-эшреф сидел на леопардовой шкуре н разглагольствовал. Зеленая чалма налезла на лоб, рука скребла опухшую лодыжку, а заржавленный голос, повизгивая скрипуче, выкрикивал что-то равнодушно и нудно о врагах аллаха, об изменах, о сражениях. Едва ли косматые, волосатые, в своих барашковых, усыпанных перхотью шапках и лохмотьях дервиши понимали толком, что их уважаемый накнб-уль-эшреф говорит о великой войне в Европе. Кто-то воюет. Кто-то убивает кого-то. Они ждалн с нетерпением, когда им скажут дело, после чего накормят н отпустят.

Мехран Рза болтал и болтал, и смореные скукой и ленью некоторые дервншн спали без стеснения.

Наконец онн встрепенулись: накиб-уль-эшреф сказал, что надо делать.

Надо обыскать все дороги, все караван-сараи, все гостиницы.

— Иднте! Бегнте! Ищите!

— Приказываю н повелеваю! Повсюду нщнте и найдите человека по именн Фазлутднн. Ищите его на небе н на земле, в воде, под землей. Найдите его. Скажите ему: накиб-уль-эшреф ждет его...

Мехран Рза прнказал слугам тщательно вымести дворнк и посыпать толченой персидской ромашкой. Болду он сказал:

— Завтра мы узнаем, что с достопочтенной вашей супругой.

Он округлнл свои воловьи глаза и пошел, шлепая чувякамн, на женскую половину. Он пыхтел и отдувался. Остановившнсь у дверей, картинно поднял руки и проснпел:

— Они найдут!

В словах его звучала уверенность, которая передалась и Болду! Болд знал, что по частн тайного сыска его резндент Мехран Рза незаменим, что дервншн его, словно крысы, пробнраются во все щелки, что нн одна живая душа не укроется от нх глаз. Дервишей легион. Онн отлично служнли Мехрану Рзе н его хозяевам с Даунинг-стрит. И сейчас он не премннул доложить, что по дорогам провннцнн разъезжает советскнй грузовик.

Шофер грузовнка интересуется судьбой женщии, захвачеиных разбойииками в горах Курдистана.

Накинув картнние свою леопардовую шкуру иа плечн, иакиб-уль-эшреф велнчествеииым шагом иаправился в эндеруи. Наконец он мог осмотреть приведениых двух девиц, которых ему прнобрел в горах за несколько тумаиов его вериый дервнш.

Дервнш быстро зашептал своему хозяину что-то на ухо. Только час иазад дервнш приехал верхом с нранской границы. Захлебываясь, он расхваливал достониства каких-то красавиц, помииая имя бардефуруша Фазлутдииа.

— Ты отвратительный сводиик!— восклнцал Мехран Рза, поглаживая плечико иесчастной девочки,— грязный ты развратиик! Тысячу раз говорнл тебе, чтобы ты ие говорил мие, ие упоминал при мие про европейских женщнн. Одиа с инмн возия. Садись иа коия — да возьми самого лучшего моего коия — и скачи в тот караваи-сарай. Прикажн Фазлутднну привезтн сюда эту рыжую англичанку. Скорее! Скажи ему, что господнн Болд готов раскошелиться. За жену ои даст золото, много золота. Или лучше я напишу ему.

Он иабросал записку.

— Хорошо. А теперь убирайся. Обойдется без тебя...

Согнувшись пополам, дервиш нсчез. Воловьи глаза Мехраиа Рзы сделалнсь масляными. Ои пододвинул подиос со сластями к девочкам и ласково проговорнл:

— А теперь, гурин райские, мы с вамн побеседуем...

ГЛАВА XIV

> О Исфаган! Ты музыкой уже в своих садах разбудил цветы, и душу мою навсегда проннзал аромат разбуженной розы.
>
> *Аполлинер*

«Мне уютио, как клопу в ковре»,— любнл говорнть Болд. Не очеиь эстетично, но крепко. Клоп — насекомое во всем иеприятное.

Сравнивать себя с клопом — верх оригииальности. Но жизнь в пустыне располагает к грубостн. Сам мистер Болд не считал грубостью проводить параллель между собой н клопом. Ои иаходил, что это здоровый аиглнйский юмор. Болд уютио чувствовал себя на совсем иеуютиом Среднем Востоке. Он любнл свою работу, отдавался работе с увлечением.

Леди Летиция не разделяла его увлечений. Она чувствовала себя иа восточном ковре очень неуютно и поражалась: что дер-

жит Болда в Иране — жалование, высокий оклад? И она, и все знали, что Болд считался одним из самых состоятельных земледельцев в Англии. Он унаследовал от очень расчетливых и деловых предков вместе с титулом поместья, фабрики, океанские лайнеры. Его жалованье на восточной службе составляло сотые процента его доходов.

Честолюбие? От своего отца он унаследовал звание пэра королевства и занимал кресло в палате лордов.

Карьера? Со времени юности он шагал от военного чина к чину с такой легкостью, что давным-давно обогнал всех своих сверстников по «Сандхерсту».

Выходя за сэра Болда, окутанного дымкой романтической тайны, специалиста по делам Востока, юная Летиция в воображении видела себя среди персидских ковров и ширазских роз. Ей мерещились необыкновенные восточные сладости, арабские бурнусы, пальмы, балы в посольствах, экзотические путешествия, гаремные тайны... Возможно, что такие, довольно тривиальные, представления сыграли едва ли не решающую роль в согласии отдать свою нежную руку и неискушенное сердце претенденту, почти втрое старшему по возрасту и не слишком привлекательному по внешности. Выпирающими надбровными дугами, бульдожьим подбородком, руками ниже колен сэр Болд заслужил прозвище Павиан.

Леди Летиция третий год уезжает на летние месяцы в Англию. Все привыкли в Исфагане в британской колонии к долгим отлучкам леди Летиции. Никто не жалел сэра Болда. Все сочувствовали молодой женщине.

И сегодня никто не придал значения тому, что леди Летиция не приехала ко времени окончания жаркого сезона. Но когда сэр Болд уехал, просочился слушок: леди Летиция в Курдистане попала в беду. Но что, как и почему, никто не знал.

Работа и в отсутствие Болда не прерывалась. Колесики хорошо налаженного механизма крутились. Сэр Болд был фанатиком своего дела. Такие начальники неприятно требовательны. И хотя его люди сидели здесь, в Южной Персии, отнюдь не в погоне за высокими идеалами, работа шла очень хорошо. Даже отсутствие начальника не сказывалось ни в чем.

«Железный кулак в бархатной перчатке»,— так говорили о Болде. Бархатная перчатка нисколько не смягчала ударов. И это подчиненные знали. Конечно, они предпочли бы, чтобы железный кулак применялся только в отношениях с туземцами. Конечно, Болду не мешало бы считаться со своими соотечественниками, сослуживцами. Но Болд не щадил себя и не считал нужным щадить своих сотрудников. Они служили здесь ради «Пакс Британика». Никаких скидок: ни на болезни, ни на климат, ни на семейные дела! Держать собаку, а лаять самому, не в правилах Болда. Он выше своих помощников, неизмеримо выше. Он не-

изменно напоминал, что в его жилах течет кровь рыцарей времен войн Алой и Белой розы, что предки его восходят к плантагенетам. Его катехизис: верую в отца моего, и в его отца, и в отца его отца, собирателей и хранителей моего родового поместья, моего замка, и верю в себя, в свое «я». Так, по его утверждению, клялись все его аристократические предки.

А железный кулак в бархатной перчатке делал свое дело и в семейной жизни Болда. Иногда голубые, небесно-голубые глаза леди Летиции горели злостью. А злость — плохой советчик супружеской любви.

Голубые, поистине небесного оттенка глаза нежной леди Летиции на этот раз не озарили нежным светом скромную виллу «Букет роз», резиденцию лорда Болда в Исфагане, когда он вернулся. К величайшему изумлению и слуг, и особенно экономки, престарелой исфаганской армянки Шушаник, из облака пыли, поднятого заторможенным «роллройсом», вынырнула не белокурая леди Летиция, а черноволосая, темноглазая, очень элегантная особа под руку с высоким костлявым субъектом.

Сам мистер Болд пресек всякие расспросы. Он коротко бросил:

— Миссис Шушаник, будьте любезны поместите в комнатах леди Летиции мадам Сефиет.

Он сдал ошеломленной экономке турчанку, а сам занялся ее спутником, которого представил как папского легата монсеньора Далласа Рокфора, миссионера из Соединенных Штатов. О третьем пассажире, приехавшем в автомобиле — Зуфаре,— сэр Болд не сказал ни слова. Он, по-видимому, вообще не замечал его. Джекоб Беркли сам отвел его к дворецкому — индусу в великолепной сикхской чалме.

А сэр Болд прямехонько направился в свой служебный кабинет и кинулся к газетам, которых не читал уже целую неделю. Он ни слова не сказал о леди Летиции. С увлечением он начал вслух комментировать информацию в «Таймсе» о нью-маркетских и эпсомских скачках.

— Поистине,— пробормотал секретарь резиденции, тайно влюбленный в леди Летицию,— если бы одна из кобыл-фавориток носила имя Летиция, мой шеф уделил бы ей несколько слов.

— Не соблаговолите ли, Джингл, посвятить меня в то, о чем вы бормочете?— спросил Болд.

— Простите, но я хотел спросить, какие новости о вашей супруге леди Летиции?

Не откладывая в сторону газету, Болд из-за нее проворчал:

— С вашего позволения, леди Летиция попала в руки иракских курдов.

Джингл издал возглас. В нем были и сожаление и ужас. Болд прибавил с полным самообладанием:

— Посольство в Тегеране сделало соответствующее представление. Правительство заверило, что меры приняты.

— Но... но, какое несчастье! Невероятно! Бедная леди Летиция!

Сэр Болд все так же из-за газеты сказал:

— Не сомневаюсь, леди Летиция и в столь чрезвычайных обстоятельствах сумеет сохранить достоинство английской леди.

Он не нашел нужным продолжать обсуждение трагической участи своей жены. Ни слова не сказал он и о своей попутчице, которая столь неожиданно поселилась на вилле «Букет роз».

Дочитав передовые статьи в «Таймсе» и выпив чашечку кофе, сэр Болд занялся текущими делами.

В своей резиденции он действительно чувствовал себя преотлично, как клоп в ковре. Бешеная скачка в автомобиле по колдобистым дорогам Южного Ирана утомила его. Он не нашел леди Летицию, но он получил очень много от поездки. Он собрал поистине великолепные сведения. Из небытия всплыли новые планы, планы, сулившие прекрасные перспективы делу, делу «Пакс Британика». И, главное, планы были всецело в его руках. Хранительница планов сидела в его доме, в его резиденции. Турчанка, отдыхавшая в покоях леди Летиции, представляла собой целую проблему, грандиозную проблему, которая могла изменить судьбы целых стран и народов, повернуть ход исторических событий.

Итак, прежде всего Болд приступил к составлению шифрованной каблограммы. Новая проблема, конечно, заинтересует Даунинг-стрит.

ГЛАВА XV

Говорить о божественных установлениях с кинувшимся на тебя диким быком...

Шериф Тебризи

Приезд монсеньора, его преподобия господина Далласа Рокфора, казалось, обрадовал Болда. Он позволил себе даже улыбнуться.

Его преподобие из Соединенных Штатов. Известный проповедник и благотворитель. Очень печется о туземцах Востока.

Те, кто знал сэра Болда поближе, не любили, когда он радовался. Улыбка на его первобытном лице вызывала у собеседников нечто вроде озноба в спине. Первобытная какая-то улыбка. Хотелось обернуться и посмотреть назад. Но разве виноват сэр Болд, что господь бог наградил его клыками питекантропа, которые плотоядно обнажались в улыбке.

Даллас вздрогнул, когда сэр Болд ему улыбнулся. Даллас первый раз разглядел сэра Болда вблизи.

«Господь всесильный,— подумал Даллас,— почему меня не предупредили? Аристократ англичанин похож на павиана. И подумать только, у человека с Британских островов так резко проявились в наружности атавистические черты».

Американец утешал себя: самая животная наружность подчас присуща вполне цивилизованным и даже симпатичным людям.

— Из Штатов?— осклабился сэр Болд, и преподобному Далласу почему-то показалось, что у англичанина слишком много зубов.— С молитвой и евангелием? А пулемет вы не захватили?

— Какой пулемет?— удивился Даллас.

— Если вы не застрелите, вас застрелят... Я полагаю, даже с вашим евангелием...

Проясняя Далласу обстановку, Болд прибавил:

— Туземцы, различные персы, луры, кашкайцы, взбесились. Отлично разобрались, что существование их зависит от вражды и зависти европейских держав. Поняли, что это гарантия их самостоятельности и безопасности даже теперь, когда Британия и Россия играют в дружбу. Но персы перепугались. Пока лев с медведем грызутся, зайцам — жизнь. Не так ли... Лев с медведем ныне целуются — зайчикам плохо. Зайчики решили дружить с волком, то есть с бесноватым...

— С бесноватым?

— С бесноватым фюрером... с Гитлером. С немцами.

— А здесь немцы?— оживился Даллас.— И вы знаете, где?

Наивные всегда бесили сэра Болда.

— Не сдается ли вам, что персы при Адаме и Еве лучше разбирались в политике, чем вы, американцы, теперь... Ладно! Ладно! Надолго сюда? Здесь жарко. Чем скорее вы унесете ноги отсюда, тем лучше для вас.

Линялая физиономия Далласа нисколько не изменилась. Серовато-зеленоватые глаза его бегали по сложному драгоценному узору стен, пестрым изразцам рамки очага-камина, коврам.

— Живете недурно,— сказал невозмутимо американец.— Интересно, что здесь пьют?

Он смерил глазами коротконогого, длиннорукого Болда, и в голове его мелькнуло: «А что пьют павианы?»

Он даже ухмыльнулся. Ухмылка его отнюдь не утихомирила Болда. Но он смолчал. Резко повернувшись, сэр Болд пошел к тяжелому занавесу золотистого бархата. За ним открылся двор, окруженный с трех сторон жилыми помещениями виллы «Букет роз». Керамические красно-бело-черные плиты устилали дорожки, ведшие среди цветов к пятиугольному бассейну. Пригласительно махнув рукой на кирпичное возвышение, устланное глян-

цевнто-желтыми цнновками н краснымн паласами, Болд прошел через террасу с резными колоннамн н направнлся к арке.

— Сюда нельзя,— усмехнулся он Далласу,— здесь эндарун, женская половниа.

Он нсчез. Даллас бродил среди роз. Глаза его рыскали.

Вскоре Болд вернулся.

— Вы жнвете набобом, сэр!— воскликиул Даллас Рокфор.— Квартнрка вам кое-чего стонт?

— Дом — моя собственность,— буркиул Болд.— Не выложнте лн вы мие, зачем прнехалн?

— Но я ошеломлен. Ваша внлла — дворец. Стонт нэрядных деиег... За один решетки! За них в штатах дадут десятки тысяч.

— Решеткамн не торгую. Садитесь. Рассказывайте.

«Однако сэр Павнан не очень вежлив!»— подумал Даллас. Вслух он пронзнес:

— Евангелическое общество рекомендовало мие обратиться к вам, сэр Гемфрн Болд.

Сэр Болд вопроснтельно посмотрел иа Далласа:

— Какого черта?!

Но это довольно иелюбезное замечанне смягчил своим появленнем дворецкнй — нндус в белоснежиой снкхской чалме и с жнвописиой дремучей бородой. Он появнлся иеслышно. Поставнл резиой столнк перед Далласом, бутылку виски и снфои с содовой водой.

— Пейте!— проворчал Болд.— Не пойму: что еваигелнстам делать здесь. Исламская страиа. Шахсей-вахсей. Фанатикн! Не захотелось лн вам в мученнкн?

— Позвольте мне сказать.— Полниялое лнцо Далласа пошло пятнами. Он вынул из запнсиой книжкн пнсьмо н протянул Болду.

— Валяйте!— сказал, чуть смягчнвшнсь, сэр Болд, повертев лнсток перед глазамн.— Вон вы какой евангелнст!

— Мы ловцы душ. И священннки н не священннкн.

— Но что вам понадобнлось именно здесь?

— Большевнкам прнходится плохо. Сталинград на волоске. Но путн господа неисповеднмы. Пораженне большевнков ие означает лн победу... гм-гм... Запада.

— Не кажется лн вам, что вы втолковываете мие азбучные нстины?

— Победа союзннков иад фашнзмом необходима, ио в нашу трнумфальную колеснпцу попросятся русские.

— Победа Советов поставнла бы под угрозу всю европейскую цнвнлнзацню. Особенио опасно это для Ираиа, для ннтересов европейцев в Азии.

Лнцо Болда сморщилось. Ои больше, чем когда-лнбо, сделался похож иа павнана. Так, по крайней мере, подумал Даллас. Еще он подумал, что Болду их разговор иепрнятен, ио он поспешнл продолжнть:

— Пока не поздно, в Иране, на всем Среднем Востоке, необходима моральная и физическая чистка.— Он молитвенно воздел очи горе.— Опасность коммунизма растет. На нынешнем этапе применение насилия себя вполне оправдывает.

Сэр Болд смотрел вопросительно. Нет, святоша замахивается далеко.

— Христос говорил: «Сильный да окажет благодеяние слабому». Персы не способны мыслить самостоятельно, не способны к самоуправлению. Персам не хватает интеллектуальной зрелости. Да-да, взгляните на их черные физиономии, на их оттопыренные губы, бараньи глаза. О, я хорошо знаю наших негров на нашем юге. Мышление, мораль их не соответствуют качествам ума прогрессивного общества. Там у нас в черном поясе это компенсируется просто. Там правящие классы мы — белые, мы — представители высшей расы. Здесь древний субстрат; мекранские негритосы заразили арийское население черной кровью. У перса нет в голове аппарата, который мы, белые, развили для решения проблем прогресса и цивилизации. Перс отвечает за грехи дедов и прадедов, которые грешили с негритянками и плодили цветных ублюдков. Вся персидская нация — нация цветных ублюдков....

Даллас Рокфор разъярился. Он закатывал глаза, плевался, выкрикивал нечто нечленораздельное. Напяленная только что ряса благочестия и христианского снисхождения к слабым слетела с него. Он забыл даже, о чем начал говорить, и сэр Болд, морщаясь все сильнее, напомнил ему:

— Не объясните ли вы, что имеете в виду?

— Прошу понимания, сочувствия и помощи в святом деле ловли душ, охоты за человеками!— воскликнул Даллас.

— Полагаю, что я не поп,— сказал Болд.

Преподобный Даллас не реагировал на грубости:

— Тегеранское правительство не лишено понимания. Оно знает: если большевизм оправится от поражения, Ирану грозит опасность. Русский колосс всегда являл собой угрозу для Персии, смертельную угрозу. И тегеранское правительство приняло решение. Оно ищет покровительства не столько у Гитлера, сколько у доброжелателей. А доброжелатели мы — Соединенные Штаты Америки.

Преподобный Даллас добродушно созерцал Болда. Даллас ждал, что скажет Болд, Даллас раскрыл свои карты. Но Болд не спешил. Он молчал.

Конечно, Гемфри Болда трудно застигнуть врасплох. О том, что США поглядывают на Средний Восток, знал всякий. Знал и Болд, даже без откровений его преподобия. С начала века Великобритании приходилось обуздывать аппетиты американцев, тянувшихся к иранской нефти, иранскому опиуму, иранским коврам, иранским редким металлам. Сэр Болд представлял в Исфа-

гане «Средне-Восточный центр», находившийся в Каире. Центр держал под контролем, суровым, жестким, всю внешнюю и внутреннюю торговлю стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе и Ирана. «Средне-Восточный центр» был торговой цитаделью англичан на Востоке.

Болд иногда называл себя Цербером. Он любил такое сравнение. Цербер — звучит грозно, и потом в слове «Цербер» что-то от античных времен. Цербером сидел сэр Болд у врат торговли и процветания Британии на Востоке. Со снисхождением и в то же время ревниво посмотрел он на лоснящееся багровое лицо преподобного Далласа и почти нежно проблеял:

— Требуются ли доброжелатели? Персы обойдутся без доброжелателей. Им хватает вполне того, что даем мы. Мы — это созданная каирским центром «Коммерческая корпорация Соединенного Королевства». Полагаю, вам известно, что эта корпорация снабжает с прошлого года английскими товарами весь Иран...

— А мы, американцы, создали «Администрацию ленд-лиза», и мне поручено представлять, дражайший мой союзник, эту почтенную организацию. Иран нуждается в добрых опекунах. Столетиями вы, англичане, удили здесь рыбку. Но удили грубо. На Востоке надлежит удить золотым крючком.

— И?

— А мы пришли сюда с библией и долларом. С золотым долларом!— не без умиления воскликнул преподобный Даллас.— И мы не хотим бросать Иран на произвол судьбы.

— Значит, библией и долларом вы нас, британцев, по затылку? Откровенно!

— Откровенность — первая христианская добродетель. Мы поняли, и вам пора понять, что вам, британцам, придется потесниться на Востоке. Но нельзя допустить, чтобы вакуум заполнили немцы. И вот мы здесь... с библией и долларом. А вы, господин Болд, я надеюсь, гм-гм... поможете нам словом, опытом, знаниями.

— И потому вы помогаете немцам скупать в Иране сырье — шерсть, хлопок, масло...— и переправлять его через Турцию?

— Вы и это знаете?

— Вы сами говорите о нашем опыте, знаниях.

— Что ж, дело есть дело.

Сэр Болд яростно грыз мундштук трубки и издавал звуки, похожие на тихое рычание, которое Даллас мог истолковывать так, как ему заблагорассудится.

Преподобный Даллас чувствовал себя отлично. Он любовался восточным великолепием убранства виллы «Букет роз». Любовался с хозяйским видом, не считаясь с тем, нравится это или не нравится сэру Болду.

ГЛАВА XVI

Он никогда не держал слово, но всегда выполнял угрозы, ничего попусту не говорил, ничего ни для кого не делал.

Мискавейх

Зимовку кашкайцев в ущелье Бивенд называли «Райская обитель». Вся пустыня завидовала кашкайцам.

Из-под ладони Прокофьев обозревал долину.

— Однако ничего райского,— сказал он сидевшему рядом в кабине Зуфару.

— Пустыня как пустыня.

Говорил про пустыню Зуфар равнодушно, без малейшей досады. Он привык к пустыне с детства, принимал ее как должное, как нечто само собой разумеющееся. Он даже немного недоумевал, когда порой Кузьмича злили жара, сушь, соль, песок.

А Кузьмич воспринимал пустыню как уродство природы. Его деятельная натура не могла мириться с тем, что существуют пустыни. «Их надо просто уничтожать,— говорил он.— Придет время — и мы ими займемся».

Но сейчас Прокофьев занимался в Иране, по-видимому, совсем иными делами.

Найдя, наконец, Зуфара в Исфагане, майор Прокофьев не стал предаваться дружеским излияниям и воспоминаниям об их удивительном и изнурительном плавании по Черному морю. Не нашел он нужным рассказывать, какими путями он попал из Турции в Иран, а сразу же ввел Зуфара в обстановку в южном Иране. Под конец он сказал:

— Ты неоценим. Твое знание Ирана, языка, обычаев... Одним словом, поехали...

Слово «поехали» Прокофьев понимал в очень широком смысле, стремясь подчеркнуть, что все ясно и понятно.

Конечно, на деле все оказалось не так просто, и Кузьмич сам принимал тщательные меры, чтобы его встречи с Зуфаром не сделались известными на вилле «Букет роз». Да и сейчас совместная поездка Кузьмича и Зуфара в «Райскую обитель» была обставлена весьма, как выразился Кузьмич, конспиративно... Зуфар, например, выглядел в «чухе» и барашковой шапке исфаганским горожанином... Грузовичок, пыхтя и тарахтя, втащился на обрыв.

«Райская обитель» вблизи выглядела неприглядно. Рыжекрасные полосы выгоревшей на солнце травы, заросли жухлой колючки, серая галька иссохших русел, верблюжьи горбы аспидных гор больше подходили для врат ада.

Над раскаленным морем пыли щербатились развалины. Высившиеся некогда гордо и неприступно кирпичные башни обрушились то ли от древности, то ли от подземных столь обычных здесь толчков. Сотни две уродливых мазанок, с дырами вместо окон и дверей, лепились друг на друга по крутизне склона холма, образуя узкую неровную улочку.

На огромном пустыре перед селением громоздились высоченные ворота каравап-сарая или того, что когда-то было караван-сараем. Ограда его и строения давно уже превратились в груды глины и битого красного кирпича. Толстый слой скотского помета и человеческих испражнений покрывал обширный двор. Смрад бил в нос.

На глиняной завалинке в воротах сидел оборванец, краснорожий, с соломенными усами, с черепом, покрытым коростой парши, и прикладывал к воспаленным глазам белый порошок.

Оборванец даже не шевельнулся, когда грузовик с грохотом затормозил у самого его носа в воротах. Он не проявил любопытства. Не поднял даже голову.

— Маскарад!— проворчал Кузьмич.— Сверху драньё, рубище-то накинуто на добротный френч... Детские штучки...

— Эй, человек, что делаешь?— высунулся Кузьмич из кабины.

— Глаза лечу,— отозвался странный оборванец. Говорил он тихо и скучно.

— Чем лечишь?

— Квасцы с опием.

— Глаза выжжешь.

Запахнувши на груди лохмотья, оборванец промолчал. Естественно было ожидать, что он спросит Кузьмича, куда он едет. Но он не спросил и продолжал, кряхтя и сопя, прикладывать лекарство к глазам.

— Как называется это местечко? Что это за караван-сарай?— спросил, помолчав, Кузьмич.

— Как называется? Благоустроенное наше селение именуется Бихишт, что, непонятливый чужеземец, означает рай.

— А где же рай?

— Вот.

Оборванец широким взмахом руки обвел и ветхие ворота, и загаженный двор, и глиняные кубики, игравшие роль жилищ обитателей рая. В темных дырах дверей белели лица любопытных, сверкали белки глаз, шевелились лохмотья.

— Рай,— убежденно сказал оборванец.— Раз у людей вода есть, хлеб есть — в раю живут.

— У каждого народа рай свой.

— Рай пророка Мухаммеда — оазис в пустыне.

Они вылезли из грузовика, пересекли двор караван-сарая и вышли из развалин. Здесь стало полегче дышать. Улочка вела

мимо мазанок, через холм к большой открытой луговине, на удивление зеленой и привлекательной. Шагах в трехстах в неширокой лощине чернели громады шатров.

С десяток явно науськанных псов выбежали из-за ближнего чадыра. Угрожающе рыча, они приближались большими прыжками. Любой из псов мог поспорить ростом и клыками с барсом.

Никто не вышел из чадыров. Но не одна пара глаз наблюдала с интересом за ними.

Не торопясь, Кузьмич шел через луговину. Зуфар шагал за ним. Собаки мчались навстречу без лая. Самые опасные собаки не лают, особенно пастушьи волкодавы, которые запросто могут сшибить грудью человека, перервать ему горло.

Вдруг собачья стая замедлила свой бег. Словно по команде, все псы уселись. Подобострастно виляя обрубками хвостов, смотрели на Кузьмича. Равнодушно посвистывая, он шел среди собак.

Обитатели чадыров собирались насладиться занимательным зрелищем, и они не ошиблись. Они увидели, что грозные хранители кочевья, свирепые волкодавы, превратились в овечек.

Кузьмич обладал талантом, очень полезным в диких пустынях и степях. Его взгляд укрощал самых свирепых волкодавов, которым ничего не стоит стащить всадника с коня. Иные псы, встретив взгляд серых, почти бесцветных глаз Кузьмича, ложились на землю и ползли на брюхе, скуля, к его ногам, чтобы лизнуть носок его сапога. Услышав голос Кузьмича, собака начинала ласково повизгивать. Спокойно, чуть в нос Кузьмич произносил лишь одно слово, и вся стая смирялась...

— Подождите,— сказал Мирза Кашкаи, обращаясь к гостям, двум седоватым европейцам, сидевшим на подушках в глубине чадыра.

Кашкаи смотрел через прореху в шатре.

— Сейчас русские запляшут. Мои собачки потреплют их. Э, да что с ними? А ну, Каплан, покажи им!

Услышав свое имя, громадный дог поднялся с ковра и заглянул Мирзе Кашкаи в глаза.

— Поди, Каплан, сними штаны с нахалов!

Он приподнял полу шатра, и Каплан, радостно урча, выскочил наружу. Кашкаи и европейцы наблюдали за догом, мчавшимся к непрошеным гостям.

Советский солдат небрежно махнул рукой и что-то сказал. Дог озорным теленком запрыгал вокруг него, радостно повизгивая.

Мирза Кашкаи воскликнул:

— Что такое? Гипноз! Укротил Каплана в одну секунду.

— Ловкость! Большевик знает фокус,— сказал один из европейцев.

— Побеги он — Каплан порвал бы его.

— Они идут сюда.

— И Каплаи идет как прнвязаиный. Я прнму их в парадиом чадыре. Хочу узиать собачий секрет русского.

Мнрза Кашкан поднялся, хлопнул в ладошн и отдал распоряжение вбежавшему слуге.

Кузьмнчу н Зуфару оказали весьма радушный прнем. Могущественный глава союза кашкайскнх племен сонзволил восседать на подушках в парадном чадыре. Мнрза Кашкаи соблаговолнл шуткамн усиащать свою речь.

Но во взгляде его выпуклых бараиьих глаз читались подозренне, мрак, скука. Казалось, он ие решнл еще, что ему делать с русскнми.

Вылощениый, в дорогом костюме англнйской шерстн, с модным галстуком Мнрза Кашкан явио тяготнлся гостямн. Он простуднлся, из иоса у иего текло иа узенькне уснкн, н спецнальио прнставлениая девочка-прнслужница лет двенадцатн утнрала ему нос. Леииво ои пинал ее ногой, когда она забывала сменять носовой платок. Она плакала, ио слезы мгиовеино высыхалн иа ее гранатовых щечках, едва ои взглядывал на иее. Другая — девнца европейского тнпа, пышиая блондннка — делала повелнтелю, пока шел завтрак, педнкюр. Кузьмнч морщил иос н ин к чему иа суфре не прнтронулся, чем явио навлек на себя иеудовольствне грозиого хозяина.

Непрнветлнвые взгляды, постные физиономни слуг ие сулили иичего хорошего.

— Экне морды,— сказал Кузьмич Зуфару. Он вел себя неосторожно, ио вряд ли здесь поннмали по-русски.

Петр Кузьмнч заговорнл о деле. У него есть заданне комаидовання советской зоны закупить и перевезтн иа север по железной дороге большую партню гуммудраганта, шерсти, кож. Расплата иаличными в твердой валюте...

Одутловатые, снние от выступнвшей щетииы щеки Кашкаи потемиели. Только что он хотел высмеять русского, задать ему очеиь ехидиый вопрос: «И чего этот русский солдат шатается по кочевьям, распугнвая грохотом мотора кашкайцев? Чего ои, русский солдат, нщет на дорогах? Кашкайцы не любят, когда чужестраицы, да еще безбожники, суют свой иос в нх дела».

На самом деле Мирза Кашкан горел любопытством. Не раз он уже слышал стук мотора кузьмичовского грузовика, порой прн встрече глотал пыль, поднятую его колесамн, н подозревал разные тайиы. Кашкан сам залез по уши во всякие тайны и интрнгн н не мог поверить, что все оборачивается самой прозаической шерстью.

Он сказал:

— Чужеземцам иечего делать в нашнх кочевьях. Чужеземцы остаются у нас без головы. Кашкайцам ие иужиы деньгн чужеземцев.

В гневе Мирза Кашкан не отвечал за свои поступки, и все притихли. Девочки задрожали и побледнели.

Кузьмич видел, что вождь не верит ему, и понимал, что у Кашкан есть на это основания. Оставалось встать, поблагодарить за угощение и удалиться. Имелся один шанс из ста, что удастся благополучно унести ноги. Но один шанс из ста не устраивал Кузьмича. К тому же, если уйти, то самое главное так и останется невыясненным. Кузьмич изобразил на лице улыбку. Именно так напряженно следовало улыбаться в присутствии раздраженного владыки.

И он сказал:

— Я так и думал. Высокие умственные качества подобают государственному деятелю.

Кашкан удивленно поднял свои бараньи глаза, и в них шевельнулось что-то похожее на интерес.

— Конечно, господин вождь подумал: закупки — повод. Сто тысяч лет пасутся овцы в кашкайских горах. Понадобилась русским шерсть. У них и так сколько угодно дел на войне.

Кузьмич мог поздравить себя. Господин Кашкан прочистил нос в платочек, который приложила ему к носу девочка, и соблаговолил спросить:

— Зачем же ты шляешься на своем «пых-пых» грузовике?

— Скажу лишь вам,— быстро бросил Кузьмич.

Подозрительность в кашкайце сильнее любопытства.

— Нет,— мне многие пытались морочить мозги. Говори при всех.

Теперь Мирза Кашкан угрожал. Он не сказал «берегись». Угроза звучала в его медленном, ленивом голосе. Он мог расправиться с ними ради забавы, ради удовольствия. За ним такие дела водились, и Кузьмич знал это. Еще мгновение — и Кашкан позовет своих телохранителей и прикажет им: «Солнце заходит!»

Шейх Музаффар разъяснил Кузьмичу, что за этим следует. Их бы связали и бросили в яму, возможно, пристрелили...

Глянув на Зуфара, Кузьмич вырвал из кобуры свой пистолет и швырнул его на скатерть к самым ногам Мирзы Кашкан, над которыми трудилась педикюрша. Лицо Кашкан исказилось гримасой страха. Он струсил. Но надо отдать должное его выдержке. Тут же он оправился. Гримаса стерлась мгновенно, и раздался неестественный смешок:

— Что такое?

— Гаси мое солнце!— проговорил высокомерно Кузьмич.— Я тебя не боюсь. Стреляй! Настанет время, и все равно ты подохнешь. В том мире я созову тех, кого загубило твое тиранство, отведу к престолу аллаха и покажу ему кровь и раны. Берегись! Сколько ты погубил безвинно правоверных мусульман, не считая безбожников кяфиров. И тебя низринут с моста «сыръат» в бездну ада.

Всю длинную тираду Кузьмич произнес мрачным пророческим тоном. Он знал, с кем имеет дело. Он знал, что при всем своем внешнем европеизированном лоске, сорбоннском образовании, щегольских смокингах и белых галстуках, «роллройсах» и холодильниках, радиоприемниках и золотых ваннах в своих ширазских и исфаганских дворцах, господин вождь кашкайцев Мирза Кашкаи суевернее базарной бабы, и боится мусульманского ада панически, до желудочных колик.

Понадобились минуты, чтобы Мирза Кашкаи оправился от растерянности, вызванной мрачными предсказаниями и угрозами Кузьмича. Револьвер, валявшийся на суфре, поблескивал вороненой сталью. Что мешало большевику стрелять? И снова отвратительная слабость ощутилась в желудке. Все семь смертных грехов воднлись за ним. В глубине души Мирза Кашкаи был весьма религиозен. И много раз он по ночам с ужасом перечитывал суру корана: «Пусть тот, кто убьет несправедливо хотя бы единого правоверного, безвозвратно низринет навеки вечные в геенну». А ведь он, Кашкаи, собственноручно убил не одного мусульманина. И убил несправедливо, жестоко, зверски.

Вождь кашкайцев жалобно всхлипнул:

— В сем мире юдоли слез и несчастий меня гонят жандармы шаха, а ты, русский, хочешь, чтобы меня за порогом сего мира гоняли призраки мертвецов! Нет! Ты ошибся во мне. Я хороший, я добрый. Я верю тебе. Я разрешаю покупать шерсть.

Болтовня помогла ему прийти в себя, собрать разбежавшиеся мысли. Мирза Кашкаи вернул себе, правда с трудом, достоинство, даже величие. Он прикрикнул на девочку: «Вытри!» — и, хлопнув в ладоши, приказал:

— Ящик с пистолетами!

Оказывается, он дарил Кузьмичу за его храбрость любой револьвер из своей богатой коллекции оружия. Он всячески старался умаслить, ублаготворить гостя.

— Оставайтесь у нас сколько хотите. Гости собираются. Через неделю моя свадьба. Большой праздник...

— Ну вот,— тихо сказал ночью Кузьмич, когда с Зуфаром укладывались спать,— добились того, что требовалось. Мы гости. Мы в самой серёдке осиного гнезда.

— Если бы он позвал нукеров, я бы тут же прострелил ему его толстое пузо,— сказал Зуфар.

— Нас Кашкаи теперь не тронет. Он осрамился перед всей гоп-компанией.

Кузьмич вышел проверить грузовик, который пригнал впритык к палатке вождя племени. Но пропадал где-то очень долго. Вернувшись, он шепнул Зуфару на ухо: «Она здесь. Все в порядке». И прилег. Зуфар долго ворочался. Звезды, заглядывавшие через откинутую полу чадыра, горячий ветер пустыни,

лай степных собак мешали ему заснуть. Мерное дыхание, доносившееся с соседнего ложа, вселяло спокойствие: сам хозяин, господин Кашкаи, лег спать с ними. Только самые почтенные гости удостаиваются чести, чтобы хозяин охранял их сон собственнолично.

Надо сказать, что Кашкаи очень громко храпел во сне. Он прямо-таки захлебывался в храпе. Ему мешал насморк.

Утром, сразу же после обильного завтрака, Кузьмич окунулся в суматоху кочевья. Общительный, веселый, он мгновенно находил, о чем поговорить со стариками и ребятишками. Он так добродушно и заразительно смеялся, что суровые ревнивые кашкайцы, держащие своих женщин в страхе, беспомощно махали рукой: «Настоящий Ходжа Насреддин!» Они не сердились, когда Кузьмич без спроса заходил к ним в чадыры и давал советы, как лечить глаза детишкам, как воспитывать сыновей. Очень скоро Кузьмич сделался в кочевье своим человеком. Он успешно объезжал дикого жеребца, а меткостью в стрельбе поразил даже не знающих промаха природных стрелков кочевников.

Утром следующего дня за вторым плотным завтраком господин Мирза Кашкаи криво усмехнулся:

— Пойдет так дальше — мои кашкайцы тебя изберут вождем, а меня пошлют пасти шелудивых своих овец.

Понаехали сотни гостей. Кочевье превратилось в бурлящее, ревущее море. Начались скачки. Кузьмич принял в них участие. Зуфар тоже не утерпел, сел на коня и оказался в числе первых. Он даже вырвал у одного из самых лихих местных конников довольно ценный приз.

В толпе, в суматохе, Зуфар искал Кузьмича, чтобы похвастаться. Но он, еще недавно весьма лихо гарцевавший на полудиком «балучи» в самой гуще свалки, разгоревшейся из-за меча между игроками в поло, точно сквозь землю провалился.

Обеспокоенный Зуфар подскакал к импровизированным трибунам и спросил, где Кузьмич. Господин Мирза Кашкаи также заметил отсутствие Кузьмича и проявлял явную нервозность: «Если мы помрем, то нашему другу помереть со мной, а если он помрет, то и мы помрем». Несколько мрачновато прозвучали слова вождя, но встревожился он искренне. Он даже послал во все стороны всадников искать «русского друга». И тут Зуфар понял, что ему не следовало поднимать тревогу, что Кузьмич останется недоволен его вмешательством. Зуфар внимательно посмотрел из-под ладони на далекую полускрытую пыльным облаком кавалькаду и, воскликнув «Клянусь, это он!» — пустил коня в карьер по степи к далеким холмам.

Лишь на заходе солнца объявился Кузьмич, усталый, на усталом коне, но очень довольный. Разосланные во все концы всадники не заметили, как мимо них умудрился проскочить

гость. По их виноватым лицам, невнятным объяснениям получалось, что только змея могла так скрытно проскользнуть.

Кузьмич и не думал оправдываться. За вечерней суфрой он втолковывал любезному, но несколько раздраженному хозяину:

— Скачка — утомительное дело. Предоставив честь своему другу Зуфару оспаривать призы у лучших ваших кавалеристов, я предпочел подремать у родничка под тенистым тополем.

Родничок и тополь действительно имелись за холмом. Мирзе Кашкаи оставалось только удовлетвориться объяснением гостя. За ужином пили настоящий мартини. Подавались изысканные блюда, даже русская зернистая икра. Господину Кашкай по-прежнему утирала нос прислужница, но на этот раз довольно взрослая девица, которая позволяла себе делать своему повелителю раздраженные замечания и которой, как ни странно, он побаивался.

Впрочем, Кашкаи к концу ужина упился самым вульгарным манером и красавица увела его в соседний чадыр.

— Слаб тиран к женскому полу. Жен у него полно, а все новых норовит нахватать,— заметил Кузьмич.

Кузьмич тоже был изрядно пьян, и язык его заплетался. В полночь наперсник ильхана проводил друзей до чадыра и удалился.

Кузьмич вздохнул:

— «Таким вином нас угощали!» М-да, мартини первоклассный. Увы, только кое-кому надо пить уметь да дело разуметь... Иной раз надо выпить черт знает сколько, а чтобы в голове... ни-ни...

К удивлению Зуфара, Кузьмич вышел из чадыра, сел в кабину грузовика и сказал:

— Садись.

— Но...

— Давай, давай!

Зуфар вскочил на подножку и открыл дверцу. Что за черт! На сидении в кабине рядом с Кузьмичом сидела женщина, закутанная в «искабэ». Откуда она взялась?

Машина рванулась с места.

Никто в кочевье не ждал от пьяных гостей такой прыти. Кашкайцы, видимо, не получили никакого приказа и пропустили грузовик беспрепятственно.

Лишь оборванец у ворот караван-сарая пытался их остановить. Он что-то кричал и даже выстрелил.

— Маузер,— закричал, высунувшись до пояса из кабины, Кузьмич.— Нищий, убогий, а стреляешь точно, сволочь! Так и убить можешь. Болван чертов! Извини, дорогая.

Извинение было адресовано пассажирке.

«Непонятно,— подумал Зуфар, цепляясь за борт кузова,— почему «дорогая» и почему он извиняется по-русски.

Долго еще машина мчалась по степным дорогам сквозь мрак и пыль, подимаемую горячим ночным ветром.

Переезжая глубокий брод, Кузьмич соскочил прямо в поток, чтобы иабрать воды для радиатора.

— Да,— ворчал он,— если ночиой сторож с маузером, видать, винтовок девать им некуда.

Они ехали до предрассветной зари. В диком, заросшем лесом ущелье Кузьмич остановил машину. Он забрался в кузов и прилег рядом с Зуфаром. Но не спал и не давал спать Зуфару.

— Нет такой тайны,— рассуждал он вслух,— которой нельзя раскрыть. Господин Кашкаи хочет держать делишки свои в тайне. Он окружил свой «Рай» кордоном шпионов, соглядатаев, вооруженных до зубов всадников. Суслик не проберется. Всякому, кто полезет сюда, не сдобровать. У кашкайцев прирожденное свойство: они из тысячи узнают — свой или чужак, сколько бы он ни переряжался, ни приспосабливался, ни перекрашивался.

И, конечно, ни сам Мирза Кашкаи, ни его кашкайцы не могли представить, что в самое сердце их кочевий ворвется чужой человек, все осмотрит и безнаказанно уедет да еще увезет с собой женщину.

Кузьмич откровенно признался:

— Похитил женщину. Умыкнул... Да, бывает... Восток...

Зуфар ждал, что он скажет, кто она. Но Кузьмич не спешил объяснениями.

— Воображаю физиономию господина вождя завтра утром, когда он проспится. Бедненькие утиральщицы его почтенного носа! Вам придется не сладко. Ничего не поделаешь.

Пока еще Зуфар не понимал, что побудило щепетильного, осторожного майора совершить сумасбродство. Натравить на себя целое племя из-за особы, закутанной в искабэ. И кто она такая, наконец? Зуфар не решился задать вопрос. Степняки не любят спрашивать.

Перед поездкой к кашкайцам Кузьмич сказал Зуфару:

«Надо помочь человеку. Быстро помочь! Выручить из беды!»

Встреча Зуфара с майором Прокофьевым в Исфагане произошла гораздо проще и прозаичнее, чем мог Зуфар предполагать. Когда он возвращался с базара на виллу «Букет роз», его в довольно безлюдном месте нагнала грузовая машина. Кузьмич предложил «прокатиться».

Выяснилось, что Зуфару нечего торопиться ехать в Тегеран, что он должен оставаться на вилле «Букет роз» в Исфагане. Несколько обескураженный поворотом событий, Зуфар спросил: «Что же мне там делать?» Кузьмич разъяснил: «То же, что ты делал до сих пор. Имеющий уши, да слышит, имеющий глаза, да видит. Надо, как говорят господа британцы, изучить лису в норе». Зуфар захотел выяснить свое положение. Кузьмич усмехнулся: «Зачислим тебя на довольствие в транспортную контору.

Да ты наивный человек». На еще более пустынной улице Кузьмич высадил Зуфара, предупредив, что он понадобится не скоро.

Но уже через два дня индус-дворецкий передал Зуфару, что его ждут на окраине города. Сефиет уехала куда-то с преподобным Далласом. Сэр Болд отсутствовал. Никто не интересовался Зуфаром, и он поехал с Кузьмичом в горы...

Небо светлело над плоскими горными вершинами. От кузова шли запахи бензина и мазута. Таинственная незнакомка, закутавшись в искабэ, спала в кабине грузовика. А Зуфар с Кузьмичом растянулись на голых досках, подложив под голову запасной скат, тихо разговаривали.

— Твой лорд,— сказал Кузьмич,— скоро дознается, что ты ездил со мной. Спросит: зачем. Скажешь: выручал одну девушку. Сговорился с первым попавшимся шофером и поехал. Заплатил и поехал. И весь разговор. Вообще держи ухо востро! Это тебе не по Черному морю плавать. Там, конечно, были свои неприятности: соль, жажда, голод... Тут почище дела... Хитрость, коварство, стрельба... Нельзя ползком — приходится скачком,— говорил он медленно.— Вот на такой скачок господин вождь и не рассчитывал. Но об этом потом. Так вот, слушай, Зуфар, меня внимательно. Эта тьма кашкайской ночи, эти скалистые кашкайские горы с козьими тропками и перевалами кишмя кишат — как ты думаешь, кем? Немцами — настоящими фашистами. А знаешь, кто у него в гостях? Профессор Обердроссер — немецкий специалист по изучению сорняков. Понадобились Геттингенскому профессору персидские сорняки. Обердроссер — большой фашистский чин. Лично вхож к фюреру. Другой профессор по имени Брандт тоже здесь. Его букашки, видите ли, интересуют... зелененькие в крапинку. Букашечник Брандт как две капли воды похож на стандартенфюрера Брандта из Мюнхена. Когда в сорок первом СССР прихлопнул в Иране фашистскую братию — всех этих немецких туристов, журналистов, геологов, зоологов, коммерсантов,— кое-кто из них успел забиться в щели «Рая».

— А чего Болд смотрит, он же союзник?— спросил Зуфар сонным голосом. Он устал. Тряска на грузовике вымотала его. Зуфар вспоминал о прекрасном кашкайском коне. Нет, цивилизация имеет много неудобств.

— Вот именно. Немчура не наведывается на виллу «Букет роз»?

— Не видел.

— А надо видеть. Их полно тут в Иране, фашистов. Как тараканов.

Кузьмич не спал сам и не давал спать Зуфару.

«Крейзе!» Зуфар должен запомнить раз и навсегда фамилию Крейзе. Гельмут фон Крейзе, он же Оттокар Мон, он же Мориц

Бемм, он же Шмидт-коммивояжер, полковник Германского генерального штаба. Крейзе воспитанник и «соратник» главы немецкой разведки Николаи, подвизавшегося еще в эпоху первой империалистической войны. Впоследствии при фашистах Крейзе формально был подчинен преемнику Николаи адмиралу Канарису. Но на Среднем Востоке Крейзе действует почти самостоятельно. В Южном Иране Крейзе еще не появился, но его рука чувствуется во всем.

Зуфар оживился: уж не тот ли самый коммивояжер Шмидт, который завтракал у Гельмута фон Папена.

Тот самый. Кузьмич попросил рассказать подробнее все, что слышал тогда Зуфар.

Но о Крейзе рассказ впереди. Сейчас придется поговорить о более реальных делах. И вот почему. Есть опасность, что его, Кузьмича, могут «убрать». Мало ли что может случиться. Надо чтобы Зуфар все знал и в соответствующих обстоятельствах мог информировать кого нужно.

Положение в Южном Иране гораздо серьезнее, чем можно себе представить. Не исключена возможность, что немцы уже подготовили здесь восстание. В таком случае Трансперсидская железная дорога окажется перерезанной, что поставит под удар снабжение Советской Армии с Юга. Фашисты пустили глубокие корни в Иране. Еще со времен Вольфа, якобы директора транспортной иранской конторы, повсеместно сидят германские резиденты и в Хорасане, и на побережье Каспийского моря. Они всюду. Под маской швейцарцев, австрийцев, венгров, итальянцев они обосновались в Пехлеви, Бендер Шахе, Бендер Гязе, Наушехере, Горгане. Их даже не сотни, а тысячи. Интересы персидских коммерческих кругов переплетены с интересами немцев. Их агентура — русские белогвардейцы, азербайджанские мусаватисты, армянские дашнаки, узбекские иттихадисты, бухарские джадиды, казахские султаны, туркменские джунаидовцы... Вообще всякий мусор со свалки истории... Некий коммерсант Губер в персидской Джульфе снабжает оружием группы диверсантов для переброски в Грозный, Нахичевань, в Туркменистан... Охвостье официально существовавшего при прежнем шахе «германского легиона» еще осталось. Тогда каждый немец, проживавший в Иране, числился в легионе в пехоте, или кавалерии, или в моторизованных войсках. Крупповские танки были доставлены в Иран перед самым началом войны. Завезли также оружие в ящиках с надписью «оборудование» и «лабораторное оборудование». В немецких колониях шли воинские учения, а в Тавризе и Тегеране проводились настоящие армейские маневры. Немцы маршировали в военизированных лагерях. Склады пулеметов, взрывчатки были ликвидированы, но много оружия немцы успели сплавить в пустыню, в горы.

— Тут даже голодранцы щеголяют маузерами. Не удив-

люсь, если Мирза Кашкаи заведет себе иовеиький таик. При прошлом правительстве междуиародиый аваитюрист Гаммота и его помощиики Майер и Кюне создали крупиую шпиоискую оргаиизацию в самом Тегераие. Целых полтора года иемки загорали иа пляжах Каспийского моря, распивали шиапс иа шикариом курорте «Паиьяиа», пока их мужья рыскали в горах Демовеида и Копетдага, якобы охотясь иа уларов.

Немцы действовали слишком иагло и топорио. Их прихлопиули. Беда в том, что миогих упустили. Оии сейчас расползлись повсюду. У господиия Мирзы Кашкаи за сыиками смотрят две иемецкие боииы. Педикюрша Кашкаи — разве Зуфар ие разглядел пышиую блоидиику?— иемка. Оборваиец, сидевший у ворот караваи-сарая, красиорожий, с соломеииыми усами, ие ииаче иемецкий ефрейтор. Во время скачек Кузьмич отклоиился в стороиу от селеиия и увидел с полсотии европейцев в кашкайской одежде, которые сапериыми лопатками плаиировали большую площадку. У аккуратиых чистеиьких домиков расхаживали европейского типа «кочевиики». Ближе Кузьмич ие счел иужиым подъехать, ио в бииокль обиаружил земляиое сооружеиие, очевидио, склад беизииа. Теперь ои зиал, куда девались те исчезиувшие полторы тысячи из трех тысяч фашистов, которые околачивались в Тегераие и его окрестиостях в момеит прихода иаших и аиглийских войск. Гитлеровцы размахнулись широко. Не о мелких провокациях и диверсиях иа граиице оии думали. Речь шла о захвате части советской территории в Закавказье и Средией Азии.

— Мне рассказали,— заметил Зуфар,— что иа диях к Мирзе Кашкаи приезжали геиералы Заходи и Пурзади, а также Кербелаи. Кашкаи устроил богатое угощеиие. Тогда же приезжали еще два иемца.

— Фраиц Мейер и Шульц. Ах, черт. И я ие зиал. А иа пиру Навбахт присутствовал?

— Навбахт?

— Депутат межлиса, Навбахт. Очеиь влиятельиая личиость.

— Мие не говорили.

— Но откуда у тебя все эти сведеиия?

— Болд, Сефиет и американец совещались при мие. На вилле обсуждался вопрос об их аресте. Американец отговорил.

— Отговорил?

— Сказал, что Майёр и Шульц пригодятся.

— Где сейчас Майёр и Шульц?

— Уехали вчера в Тегераи.

— Болд зиает, что ты понимаешь по-аиглийски?

— Да.

— И оии откровеиио говорили при тебе?

— Да.

— Это хорошо. Считают своим.

И вдруг прервал сам себя:

— Ну и конспираторы.

— Кто?

— Болд с...твоей турчанкой. Лучшего места совещаться не нашли. Ловко. Но что там справа? Глянь-ка. Огни.

— Огни.

— А я подумал, что уже заплутался в этой чертовой степи. Теперь все в порядке. Сейчас поедем дальше. Тут близко выход из ущелья. Стрелки шейха Музаффара, конечно, не разобрав, кто едет, постараются продырявить наш драндулет.

Кузьмич вернулся в кабину и включил фары. Сейчас же совсем недалеко ударила винтовка, другая.

— Говорил я. Однако играть в «кукушку» у меня желания нет.

Ночную пустыню огласил жалобный стон клаксона. Ему ответила россыпь выстрелов. Донесся лай и вой псов. Горы проснулись.

Свет в фарах погас.

— Не любят кухгелуйе, когда их будят рано.

Стрельба не прекращалась. Из кабины послышался женский тоненький голосок:

— Да они нас перестреляют!

«Какой знакомый голос,— подумал Зуфар.— Да ведь это... бронзоволосая Хуршид! Каким образом?

— В нас труднее попасть, чем в луну. Далеко. Спи, дорогая, и не волнуйся,— сказал Кузьмич, и в голосе его прозвучала нежность.

— А теперь,— сказал он Зуфару,— позволь тебе представить мою жену... Хуршид. Вот кого ты помог мне выручить из плена.

— Хуршид ваша жена? Поздравляю.

— После Гвадалахарской битвы я лежал раненый в госпитале. Сестра милосердия Хуршид ухаживала за мной, подняла меня... А позже, когда республиканцы отступили из Барселоны, я «увозом» увез ее. Ей надо было завершать образование. И она предпочла Москву Парижу... Наш юридический институт ничуть не хуже для изучения права и юриспруденции, нежели французский колледж.

Стрельба продолжалась недолго. Кузьмич встал на подножку и всматривался в темноту. Ароматом сухих трав дышал ровный ветер, овевавший воспаленные лица путников. Над далеким восточным хребтом светилось чуть-чуть небо.

Где-то внизу раздался стук копыт.

Содержание

Шевердин Михаил Иванович

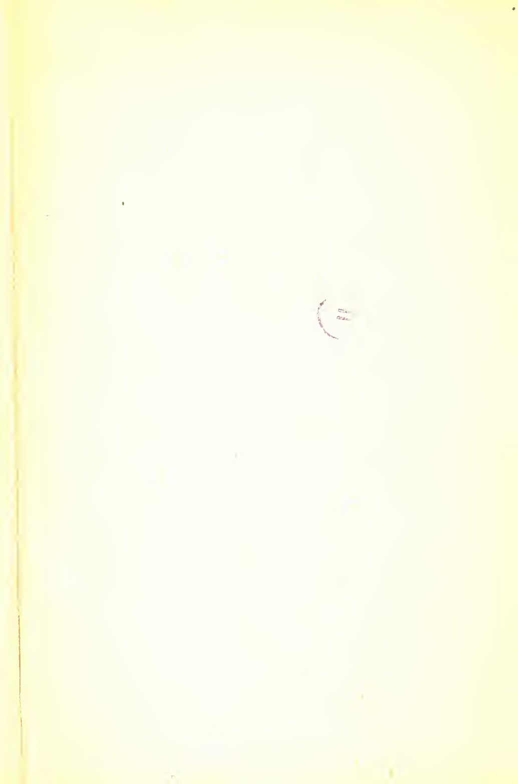
СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

РОМАН

Книга первая

Редактор *И. Заленская*
Художник *Э. Исхаков*
Художественный редактор *П. Хапилин*
Технический редактор *А. Бабаханов*
Корректор *С. Ветрова*

Сдано в набор 30/VI-67 г. Подписано в печать 25/XI-67 г. Формат 60×90¹/₁₆. Печ. л. 17,0. Уч.-изд. л. 19,52. Тираж 135000. Р 00265. Издательство художественной литературы им. Гафура Гуляма. Ташкент, Навои, 30. Договор № 114—66.
Отпечатано на бумаге красноярск. № 3, с матриц типографии № 3 в типографии Объединенного издательства ЦК КП Узбекистана, Ташкент, ул. «Правды Востока», 26. 1967 г. Заказ 5478. Цена 67 коп.



67 к

СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ